

Явдат
Ильясов

МЕСТЬ
АНАХИТЫ



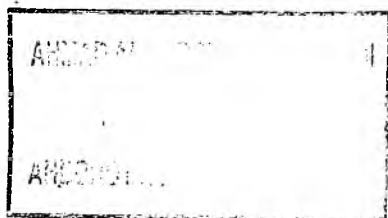


ЯВДАТ ИЛЪЯСОВ

ЖК

**МЕСТЬ
АНАХИТЫ**

ПОВЕСТЬ



ТАШКЕНТ
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
ИМЕНИ ГАФУРА ГУЛЯМА
1984

Рецензенты:
кандидат филологических наук
Л. И. ТАРТАКОВСКАЯ,
кандидат исторических наук
Г. Л. ДМИТРИЕВ

© Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма,
1994 г.

Поскольку поток времени бесконечен, а судьба изменчива, не приходится, пожалуй, удивляться тому, что часто происходят сходные между собой события. Действительно, если количество основных частиц мироздания неограниченно велико, то в самом богатстве своего материала судьба находит щедрый источник для создания подобий; если же, напротив, события сплетаются из ограниченного числа начальных частиц, то неминуемо должны по многу раз происходить сходные события, порожденные одними и теми же причинами...

Плутарх. Сравнительные жизнеописания

СТРАННЫЙ КОРАБЛЬ

...Она запросила с него за порчу стола целый сестерций. Эта гречанка с черной порослью на верхней губе. Целый сестерций! С визгом, слезами. Как звали хозяйку? Забыл. Недолго длилась их встреча. Ее давно уже нет, пожалуй, в живых. И стола того давно уже нет.

Якорь сброшен. Накручен канат на тумбу причала. Упали сходни. Начальник гребцов отложил колотушку, — он отбивал ею такт; спрятал флейту его помощник. На десятом году правления Октавиана Августа в гавань Брундизия вошел странный корабль.

— Из Тира! — кричали дети в порту.

Собственно, сам корабль был обычен: неповоротлив и грузен, как подобает торговому судну, с тяжелой мачтой, высоким загнутым носом и просмоленными черными боками. Станных людей доставило судно из Тира в Брундизий.

До цвета зрелых каштапов опалена пездешним солнцем их кожа. От погоды, пасмурной до черноты, казалось, в нее въелась копоть. Все они в диковинных нарядах — длинных дикарских хитонах, войлочных колпаках. У многих на ногах сапоги с короткими голенищами. Итальяцам не впервые встречать иноземцев. Но большей частью в качестве пленных, завтрашних рабов. Эти же вооружены, вид у них неприступный.

И по выправке, по заметной привычке держаться вместе, поближе друг к другу, они похожи на солдат хорошо обученного войска; им не раз, может быть, доводилось смы-

каться в когорту на полях сражений. Почему же тогда одеты столь необычно?

Посольство откуда-нибудь из-за Евфрата? Тоже нет: недостает чинности, важности, представительности внешней и торжественности надлежащей. И послы должны б ступить на берег без оружия. Им следует цести оливковую ветвь.

Эллинизированные сирийцы? Но у тех язык иной, полугреческий, смешанный. У этих — латынь. Хотя и она, их латынь, уснащена чужими словами.

И хотелось, как Гомер в «Одиссее», спросить:

Странники, кто вы?

Откуда пришли водяною дорогой?

Дело какое у вас?

Иль без дела скитаетесь всюду

Взад и вперед по морям...

Да, стол. И вправду, было из-за чего шуметь. Ровный, длинный, из белого мрамора, в меру низкий, чтоб есть с него полулежа. Эдоне (по-гречески — «наслаждение», он вспомнил имя ее) жила в достатке. Еще бы. Когда он вынул кошель уплатить ей сестерций, она тревожно шепнула: «Спрячь! Украдут», — и увела в спальную комнату.

Побудь он с нею подольше, Эдоне бы вчетверо больше взяла с него за испорченный стол. Такое уж место — кабак. Тут сброд отовсюду: невольники беглые, сводники, воры, блудницы, — не зря содержателей харчевен относят к одному разряду с ними.

...Сойдя на приставь изрядной, но похоронно медлительной, тихой толпой, пожилые, иные совсем уже старые, в рубцах давно заживших ран, как аргонавты на колхидском грозном берегу, без слов озирали графитно-серый мрамор колонн прибрежных строений и черные кипарисы на влажно размытой саже окрестных холмов.

И это — веспа?

Черные тучи. Черные камни. Даже пена на черных волнах миглала взбитой из разведенной золы.

И в гнетущем сумраке этом, как пятно костра ненастной ночью, алея восточный тюрбан у того-то из них на голове.

Взметнула память перед ними к другому небу другою строения, на другой, непохожей, далекой отсюда земле. И теперь им до слез стало жаль ее. Никто не встречал их, не издавал радостных возгласов. Они здесь не к месту и никому не нужны. Толпа безвестных приезжих внула зевакам страх и неприязнь.

— Кто со мной к Эдоне? — вздохнул рослый чужак в красном тюрбане. — Справим наш трюмф! Если харчевня на месте...

Вывеска над дверью гласила:

«Меркурий обещает здесь прибыль, Ацоллон здоровье. Эдоне говорит: выпивка стоит асса. За два асса ты лучшего выпьешь, а за четыре будешь фалернское пить».

Значит, жива!

Жива, мегера! Благоденствует, фуррия. Куда она денется? Правда, раздуло, как огромную корчагу для вина, и волоски на верхней губе отросли, побелели и закрутились.

— Пожалуйста, гости, фэ, пожалуйста! — пропела она мужским басом. — Вино у меня, фэ, отменное. Есть яйца, фэ, свежий сыр. Сыщем для вас колбасу и печенку, жаркое. Вот кипит похлебка бобовая. Нигде не будет дешевле...

Она встретила их за каменным прилавком; в него вделаны горшки с разной снедью. Из-под прилавка струится дымок от переносного очага, — можно быстро согреть остывшие блюда. За спиной хозяйки, вдоль стены, идут уступами три каменные полки с напитками и закусками. Здесь и вправду все дешево: еда и ночлег обойдутся путнику в один серебряный сестерций с ассом.

И стол злополучный на месте. Хотя и его не пощадило время: углы отбиты, в пожелтевшую, в черных трещинах, тусклую поверхность въелось темными пятнами разлитое вино.

Гости возлегли на широких скамьях, и хозяйка с помощью двух расторопных дочек устала стол перед ними мисками с едой и сосудами с разбавленным вином. Чрезмерно разбавленным, пожалуй, что из того, что не принято пить вино без воды. Понятно, почему говорят, что трактирщики рождаются под знаком Водолея.

Первые капли из чаш брызнули на пол в честь божества.

Ели и пили приезжие мрачно и неохотно. Даже вино не развеселило, не заставило их развязать языки. Поистине, странные люди. Что их угнетает?

Ветеран в красном тюрбане — тот, как вошел, так и остался у порога, на ногах. Когда товарищи разместились, он сбросил котомку и с опаской двинулся вдоль лежака, уныло поглядывая через их плечи на стол, будто искал и не мог выбрать блюдо по вкусу.

У конца стола, ближе к прилавку, он пошатнулся и вскинул руки, точно у него внезапно закружилась голова. Человек в алой повязке наклонился к столу, отодвинул приятеля и ткнул черным пальцем в слово, коряво, но отчетливо процарапанное острием ножа в мраморной плоскости: «Fortunatus».

— Что с тобой, Фортунат? — проворчал недовольный приятель.

Полуседой Фортунат, с отчаянием уставившись в дремучие глаза Эдоне, в которых медленно просыпалось педоумение и удивление узнавания, все тыкал и тыкал пальцем в свое имя; раскрыв беспомощно рот, он пытался что-то сказать, усы трепетали, дергалась борода: так сильно тряслись у несчастного губы.

— Фортунат! — хрипло вскричал ветеран. — Счастливый...

Он грудью рухнул на стол, опрокинув кувшины и чаши, схватился за голову и со стоном забился, словно в падучей. Тихо стало в харчевне. Что-то уразумев, испуганно замолчала хозяйка. Понуро молчат ветераны. Засмейся сейчас кто-нибудь, его бы убили.

Тридцать четыре года назад, перед тем, как отплыть из Брундизия, они посетили эту харчевню. И только теперь вернулись с чужбины домой. Через долгих тридцать четыре года...



Песатые, бледные, смолисто-чернобородые, глядели они из-под густых мрачных бровей куда-то мимо одурелой толпы римских граждан, как бы не слыша их насмешек и проклятий.

Бог весть, что им виделось в мыслях. Вершины Тавра в белых снегах, виноград в долинах Армении? Может быть.

Серебристыми большими рыбами, мелькающими, кружась и изгибаясь, возле добычи в прозрачном потоке, сверкали стальные серпы десяти боевых колесниц. Чудилось: наматывая незримые пути, они туго тянут за собой попурию, в дорогах, по порванным одеждах, толпу приближенных царя Митридата, — над ним римское войско одержало победу.

Медлительно качаясь, как на волнах, на плечах идущих густыми рядами пленных, проплыли по улице между домами, как в проливе между скалистыми островами, сто десять военных кораблей с носами, окованными медью.

За ними, стараясь не отстать и не упустить свой флот, тревожно следовал сам Митридат — золотой, высотой в шесть футов. И рабы пели за статуей, словно подобрав на берегу, царский шит, облепленный, как песком и галькой, драгоценными камнями.

На серой мостовой, под ногами пленных, оставались кровавые следы.

Над улицей вспыхнуло прозрачное зарево, — оно отразилось на лицах металлическим странным светом. Появились двадцать громоздких носилок с разнообразной серебряной посудой. И носилки с золотыми кубками, доспехами и золотой же монетой, в количестве тридцати двух. Если царь золотой, устав, пожелает отдохнуть, к его услугам золотые удобные ложа, — их везут на легких помостах восемь отборных мулов с гладкой шерстью.

Еще пятьдесят шесть сильных мулов везли серебро в крупных слитках.

И еще сто семь крепких вьючных животных — серебряную монету в корзинах, которой набралось, как говорили в толпе, без малого на два миллиона семьсот тысяч драхм.

На больших песчаных досках крупно значилось, сколько денег Лукулл передал Помпею для борьбы с киликийскими пиратами, сколько драхм внесено в казну. И сколько выдано каждому солдату, а именно — по 950.

Смех и стоны. И топот ног. Страшный гул барабанов. Визгливо пели чужие флейты. Надрывалась в криках толпа. Чем степенный Рим в этот безумный день не много-

шумный восточный город, справляющий торжества в честь какой-нибудь четырехрукой богини? Где-то в стороне — холодная жизнь с нуждой и горем, а здесь ее дурное искажение. Праздник — нелепое отражение будней.

В конце триумфа Лукулл устроил неслыханно щедрое угощение для жителей Рима и окрестных селений. И кто-то из жителей Рима и окрестных селений, бесплатно насытив утробу, еще раз убедился, что война для них — благо. О тех, кто погиб в ущельях Тавра, думать не хотелось.

Сенат возлагал на Лукулла необычайно большие надежды: он, опираясь на огромную славу свою и влияние, даст отпор державному Помпею и возглавит борьбу «лучших граждан» за власть.

Но случилось невероятное! В самый разгар успехов... Лукулл расстался с государственными делами. Риму уже грозило разложение. Назревали гражданские войны. Лукулл увидел: недугу, которым страдает государство, нет исцеления, и, после стольких битв и трудов, решил предаться жизни, чуждой забот и огорчений.

В Риме с оглядкой шептались о почных пьяных шествиях при свете факелов, с песнями и танцами, и всевозможных прочих забавах.

«О ком из видных людей не говорят дурного? — пожимали плечами его сторонники. — А книги? Он покупает прекрасные свитки где может и собирает их в хранилищах, открытых для всех. Его дом украшен редкими изваяниями, на приобретение которых Лукулл не жалеет средств. Он разводит сады, роет каналы. В уютных портиках, возведенных на его деньги, проводит время в умных беседах с людьми образованными. А что вы скажете о знаменитом гостеприимстве Лукулла?»

Да, пиры он задавал баснословные, с тщеславной роскошью человека, которому внове его богатство.

Однажды ему случилось много дней подряд угощать неких греков, зачем-то приехавших в Рим. Эти люди, засовестившись, что из-за них каждый день производится столько расходов, стали избегать приглашений. Лукулл отчитал их с улыбкой: «Кое-что из этих расходов, достойные греки, делается мной и ради вас, но большей частью — ради Лукулла».

Как-то раз (редкий случай) он обедал в одиночестве, и ему приготовили один стол и скромную трапезу. Лукулл рассердился и вызвал раба, приставленного к дворцовой кухне. Тот сказал, что, поскольку гостей не звали, он не думал, что нужно стряпать изысканные блюда. «Как? — вскричал

возмущенный хозяин.— Ты не знал, что сегодня Лукулл угощает Лукулла?»

Иногда, с небольшой тихой свитой и неизменной веселостью в хитрых глазах, он беспечно слонялся по форуму. Здесь и нашел его Марк Лициний Красс.

Плотный, тяжелый, с толстой шеей, считающейся признаком гордыни и высокомерия, Красс кивал мимо храма Весты, сбывчив лоб и несколько сутулясь, не торопясь, но будто с тайной тревогой, чуть вперевалку, заноса левый бок вперед и ногу за ногу. Руками при ходьбе не машет,— они у него как бы наготове. Кажется, сейчас он схватит ими что-нибудь.

Лукулл, бодрый и легкий, ядовито-насмешливый, ждал его, вскинув левую бровь и прищурился правый глаз: «Торгаш. Хоть и знатного рода. Точно лавку свою идет открывать».

— Я хотел бы к тебе зайти.

— Прошу! Отобедаем вместе.

В своем доме, похаживая среди голубых бассейнов на белый остров, до половины снизу увитый плющом, хитроумный Лукулл шепнул рабу:

— В «Аполлоне».

Так у него именовался один из роскошных покоев. Стоило только хозяину назвать столовую, как раб, прикрепленный к этому делу, уже знал, что готовить, какую утварь использовать, с какой быстротой и в какой последовательности подавать.

В пятьдесят тысяч драхм обходился, по слухам, обед в «Аполлоне»...

Приятели возлегли. Но Красс, известный умеренностью, похоже, даже не замечал невероятного разнообразия блюд и вкуса искусно исполненных печений. Не затем, чтобы сытно поесть, пришел сюда Красс. Он сам бы мог закатывать подобные пиры. Хоть каждый день. Если бы не его не менее известная скупость.

Красивый раб-музыкант взял в руки арфу, юная певичка раскрыла было влажный рот, но гость поморщился:

— Прогони.

— Ступайте,— распорядился хозяин.

Без особой охоты обгрызая ножку дрозда, Красс бесстрастно оглядывал колонны зала, мраморный пол, цветную роспись на стенах. Высокий потолок в геометрических узорах из майоликовых плит. Окна в алебастровых решетках. Все на восточный лад. Сколько чистых красок, воздуха, света. У входа — белоснежный Аполлон.

Хлебнув немного вина, разбавленного водой, гость приступил к делу:

— Что важнее всего в большой войне с Востоком?

А! Вот что привело к Лукуллу коварного Красса, который, смотря по выгоде, легко меняет дружбу на вражду, вражду на дружбу и может много раз быть то горячим сторонником, то ярким противником одних и тех же людей либо одних и тех же законов.

Лукулл вытер губы и пальцы хлебным мякишем.

— Лучше всего, — он поднялся и сел, — не начинать ее.

Словоблудие! Красс — настойчиво:

— А если начал?

Он продолжал мирно лежать на левом боку, опираясь на локоть, но весь его настороженно-подобранный вид замораживал охоту перечить ему. Лукулл вспомнил, как, будучи консулом, Марк Лициний Красс ударом кулака разбил в кровь лицо сенатору Аннию, в чем-то не соглашавшемуся с ним. «У него сено на рогах», — говорили в Риме. У римлян был обычай: для предостережения прохожих навязывать бодливому быку на рога клочья сена.

Но и Лукулл не безрог.

— Если начал, — он сейчас как никогда серьезен, — не заходить далеко.

— А если зашел? — строго допытывался Красс.

— Суметь унести ноги! — вдруг рассмеялся лукавый Лукулл.

— Но ты начал, и зашел, и унес, — завистливо-осуждающе сказал Марк Лициний. — И не только ноги. — Он вновь, теперь уже алчно, взглянул на сверкающий, со вкусом убранный зал. Поистине царский чертог. Перед Крассом — золотая чаша с изумрудной ветвью и рубиновыми цветами. Ложе под ним застлано пурпурной тканью. Над ним, из ниши в стене, точно скульптурный портрет самого Лукулла, ехидно улыбается бронзовый Сатир. — Недаром юрист Туберон назвал тебя «Ксерксом в тоге». — Ксеркс был не только самым богатым, но и самым изнеженным и расточительным из персидских царей. Триумvir, разделяющий власть в Риме с Помпеем и Цезарем, мог, не боясь, делать подобные замечания.

— О друг мой Марк Лициний! — Лукулл озадаченно растер правое ухо ладонью. И, оторвав ее от покрасневшего уха, сделал короткое движение к именитому гостю, как бы желая сказать: «Сам посуди». — Каждый атлет, ты знаешь, стремится одержать четыре победы на всегреческих играх:

Олимпийских, Пифийских, Немейских, а также Истмийских. В политике тоже есть свой круг побед, и когда он завершен, пора кончать.— Поскольку разговор коснулся высоких тем, Лукулл отбросил солдатский жаргон, которым пользовался в быту, и перешел на книжную латынь.— В состязаниях на государственном поприще, смею заверить, ничуть не меньше, чем в гимнастических, тотчас дает себя знать, если участник их утратил молодые силы.

Вспомни, до чего докатился Гай Марий!

После победы над кимврами, после великих и славных подвигов он не пожелал отдохнуть, хотя и был окружен завидным почетом. Неутолимая жажда все новой славы и власти побудила его, старика, соперничать с молодежью. В результате чего довела до страшных поступков — и бед, еще более страшных, чем поступки.

Я знаю,— Лукулл смело взглянул Марку прямо в глаза,— вы с Помпеем насмехаетесь над тем, что я предаюсь наслаждениям и расточительству. Но разве жизнь в свое удовольствие менее подобаает моим летам, чем шумные схватки на форуме или походы?

Чего тебе не хватает?

У тебя, я слышал, за душой семь тысяч и сто полновесных талантов. Целый Везувий чистейшего золота! Верно? В Риме большая часть жилых домов — твоя собственность. Не так ли? Марку Лицинию Крассу принадлежит великое множество рудников, где копают серебро, и плодородных земель, сполна обеспеченных работниками.

Но все это — ничто, если сравнить с огромной стоимостью несметного числа твоих рабов! Да причем таких, как чтецы, писцы, домоправители, архитекторы, и строители, и пробирщики серебра, за обучением которых ты усердно надзираешь сам, давая нужные указания.

Лукулл знал, откуда началось невероятное богатство Марка Лициния Красса. Знал и Красс, что Лукулл все знает, но это ничуть не смущало его.

Разве чист сам Лукулл?

Митридат грабил скифов, народы Кавказа и Понта, Тигран — иберов, албан, местных греков, арабов и прочих; Лукулл, в свою очередь, ограбил Митридата и его союзника Тиграна.

Одно оправдание — он взял добычу в честном бою...

— Итак, ты богат! Ты первый и самый сильный среди многих. Ты славен. Чего бы еще тебе хотелось? В твои-то годы?

Красс, которому было уже под шестьдесят, а выглядел он

старше своих лет, скользнул по румяному от вина лицу собеседника неодобрительным взглядом.

— Я еще не стар,— проворчал он, угрюмый, не похорошему бледный.— И мой круг побед еще не завершен.

— А!— воскликнул со смехом Лукулл.— Тебе все греется военный триумф! Но разве буйный Спартак сокрушен не твоими руками?

Красса будто по лицу ударили, как он ударил когда-то сенатора Анния. Лукулл издевается над ним! Велика честь — слыть победителем беглых рабов. Сенат отказал ему даже в малом, пешем триумфе, называемом «овацней», сочтя его постыдным и неуместным.

— Но и твой поход, Лукулл, на Митридата с Тиграном, был всего лишь детской забавой!— расхался, уязвил эх хозяина дома.

— Да!— согласился веселый Лукулл. Он захмелел. Ибо пил вино по-солдатски, не разбавляя водой. И вновь перешел на вульгарный язык легиона:— Эти морды, понтийцы, каппадокийцы, армяне... я их колешматил и драл, как хотел!

...Когда я вывел против несметной оравы Тиграна двадцать четыре когорты, всю нашу конницу, тысячу пращников, у них там, как мне потом рассказали, начались веселые шутки и похвальбы, угрозы на азиатский лад. Изощряются, знаешь, в насмешках над нами. Потехи ради мечут жребий, кому что достанется из добычи, когда они нас разнесут в пух и прах. Каждый ничтожный царек лезет к Тиграну с мольбой, чтобы тот доверил все дело ему одному, а сам сидел на холме, пил вино и глядел, как армяне нас будут... Хе-хе. Самому Тиграну тоже захотелось показать себя изящным остроумцем. И он брякнул про нас: «Зачем они здесь? Для посольства ради переговоров о сдаче — их много, для войска — мало». Ха-ха-ха! И впрямь остроумно, да?

Но вот я им врезал как следует, и не до смеха стало храбрецам! Даже хвастуны иберы, которые у них считаются самым геройским племенем, бросили копья и разбежались, визжа со страху.

Тут засмеялись мы. Над собою. Оттого, что достали из ножен мечи. Когда всех можно было просто разогнать пинками. Мы уложили их сто тысяч пених, из всадников не уцелел почти никто. У нас было ранено сто человек, убито пять. Столько добра захватили... бык стоял в лагере дракму, раб — четыре. А всю прочую добычу солдаты вообще ни во что не ставили. И либо бросали, либо жгли.

Но ты,— сказал Лукулл уже тавто, без смеха,— даме-

398217

рен идти, я слышал, на парфяны? Парфяне, запась, не армяне. И армяне уже не те. Ибо не те времена.

— Все равно, — зевнул Красс.

Он заскучал. Захотелось домой. Если б Лукулл оставался серьезен от начала до конца беседы, Красс мог бы, пожалуй, задуматься, стоит ли... Но смех Лукулла — простой, хвастливый, человеческий, отнюдь не дьявольский — успокоил его.

Что смог беспечный Лукулл, сможет и осмотрительный Красс. И даже больше! Он повторит поход Александра Великого. И пойдет еще дальше. Александр не достиг так называемых «серов» и «фаунов», упомянутых в его жизнеописаниях. Красс достигнет. Он выйдет к океану.

Не те времена? Блажь. Время само по себе ничто. Эпоху делает человек. Такой, как Марк Лициний Красс.

Он уже видел, как во главе стальных легионов, блистающих орлами, стоит у лазурного южного моря, и теплые волны нежно омывают его усталые ноги. Над головою шумят на ветру высоченные пальмы, ряды пальм синеют над белыми кромками низких островов...

Затем, в ликующем Риме, — великий триумф. Все триумфы, которые справлялись прежде, покажутся после него пустяковой игрой распалившихся на улице школьников. О них перестанут даже упоминать.

Он проведет по Священной улице в золотых цепях слонов, верблюдов и других диковинных животных, полосатых, пятнистых, обитающих в далеких странах. И погонщики, белозубые, черные, в белых тюрбанах и пестрых набедренных повязках, будут весело играть на своих варварских инструментах. Он прогонит за ними по десять тысяч обнаженных рабов и рабынь, черных и желтых. И провезет на помостах из красного дерева гигантских восточных идолов из червонного золота.

Помпей и Цезарь, которых за их военные успехи ставят сейчас выше Красса, будут служить у него в центурионах! Вот когда он им припомнит все. Какие почести... Сколько сокровищ... Он явственно слышит свой чарующий голос:

— Купи...

Нет, это не он говорит. Это Лукулл тормозит утопшего, точно муха в меду, в сладких мечтаниях Красса:

— Купи у меня раба. Раз уж ты тверд в своих далеко простирающихся намерениях. Он откуда-то из тех неведомых мест, куда ты надумал идти. Пригодится как проводник. И переводчик. Кроме того, он поэт. По духу.

— Поэт? Значит, человек викчемный.

— Ну! Я сам поэт. Он может ярко описать твой славный поход с первого дня до последнего. Я захватил его у Тавра в составе парфянского посольства к Тирану.

— Грек, сириец?

— И то, и другое. К тому же еще иудей. Армянин. Сер и фаун. И вдобавок — араб, перс, индеец, согдиец, бактриец. И, может быть, скиф. А также исседон. — У Красса глаза полезли на лоб от такого обилия этнических названий. — Ибо нет, — продолжал восхищенный Лукулл, — языка на Востоке, которого он не знает. Он и латынью владеет не хуже нас с тобой. Если не лучше. Но, учти, обойдется недешево.

— Во сколько?

— В пять тысяч.

— Ого!

— Он стоит вдвое дороже! Но, так уж быть, уступлю тебе как другу...

— Как его зовут?

— Пройдоха Доссей, болтун Буккон и дурень Макк, — перечислил Лукулл потешных героев ателлан — уличных веселых представлений. — И вообще — Мормог, что, как тебе, конечно, известно, по-гречески значит «пугало».

— Известно, — крико усмехнулся Красс. — Хорошенькое же чудо ты хочешь мне подсунуть!

— Купи! Не пожалейшь. Он человек забавный.

— Я подумаю.

* * *

В богатом Риме встают рано.

— О Веста-охранительница! — с испугом взглянула Эмилия сквозь световой люк крытого двора на осеннее черное утро. — Что сулит новый день? — Женщина с тревогой зачерпнула кувшином дождевой воды из каменного чана, соруженного в середине двора как раз под квадратным отверстием в крыше.

Но когда ее дочь раздула огонь в жаровне с древесным углем, и сама Эмилия, засветив плошку, взялась за ручку домашней мельницы, и в тесном дворе раздался привычный шершавый звук легкого жернова, она успокоилась. Все идет, как обычно.

И к тому времени, когда проснулись младшие дети, мать с дочерью успели намолоть пшеничной муки, замесить тесто с лавровым листом для аромата и с отрубями — для припека, придать крутому тесту округлость, посыпать солью и поставить, накрыв миской, в сковородке на раскаленную

жаровню. Перед этим Эмилия пальцем провела по нему две, накрест, борозды: одну «четвертушку» горячего хлеба на двоих получали сорванцы, которым настала пора в школу бежать...

— Отец оставил мне югер земли и хижину эту.— Старый Корнелий кивнул через плечо на сплетенную из ивовых прутьев перегородку.— Ты слышишь, мой сын Фортунат? В первой войне с Митридатом я два года ходил в простых солдатах; на третий год, за сметливость и стойкость, Сулла сделал меня младшим центурионом десятой когорты. Уж мы показали этим хвастливым грекам в Афинах! Вен не забудут.

Гней Помпей назначил меня третьим центурионом первой когорты. Первой, учти! Я был в Галлии с Юльем Цезарем, пока не ранило в ногу. Он возвел меня в звание уже второго центуриона первой когорты. Тридцать четыре раза награждали меня полководцы за храбрость! Я получил шесть гражданских венковс, — вот они, висят перед тобой, запыленные, давно иссохшие. Я проливал свою кровь за великий Рим! Но у меня все тот же югер земли...

Сын внимал ему терпеливо. Все это он слышит не первый раз. Старик скажет сейчас, как обычно: «Эх! Нам бы с тобой пять югеров доброй земли...» Мечта о земле у него — как болезнь.

— Эх! Нам бы с тобой пять югеров доброй земли, — вздохнул Корнелий и зачерпнул хлебной коркой из миски «моретум» — кашу из соленого твердого сыра, перетолченного вместе с разными травами, пахучими, острыми, и разбавленного оливковым маслом и уксусом.

«Сейчас спросит, не найдется ли немного вина. Хотя и знает, что вина у нас давно уже нет».

— Не найдется ли немного вина? — уныло спросил Корнелий.

И махнул рукой. Откуда у них быть вину? А без него соленый «моретум»... Тьфу! Разве это еда для солдата? Он давно испытывал мясной голод, ночами долго не мог уснуть, вспоминая жирных галльских быков, сирийских овец, греческих коз, огромные куски сочного мяса, зажаренного на походных кострах...

Солдат, как поэт, живет припеваючи, когда получает вознаграждение за нелегкий труд; но длительное время между наградами он довольствуется малым, даже впадает в нищету и бедствует, хотя и не швыряет денег, как поэт, направо и налево, — это человек бережливый. Чтоб заработать новую сумму, поэт опять берется за стило, солдат — за меч.

Если у поэта еще не усохло, подобно старому венку, воображение, а у солдата — его мужество.

— Я схожу на Форум, а ты начинай копать участок,— сказал он сыну.— Послушаю, что говорят. Может, хоть на сей раз... Дай мне асс,— обратился Корнелий к жене.

Она испуганно супула руку в передник, долго рылась в кармане дрожащей рукой и выудила медную монетку.

— Последний,— протянула она к нему ладонь с монеткой.— Я хотела купить горсть бобов к обеду...

Корнелий тупо уставился на ее шершавую ладонь. Асс, темный, красноватый, казался на ней почерневшей кровавой мозолью. Он взглянул на бледную тихую дочь и не взял.

— Ладно, купи бобов.

«Сейчас скажет: копай».

— Копай,— вновь сказал Корнелий сыну.— Рабов у нас нет, все нужно делать самим. Юпитер! Чем мы лучше рабов?

И это он говорил уже не раз. Фортунат, стиснув зубы, неохотно пошел в чулан за мотыгой.

О боже! Неужто ему, как и отцу, суждено до преклонных лет черпать «морегум» коркой грубого, с отрубями, крестьянского хлеба? И до последних дней своих мечтать о жалких пяти югерах земли?

Корнелий, вжимая от сырости голову в плечи, вышел к своему земельному наделу позади жилья. Хорошо ухоженный, строго прямоугольный участок заботливо обнесен ровной каменной оградой. Сто двадцать пять локтей в длину, сорок четыре — в ширину. Земля черна от недавних дождей, и на черной земле бледной свиной щетиной торчит стерня.

Один югер. Попробуй прокормить с него шесть человек! Еще ведь и сына придется женить, и дочь выдать замуж. Какими печальными глазами она проводила отца...

Корнелий, чуть хромая, подступил к большому камню у входа на участок.

— О Юпитер, благой и великий!— И чтобы молитва дошла точно по назначению, иначе она потеряет силу, он сделал оговорку, которая должна была его оберечь от возможной ошибки:— Или каково бы ни было имя, угодное тебе. Я, старый солдат Корнелий Секст,— он ударил себя в грудь и повторил вразрядку, дабы божество получше запомнило:— Кор-не-лий Секст,— прошу тебя, о всемогущий! дай мне пять югеров земли!— Он растопырил пальцы на правой ру-

ке и показал их холодному камню, затем наклонился и прикоснулся ладонью к сырой земле. Чтобы у бога не оставалось сомнений, чего просит старый солдат Корнелий Секст.— Иначе, ты видишь, мне худо. Жертвую тебе, о мудрый, пять голов.

Подразумевалось, что он жертвует богу пять голов скота. Но, поскольку скота у Корнелия не было, старик, достав из-за пазухи, положил, с молчаливого согласия доброго божества, на мокрый камень пять чесночных головок...

В груди у него потеплело от надежды.

И потащился Корнелий, опираясь на палку, с этой надеждой по грязной раскисшей дороге к Тибру. Нес ее бережно в себе, как чашу с горячей водой, боясь накренить, расплескать и обжечь нутро разочарованием: осторожнее припадал на ногу, выбирал, где ступить, и, весь занятый ею, не глазел по сторонам.

Не смотрел на редких прохожих, проезжих,— они ему ни к чему.

Не смотрел на деревянные или грубо-каменные, кое-как сооруженные хижины под соломенными крышами,— они давно привычны. Лучших тут нет, а на белые колонны богатых вилл, что виднелись в пасмурной мгле на дальних холмах, и вовсе незачем глядеть. Как на звезду в небесах— красную, яркую, но, хоть умри, недоступную.

Едиственное, мимо чего он не мог пройти равнодушно, ибо надежда его относилась к ним,— это земельные наделы близких и дальних соседей.

Чаще всего попадались наделы в югер, как у него, а то и меньше. И он с холодным удивлением, без сочувствия, думал, как и чем перебиваются их многодетные владельцы.

Но иногда, справа или слева от ухабистой, в мутных лужах, дороги, встречались и хорошие поля. Везет же иным: Корнелий жадно, с яростной завистью, заглядывал через мокрые ограды на огромные участки в пятнадцать, двадцать, а то и тридцать полных югеров...

Ему бы еще три-четыре югера доброй земли! Но каждая пядь земли в окрестностях Рима стоит чудовищной суммы. А Корнелий Секст — не Марк Лициний Красс...

С шеста над оградой, колеблясь от ветра, ему участливо кивало черное пугало. Да, приятель. Вот я торчу здесь, ворон пугаю, а сам даже с места сойти не могу... И Корнелий Секст, обычно не страдавший избытком воображения, почему-то сейчас показался себе таким же черным беспомощным пугалом.

Остыла надежда на сырой холодной дороге к благословенному Тибру.

Корнелий угрюмо взглянул на отвесный обрыв Капитолия, подступающий с той стороны к реке. Его подножие утопало в тумане, что плыл, клубясь густыми клочьями, над водой и далее, над Марсовым полем, — оно казалось отсюда огромным облаком, белым и низким.

Трудно поверить в такую погоду, что Рим вообще-то город светлый, теплый и сухой.

Город походил на исполинское чудовище. Как бы рухнув откуда-то сверху на берег всей пемыслимой тяжестью, оно разбилось на угловатые куски, окаменело и лежит, издыхая, испуская дым и пар, криво выставив горбы холмов, откинув в стороны нагромождения зубчатых костей от разрушенных крыльев и припав к бегущей воде тупой широкой мордой.

Ничего такого не привиделось бы Корнелию Сексту, если бы не был он нынче в расстроенных чувствах. Но городские ворота, с глазами бойниц на смежных башнях и зубьями подтянутой кверху решетки, явно напоминали драконью черную пасть, коварно высунувшую навстречу Корнелию длинный шершавый язык моста.

«Старею», — подумал он со смертной печалью. Как ветеран в последней схватке на мечах начинает с жутью сознавать, что ему не одолеть нахраписто-молодого соперника.

Зачем он пришел сюда? Что даст ему город? И Форум... Что услышит Корнелий в этой красиво застроенной яме, бывшей когда-то болотистой низиной между холмами и местом для захоронений?

Немало там погребено холодных тел и живых горячих дел...

Видно, мозг, усохший от строгих уставов, сегодня размяк от горькой сырости, как сыр в «моретуме» от уксуса. В нем на один острый миг мелькнуло имя — «Гай Гракх».

Тот, который...

Корнелий тут же отбросил это страшное имя, как лишний предмет боевого снаряжения, бесполезно-обременительный и потому даже опасный в походе.

Он солдат. Его дело — война. Все остальное — блажь.

Но в город он все-таки не пойдет! Расхотелось. И все равно у него нет асса, уплатить страже за вход.

Он повернулся — домой...

И чуть не угодил под повозку с капустой, подкатившую к харчевне у въезда на мост. Хозяин, спрыгнув с нее, забежал пропустить стаканчик. Или купить что-нибудь юной до-

черн, оставшейся в повозке, запряженной парой крепких мулов.

Богат!

Девчонка взглянула из-под платка на солдата с опаской и в то же время с беспредельным доверием к старику, улыбнулась, — и перед ним опять загорелись глаза его бледной дочери. Очень похожей на эту. Вернее, совсем непохожей. Эта сына и румяна.

С чем он вернется домой?

В харчевне взорвался вопль изумления. С утра загулял. Или драка?

С чем он вернется домой?

Любопытством излниним Корнелий тоже не страдал, по все же решил заглянуть. Может, удастся что разузнать. В кабаках без страха кричат, о чем стыдливо молчат на форумах.

Хозяин повозки, потный и красный, выбрался из харчевни, икая не то от смеха, не то от страха:

— Ну и воруя! Только бы он не заявился ко мне во двор...

Корнелий переступил порог и через головы посетителей, сидевших на скамьях или просто на полу, заглянул в глубь просторного помещения. Светло от множества плошек. Тепло, даже душно от очага и жаровен. Вкусно пахнет горячей едой. Благодать после уличной слякоти!

Какой-то человек развлекал посетителей:

— А теперь извольте взглянуть сюда!

Представление, видно, уже заканчивалось. Человек поставил перед собой трехногий столик. Корнелий удивленно вскинул брови. Он узнал его.

Фокусник положил на круглый стол три белых камешка.

— Следите зорко! — подзадорил он зрителей. — Смотрите, я их накрываю. — И он не спеша, основательно, плотно — все это видели — накрыл каждый камешек миской. — Так? Подождем. — Он откинул голову и зажмурил глаза, как бы считая до десяти. — А вдруг эти белые камешки, пока накрыты, превратятся в яйца, из яиц выведутся цыплята?

Зрители затаили дыхание: а вдруг? Он уже тут немало чудес показал...

— Откроем. — Он осторожно взял одну миску. Белого шарика под ней не оказалось! Взял вторую — и под ней ничего! — Куда они делись? — Черноволосый, худой и смуглый, он оглядел народ серыми веселыми глазами. — Если бы

так же — по одному, незаметно — исчезали члены известной троицы, а?

Восторг и ужас! Все поняли, на кого намекает фокусник. Помнишь. Цезарь, Красс...

— Но постойте, не радуйтесь! — Он со страхом поднял третью миску: все три камешка уютно лежали в одной кучке под ней. — Вот он, весь триумфврат на месте. Не так-то легко от них избавиться...

Общий тяжкий вздох.

— Может, съесть? — Он резко накрыл три камешка, лежащих вместе, одной миской и возмущенно замотал головой. — Невкусно! — сказал он певнятно, с полным ртом. — И сняв миску с пустого столика... выплюнул в нее камешки, каким-то образом очутившиеся у него во рту. — Тьфу! Гадость. Зубы поломаешь...

Он сам уже видел, что заходит слишком далеко, и решил закончить представление более или менее безобидной шуткой. Поставил миску с камешками на столик, повернулся к хозяину харчевни.

— Забавно? — Тут обнаружилось, что миска уже пуста. — Эй, кто украл мои алмазы? Ну и люди нынче пошли! А я-то общаюсь с ними, дружбу вожу, как с порядочными римскими гражданами. Отдайте! В этих камешках все мое богатство. Как тебе не стыдно, — подступил он к одному из зевак. — Такой красивый, умный. — И вынул камень у него из ноздри. — Ты, как мой новый хозяин Марк Лициний Красс, способен только нюхать... То ли дело покойный Луккул, мир его праху: тот каждую вещь применял по назначению. Особенно...

Всеобщий хохот... Ибо далее следовало слово, которое не пишут в книгах.

«Остроты не ахти, — поморщился сам скоморох, — да уж ладно. Для этого сброда сойдут».

— А ты? Нашел, чем ухо заткнуть! — И вытащил другой белый камень у потрясенного селянина из уха. — Чтобы отгородиться от опасных разговоров, нужен камень побольше. Высокий. Надгробный.

Третий камень, под гул посетителей харчевни, он достал у кого-то из головы.

— Скажите, чем пачипены мозги у римских граждан! А я думал — трухой. А теперь, — протянул он миску, — все кладите сюда по сестерцию! И не меньше. Иначе, — предупредил он с веселой угрозой, — выйдя отсюда, вы не найдете при себе даже асса. Уйдете, ребята, без асса, как будто гостили у Красса, — потешно пропел он напоследок.

Каждый, бросив монету, спешил со смехом к выходу, вцепившись в кошель обеими руками. Подальше от греха, как говорится. Харчевня быстро опустела.

Фокусник высыпал кучку монет на длинный стол,— в ней были, конечно, и ассы, и ассов больше, чем сестерциев,— сел перед нею, уронил руки по обе стороны от денег, опустил лобастую голову. Трудно судить о возрасте такого человека. Только сейчас, смеясь и веселя народ, был молодым и пригожим. И вот он уже почти старик.

«Ох! Устал я дурачиться. Но я хоть дурачусь в шутку. Они же, все эти,— всерьез...»

— Эй, Мормог,— тихо окликнул его Корнелий, втайне довольный, что в это мрачное утро может назвать «пугалом» кого-то еще, кроме себя. Греческому он научился немного в Афинах.

Неохотно поднял голову Пугало, в глубоких серых глазах вновь сверкнуло веселье.

— А, Корнелий Секст!— вскричал невольник с деланной радостью.— Старый конь боевой. Садись. Как твоё копыто?— кивнул он на правую ногу солдата.

— Стучит.— Корнелий поставил палку в угол, сел напротив.— Не знал,— солдат указал подбородком на кучу монет,— что у тебя за душой есть еще и это ремесло.

Расчетливый, черствый, не склонный к эксцессам, как и большинство его сограждан, Корнелий с дремучим недоумением взирал на нелепое чудище, которое, не сходя с места, может заработать на какой-то чепухе целую пригоршню денег.

— Много чего есть у нас за душой! Но мой повый хозяин пока что не нашел мне лучшего применения. Каждый вечер я должен сдавать ему десять сестерциев. Как дела, центурион?

— Худо,— вздохнул Корнелий, все пытаясь отвести жадный взгляд от кучки монет между ними и все опять возвращаясь к ней глазами.

— Не всем худо в Риме!

— Тебя не зря... зовут еще Буккопом. Болтун! Донесут.

— Нет,— уверенно сказал болтун Буккон.— Я говорю за них. Единственный, кто говорит, когда все молчат. А выдадут, что ж? Не боюсь. Мне можно. Я — дурень Макк.

— Откуда?— поразился Корнелий, увидев на пальце раба золотое кольцо.

Толстос, с какой-то надписью и крупным, как черешня, рубином. За такое кольцо даже на Марсовом поле, которое

скоро войдет в городскую черту, можно было бы купить не один югер земли.

Золотое кольцо в Риме — знак сенаторского достоинства.

— Лукулл вручил перед смертью, — сказал дурень Макк. — Имею дарственную запись. Они успели на меня составить купчую, но я еще оставался при старом хозяине. Лечил его. Уже за деньги для Красса. Старый Лукулл взял это кольцо на Востоке, у пленного евпуха, жреца великой богини. Велел вернуть на место. Совесть, что ли, беднягу заела. Кольцо-то волшебное, — поднес дурень Макк руку к солдату. — Видишь надпись? Древний язык. Никто теперь на нём не говорит. Я один его знаю.

— Ну, ты известный пройдоха, — проворчал отчужденно Корнелий. — Не зря тебя зовут еще и Доссеном. И, похоже, не зря судачили в городе, что Лукулл незадолго до смерти повредился в уме.

— Может быть, — усмехнулся пройдоха Доссен.

Корнелий сгорбился, потемнел. Ну времена! Все изменилось в Риме. Нынче иные рабы богаче своих господ. Господин дарит рабу, которого продает другому господину, баснословно дорогое кольцо, а заслуженный старый солдат чуть ли не дохнет с голоду. Ничего не понять.

— Ты бы спрятал свое кольцо подальше. Красс, он такой... Отберет.

— Не отобрал же! Он... боится меня.

— С чего бы это?

— Ходят разные слухи. Будто я извел бедолагу Лукулла... колдовскими снадобьями. Чепуха! Я его жалел. Он был человек несчастный. Эй! — позвал пройдоха Доссен владельца харчевни и подвинул к нему пальцем сестерций. — Лучшей еды и питья на двоих. А это тебе, взаимы, — щелчками подкинул он к солдату два сестерция.

— Ну, ты... — Корнелий угрожающе побагровел.

Презренный раб предлагает деньги взаимы свободнорожденному римскому гражданину.

— Козлиное отродье! — вскричал Мормог. — Брезгуешь? Не бери. Жить нашим трудом вы тут, в Риме, не брезгуете... — Он протянул руку к монетам.

— Возьму. — Корнелий угрюмо накрыл монеты тяжелой ладонью. «Козлиное отродье»? Ладно. Что подделаешь. Ходовое прозвище центурионов, неотесанных мужланов. — Но, Мормог...

Но Мормог не стал слушать его объяснений.

— Не бросайся я так деньгами, уже давно накопил бы себе на выкуп! Но я не хочу. Не хочу платить, понима-

ешь? — Он взъерошил курчавый мех бороды, упрятал в се смолистых кольцах острый клюв крючковатого носа и доверительно мигнул центурнону. — За что, а? Разве Красс дал мне жизнь? Я обязан ею родному отцу, родной матери, родной земле. Им я уже вернул что положено, и еще добавлю, даст бог. При чем же тут Красс? Кто он такой? Ну, положим, в Риме он фигура. Но какое, скажи, имеет он касательство ко мне? Я никогда не бывал прежде в Риме, никому ничего у вас не должен, дел у меня здесь нет никаких. Объясни же, центурнон: почему надлежит мне платить чужаку, — я его звать раньше не знал и звать не хотел, — за свою, за мою — мою, понимаешь? — жизнь и свободу? Это я-то, который даже на родине беспощадно рубил руки тем, кто ни с того ни с сего, из одной лишь жадности, тянулся к моей драгоценной шее?

— Он заплатил за тебя, — тупо сказал Корнелий.

— Заплатил? Хе! А спросил он у меня, сколько я стою? Жалких пять тысяч драхм. Мне же цена — миллионы! И вообще нет цены.

— Что так? — удивился Корнелий.

— Не понимаешь? Ладно, — повурлял голову раб. — Вы это еще поймете...

— Я возьму твои деньги, — испуганно спрятал монеты Корнелий. — Но... когда их сумею вернуть?

— Когда разбогатеешь, — бросил Мормог равнодушно.

— Ох, когда я разбогатею?

— Очень скоро. Мой господин, Марк Лициний Красс, вербует солдат. Он затевает поход на Восток.

Корнелий, как разинул рот, так и застыл, точно каменный идол у храма.

— Эй! — испугался собеседник. — Удар тебя, что ли, хватил? Хлебни.

Он подвинул к нему полную чашу, и солдат разом выглушил неразбавленное крепкое вино.

— Юпитер услышал мою молитву!

Доссен, который Буккон, он же Макк и вообще — Мормог, всегда пил вино «по-скифски». Вино и без того изрядная дрянь, зачем же еще его водой разбавлять?

Раб уныло копался в миске с перестоявшими вареными бобами, с прокисшим соусом. У себя на родине он пил другие напитки. Острые, белые, чистые, дающие здоровый сон и силу. И употреблял другую пищу, тоже острую, сочную, красную, от которой горит внутри.

Здесь любимое блюдо — бобы.

— Как можно есть такую пакость? Неужто *воля римская* мощь возведена на бобах?— Макк брезгливо отодвинул миску. — Не знаю, возьмут ли тебя, с твоей-то ногой...

— Возьмут!— перевел дух Корнелий.— Она крепче десятка сухих долгих пожек, подобных твоим.— Но, вспомнив кое о чем, спохватился:— Ты хорошо ее заштопал, да будет благо тебе. Возьмут. Я человек известный, бывал в тех краях. Управлюсь. И сын будет при мне. Я сам обучал его ратному делу. Ходить в строю «военным» и «полным» шагом. Бегать, прыгать через рвы и другие препоны. Плавать, ездить верхом. Метать копье, мечом владеть. Удары хитрые щитом отражать...

— Да, ваши солдаты отлично умеют все это,— кивнул дурень Макк одобрительно. Или осуждающе, не поймешь.— Ну что ж. Руки-ноги я вылечить могу. И тебе, и сыну твоему, если будет нужда. Но вот голову от глупости — нет. Что тебе на Востоке? Ишь, загорелся. Восток не рай.

— Запад, Восток — мне все равно. Была бы работа. Восток? Тем лучше. Он богаче.

— Но ведь те, на Востоке, ничего худого тебе не сделают.— Взгляд серых глаз у раба отчужденно-дружелюбный, непопятный и потому — особенно опасный: никогда не скажешь наперед, во что выльется это дружелюбие — в добрую ласку или дикую злобу.

— И я против них ничего не имею,— пожал плечами Корнелий.— Когда человеку за пятьдесят, ему, конечно, лучше не б дома сидеть, у горячей жаровни с приятным дымком, развешиваясь с внуками. Я от рождения пахарь. Но что пахать? Солдат поневоле. Война — мой хлеб. А зачем опа, с кем и за что, пусть ломают голову в сенате.

Но, честно сказать, он уже ненавидел их, тех неведомых людей на Востоке. За свою бедность. Будто они в ней виноваты. Жрут, сволочи, жирное мясо, прохлаждаются на ветру под сенью шелестящих смоковниц. Н-ну, погодите...

— Вы, римляне, странный народ,— вздохнул дурень Макк.— Я бывал в каштановых ваших лесах. На горных лугах. В просторных долинах. Благодать! И вы сами вроде люди разумные, честные, во всех делах искусные. И сил много у вас. Земли не хватает? Соберитесь все вместе, умелые храбрые воины, отнимите ее у таких, как Цезарь, Помпей и Красс, и разделите между собой. Каждый получит по десять, не меньше, югеров земли. Чего бы проще? Нет, все несет куда-то.

Умолкли. Даже хозяин харчевни, возившийся с горшками, ми, притих, наострив уши.

— У вас... не так? — хрипло спросил Корнелий.

— Не так. Мы живем в свободных общинах. Пусть попробует царь или кто тронуть нашу родовую землю... рога обломаем.

Тишина в харчевне сделалась вовсе жуткой. Лишь где-то на кухне о чем-то нудно бубнил старушечий голос. Бледный Секст кивнул куда-то через плечо:

— Видал... Тарпейскую скалу?

— Ну как же...

— Таких речистых, как ты, кидают с нее вниз головой. Если они — из свободных граждан. Болтунов из рабов просто вешают на перекладинах.

— Да-а,— похолодел болтун Буккон. Он будто в пропасть заглянул.— Основателей вашей столицы, Ромула и Рема, вскормила волчица,— я завернул как-то в пещеру у Палатина, где это было: теперь в ней ночуют бродяги. Видно, с тех пор и повелись в Риме волчьи законы. «Хомо хомини люпус эст». Не так ли? «Человек человеку — волк»...

Он говорил на латинском не хуже, чем «хомо романус», коренной римский житель Корнелий,— но звук «х» в слове «хомо» произносил рвуще, гортанно, что и выдавало его азиатское происхождение.

— Ничего,— кивнул сам себе дурень Макк.— Пока оно со мной, я не пропаду.— Он взял правую руку в левую, трижды провел большим пальцем по золотому кольцу с алым камнем.

Из кольца полыхнул странный свет, от которого Корнелию стало нехорошо, неуютно в харчевне.

* * *

— Как угодно будет господину! Ты бог, я червь..

Если закрыть глаза и поднести ко лбу, не прикасаясь к нему, острое пожа, кожа в этом месте как бы сжимается и, ощущая смертельную близость железа, начинает дергаться.

Гнусное состояние! В детстве Марк Лициний Красс, по природной склонности к риску, желая испытать свою чувствительность, не раз проделывал это над собой.

Хотя ему и говорили: «Не играй с ножом — опасно».

Не уберешь руку с пожом — незримое излучение железа проникает сквозь кожу лба и лобную кость в самый мозг, и теперь уже мозг начинает сжиматься, дергаться.

Именно такое ощущение, тревожно-тягостное, невыносимое, у него возникло в данный миг, когда Мормог вскинул к лицу хозяина два стальных острия серых глаз. Холод и

ясность в них. Ясность и тайпа. И Красс, известный тем, что никогда ни перед кем не опускал упрямых глаз, сейчас опустил их...

«У меня много тысяч рабов, — подумал он с ненавистью. — Один мой вид приводит всех в ужас! Один мой взгляд способен сломить самых буйных и непокорных. Дрожая, припадают они к земле и в страхе ждут, как я решу их участь. Почему же этот?..»

...Мормог, обойдя пять-шесть харчевен, как обычно, неся под мышкой трехпогий столик, вернулся к вечеру домой. «Домой»?

В отличие от шатких трех- и четырехэтажных строений для сдачи внаем, которыми Красс утыкал чуть ли не весь благодатный Рим, — они часто рушились, погребая под обломками несчастных обитателей, — свой дом он возвел на свой вкус — из тяжелых тесаных камней. Как бастион крепостной. Или, точнее, как товарный склад. И еще точнее — как тюрьму для рабов...

Удачный день! Сырость — беда для полевых мышей, для проворных ужей она благо. Она загнала в харчевни, к теплу и свету, много народу, и Мормог неплохо заработал.

Деньги следует сдать домоправителю.

Домоправитель Леон — тоже раб, но старший над всеми. Его захватили еще мальчишкой на киликийском разбойничьем судне. Смышленный юный пират сумел угодить Крассу. Расчетливый, дельный патриций поправился пирату. Они поладили.

Несмотря на звучное, гордое имя, домоправитель похож не на льва, а, скорей, на гиену. Если и есть в этом доме пугало, то, конечно, вовсе не Мормог. У Леона странное лицо: правая часть почему-то короче левой. Затылок слева — гораздо выше, чем справа, угол подбородка — гораздо ниже. Левая бровь неслучно вздернута, правая где-то угасла. Положение левого глаза не совпадает с положением правого, левый конец тонкого рта, потерявшись в излишнем пространстве, криво съехал в неопределенность.

И бедный нос, длинный, мясистый, не зная, как ему приоровиться к двум неравным половинкам лица, сперва нерешительно изогнулся вправо, затем увыло — влево.

Будто голову Леона, лепя из глины, уронили сырой на землю, она шмякнулась правым выступом подбородка, коряво уплотнилась с этой стороны и обреченно вытянулась с другой. Именно левую сторону лица, более благополучную, и выставляет Леон, когда говорит с кем-нибудь, оттого

он всегда смотрит искоса и, при грубой своей худощавости, кажется хитрым и злым.

Зато оба уха у него совершенно одинаковы: величиной с ладонь, заостренные кверху и чуть назад, они плотно прижаты к черепу.

Он и впрямь хитрый и злой. Подлецами бывают и люди со скульптурно правильными лицами. Но в данном случае внешний облик точно соответствует душевному складу.

...Леон потянулся, погладил тощую грудь в густых завитках черных волос.

Он еще вчера вернулся из поездки по сельским владениям Красса. Но до сих пор будто сладко дремлет в повозке, и его все несет и несет в голубую даль. Хозяин милостив с ним. Сейчас, за обедом, соизволил своей державной рукой налить ему полный кубок вина. И повел доверительный разговор, что делать, чего не делать в его отсутствие. Пообещал, возвратившись, отпустить на свободу.

Пхе! Старый пират сам знает, что делать, чего не делать. Красс, при всей своей знаменитой расчетливости, просто дурак. Если б ему сказали...

Но кто скажет?

О Гермес! Леон осторожно глянул в темный угол каюрки.

Там, в земле, под каменной плитой... Ого! Там есть кое-что, под плитой. Он давно бы мог купить себе свободу.

Леон с туманной улыбкой представил богатые виллы Красса, разбросанные по всей Италии, в плодороднейших областях. Куда как домоправитель часто выезжал за провинцией.

Не извивы белых дорог, вползающих на холмы среди виноградников: на них тряска и скучно. И не красу лесистых гор: в горах опасно, там прячутся беглые рабы. И не поля, готовые к пахоте. Это все — «поэзия», как говорит хозяин.

Он с удовольствием вспоминал хлевы, птичники, склады с пшеницей, бобами, окороками. Огромные бочки из обожженной глины, врытые в землю и наполненные вином и оливковым маслом...

Откуда же началось невероятное богатство Красса? Леон тоже знал, откуда. Будучи смолоду в Испании, Красс, например, ограбил начисто город Малагу.

...Но с особенным удовольствием вспоминает Леон управляющих — виликов... Правда, не всех. Он злорадно усмехнулся. Вилики — разный народ.

Есть вилик озлобленный. Вчерашний раб, он весь в рубцах и шрамах, как солдат-ветеран. У него сломаны зубы. У него вышиблен глаз. У него оторвано ухо. Заполучит власть — и, опалев, зверски истязает себе подобных. А как же? Сказано: «Нет злее битой собаки». Он ненавидит всех. Все ненавидят его. Что с него возьмешь? Пользу от такого придурка видит лишь хозяин, которому он поневоле предан.

То ли дело вилик беспечный! Он говорит: «Что съел и выпил, только то и твое». Этот никого не обижает. Не убивается на работе. И гуляет напропалую, потихоньку спуская хозяйское добро... Накажут? Что ж: «Хоть час, да мой». Нагрянет в латифундию владелец — для него припасены четыре отговорки: весна, лето, осень, зима.

Эти четыре напастей никак не дают развернуться. Засуха, знаешь. Дождь неурочный. Град. И мало ли что? Моровое поветрие. Зависть соседей...

С ним хорошо. За треть цены снижет тебе скот, хлеб и вино. И легко, например, погрузив сорок бычьих туш, подсунуть пьяному расписку на тридцать и десять лишних сбыть по дороге. Хозяину — убыток, вилику — внушение, домоправителю — прибыль.

Старый пират знает, с кем дружбу водить!

...Захватив умбрийский город Тудер, неутомимый Красс присвоил большую часть добытых ценностей.

Самый лучший вилик — деловой. Есть и такие. Милые люди! Веселых ночей с девицами, вкусной еды и выпивки доброй им мало, — пхе! это поэзия, — они хотят взять от жизни побольше. Не из рабов разве помпейский бакир Цецилий Секунд или римский хлебник Эврисак?

В руках расторопного влика деньги. Конечно, хозяйские — свои он не тронет. Что с ними делать — держать в сундуке без всякой пользы? И смиренно ждать, когда хозяин, приехав, их заберет?

Нет, он пускает их в оборот, покупая без ведома господина всякое добро и выгодно (для себя) его продавая. А деньги за сдачу подряда на сбор маслин? Или на какую-либо стройку? А также от распродажи ненужных в хозяйстве предметов? Они тоже текут в руки дельного влика.

Он дает в срочный долг. Он барышничает скотом, не без помощи Леопа, и, с ним поделившись, разницу кладет себе в кошель. Приедет хозяин — доход как будто на месте и весь, до последнего асса, сходится с отчетом управляющего.

Господни рад. Берет свою увесистую прибыль и уезжает, довольный. Даже по плечу на прощание хлопнет:

— Старайся!..

Не знает бедняга, что хитрый вилик заработал на его деньгах не меньше.

...При свирепом Сулле, в годы кровавых расправ и конфискаций, Красс скупал за бесценок богатейшие имения или выпрашивал их себе в дар.

Леон тихонько запел, усмехаясь, на заунывный мотив какой-то восточной песни, переделав на собственный лад, монолог Мегадора из веселой комедии «Клад»:

Сандаляшки торчат, кричат чистильщики,
Корсетчики рычат, ворчат чинильщики...
Суковщик, ювелир и вышивальщик,
Бордюрышки, портные, завивальщики,
Бельевщики, рукавички, мазильщики,
Красильщики, темпильщики, желтильщики,
Торговцы полотняные, башмачники...

Все они работали в мастерских Красса, и со всех Леон, следивший как доверенное лицо хозяина за их деятельностью, тайком брал в свою пользу по сестерцию в день.

...Или взять, к примеру, весталку Лицинию. Она владела прекрасной виллой в окрестностях Рима, и Красс, желая дешево купить ту виллу, настойчиво ухаживал за Лицинией. Он оказывал ей различные услуги, чем и навлек на себя подозрение в сожительстве с нею. Между тем как жрица богини Весты обязана под страхом смерти беречь свою девственность.

Его должны были сбросить с Тарпейской скалы, ее — живьем зарыть в землю. Но Красс как-то сумел, сославшись на корысть, как на причину его отвошепий с весталкой, оправдаться перед судом.

Эти девочки с кухни, Сарра, Эсфирь и Рахиль...

— Мордухай! — рявкнул домоправитель, резко высунувшись паружу.

— Мэ-э, — послышалось во дворе веселое мычание.

— Давай сюда Рахиль.

Молодой курчавый рыжий гнапт с грубым носом и подбородком, сплывшимся с толстой жирной шеей, тяжело спустился в полуподвал, заглянул, ухмыляясь, в раскрытую

дверь. Разыскал глазами в горячем тумане Рахиль, позвал ее радостно:

— Ты-ы. Хэ-хэ...

Она бросила нож, которым резала овощи, и вышла к нему, отирая руки и поправляя лохматые смолисто-черные волосы.

Если б Рахили дали дорасти до полного созревания, она могла бы стать со временем жемщиной редкой красоты и сложения. Но бедняжку рано совратили,— глаза у юной еврейки опухли, лицо было худым и бескровным.

Рахиль, в благодарность за передышку, улыбнулась Мордухаю полными, но бледными губами. Ей по душе добродушный рыжий детина, его глаза — зеленые, светлые. И ей надоело с рассвета торчать в дымной кухне, у нее пальцы онемели от рукояти ножа.

— Мэ-э,— с животной лаской промычал Мордухай и толкнул Рахиль в открытую кладовую рядом с кухней.— Хэ-хэ...— Он сгреб соплеменницу толстыми руками в желтых волосах и больно стиснул на жирной груди в золотистых крупных веснушках.

— Нет! Только не это. Я устала...— Она вцепилась зубами в его жирную шею.

Он заорал и выпустил ее...

Оправив туннику, Рахиль устало вошла к Леону. И сразу поняла, зачем она понадобилась ему. Нет! Это уже слишком. С чего взбесились?

— Я не могу! Не могу больше...

— Сука! — Домоправитель вскинул сухую тонкую руку с несоразмерно огромным кулаком, ударил еврейку по голове. Рахиль со стоном упала на колени. Он пнул девушку в спину...

— Чтоб ночью была как зеркало! — прошипел он вслед, когда Рахиль, шатаясь, всхлипывая и вздрагивая, выбралась на воздух.

Она тоже приносит ему немалый доход. Как и Сарра с Эсфирью. Каждую ночь, когда в доме все затихает, он ведет их к тайной калитке на заднем дворе. Там, возле ограды, есть лачуга. Плоская на столике у жесткого ложа освещает кувшин с вином и чашу. За калиткой нетерпеливо шепчутся клиенты...

Правда, случается, девушки плачут. Устают они, видите ли. После целого дня отупляющей работы у жарких печей, в дыму и чаду, не до ночных развлечений. Но Леон с ними строг. Пусть будут ему благодарны! Он их пригрезил на чужбине, как дядя родной.

Да, деньги делают деньги. Он отдает их в рост. В Риме немало высокородных балбесов, прожигающих жизнь и заодно добро отцовское в зланных местах, с гетерами. Они идут к Леону. Старый пират всегда имеет деньги. И наживается на хороших процентах.

Хозяин тоже дает деньги взаймы, — без процентов, правда, зато, как настанет срок, требует их с должников без снисхождения, и тем ничего не остается, как распродать все наспех, за четверть цены, чтобы вернуть в положенный день ему пужную сумму. И разориться на этом. Скупает по дешевке их имущество все тот же Красс — или сам, или через других. Так что его «бескорыстные» тяжелее высоких процентов.

А Леону не к спеху. Он может ждать. И ждет. Пока не накопит приличную сумму. Богатый раб лучше, чем бедный вольноотпущенник. Вернется хозяин с Востока, тогда Леон и уйдет от него.

В Киликию, домой, он не вернется. Свои же ограбят, убьют. Старый пират знает, где жить. Он назовет «Киликийей» публичный дом — дупанарий, который откроет в Риме.

* * *

— Добрый вечер, Киликия, — хмуро кивнул, войдя, дурень Макк.

— Буккон, — строго сказал домоправитель. — Долго ходишь! Выкладывай десять хозяйских сестерциев.

— Вот они. Не забудь записать.

Буккон высыпал монеты на конторку. И когда он протягивал к ней правую руку, золотое кольцо на его среднем пальце мигнуло Леону красным глазом.

— А мой законный? — сразу охрип Леон.

— Вот он, — добавил еще сестерций пройдоха Доссен.

Рубин горячим угольком прожег Леону сердце. Так случилось с ним всякий раз, когда он видел это кольцо.

— Нет, мало, — сухо сказал домоправитель. — На сей раз я сдери с тебя десять.

— За что?

— За молчание. О твоих проделках.

Дурень Макк подпес к нему три пальца, выразительно сложив их в некий символ.

— Ах, так?! — взревел пират. — Ну, погоди. Я доложу господину... — Он схватил Мормога за руку, потащил к бассейну во дворе. — Сиди здесь — и ни с места! Я тебе покажу...

Убежал, распаленный.

Мормог устало присел на каменный край бассейна с дождевой водой, уныло взглянул на черно-багровое небо.

Да-а, сегодня, пожалуй, в яме ему почевать. Леон что-то знает. Не зря, видать, в харчевне у моста, где фокусник беседовал с Корпелием, хозяин пазойливо крутился возле них.

Что ж, перетерпит.

Уже где только ему не доводилось ночь коротать. В снегу на горных перевалах. На речных островках, в колючих зарослях, кишачих змеями. В пустыне, зарывшись в сыпучий песок. В тюремных ямах — тоже приходилось. Не первый раз.

— Выручай, мать, — с бледной усмешкой потер он кольцо.

Из-за этой усмешки трудно понять, верит он сам в чертовщину с таинственной силой кольца или нет, просто дурачится.

...Рахиль, с повязкой на голове, наклонилась возле него над краем бассейна, опустила в холодную воду кувшин.

— Что с тобой? — взглянул дурень Макк на повязку.

— Леон... — Она шепнула с мольбой. — Приду ночью?..

Он кивнул, Рахиль заплакала и ушла, перегнувшись под тяжестью кувшина, который водрузила на плечо. Мормог понурил голову.

— Мэ-э, гы-ы... — Мордухай, благодушно ухмыляясь, хлопнул его по спине. — Хэ-хэ...

Добряк! Прикажи Мордухаю перерезать человеку горло, он сделает это с той же неизменной ухмылкой. И глаза его будут при этом сиять так же радостно.

...В прссторной, но странно низкой комнате, похожей на подвал, уже ярко горит светильник на медной треноге, по все равно в ней темно, так, что дальних стен не видно. Грозный Красс, как мифический пёс у входа в ад, безмолвно сидит за столом, положив на него тяжелую руку.

Дурень Макк спрятал ладони за спину, прислонился к стене возле двери.

— Пусть раб не прячет руки за спиной, — угрюмо молвил Красс. — Пусть он держит их на виду.

Опустил руки Мормог, показал:

— В них нет ничего, не бойся! Ни бича, ни меча. Ни скифского лука.

— Эксатр! — Может быть, имя раба на его языке звучало иначе. Но так оно запомнилось Крассу. И так записано в кучей. Ибо так оно легче произносилось. Подумаешь,

великое дело — как доподлинно зовут раба... — Что ты там болтаешь обо мне в харчевнях? Рабу приличествуют страх и смирение.

— И еще — угодливость, конечно, — кивнул Эксатр на домоправителя. — И вид согбенный. Если он и в душе уже раб. Быть изнанкой хозяйна! Тьфу, доносчик проклятый.

Лицо у Леона передернулось, теперь левая часть оказалась короче правой.

— Избаловал тебя Лукулл, — осуждающе покачал головой Красс. — Потому что и сам он был пройдохой Доссеном, болтуном Букконом и дурнем Макком.

— Нам с ним вдвоем было весело, — усмехнулся дурень Макк. — Я сяду? Устал. Весь день на ногах, — и опустился без разрешения на пол, обхватил колени, прикрыв левой ладонью правую, чтобы не видно было кольца.

— Мы ездили как-то с тобой на рудник. Помнишь?

Красс, как всегда, спокоен и сдержан. И голоса не повышает, слова произносит не торопясь, отчетливо выговаривая каждое.

— Как не помнить, — вздохнул Эксатр.

— Расскажи, — указал глазами Красс на притихших Леона с Мордухаем. — Им тоже полезно знать.

— Ты умный пират, Леон, — тихо сказал Эксатр. — Продолжай угождать господину! Не дай тебе бог твой Фермес попасть на рудник. Рабы там живут в сколоченных наснех бараках. Грязь, холод и вонь. Спят вповалку, вплотную друг к другу, на двухъярусных нарах или же прямо на мокром полу. Их заедают вши и клопы. У всех — рубцы от кнута, гнойные раны. На лбу у многих выжжено клеймо. Полагается спать всего пять часов. Раз в день дают мучную жидкую похлебку. Работать же их заставляют восемнадцать часов.

Знаешь клепсидру? Сосуд с узкой трубкой, через которую каплет вода. Проклятый инструмент! Греческое изобретение. Очень точно измеряет время...

Эксатр приложил к лицу ладонь: будто, вновь очутившись в шахте, закрылся от пыли, от чада веревочных фитилей, опущенных в масло.

— Глубоко под землей, — рассказал он далее глухо, — в тесных лазах, лежа на спине, они копают породу небольшими тупыми лопатками, отбивают ее молотками. Слещут глаза. Нечем дышать. Едва где затихнет стук, надзиратель, тоже раб, вползает внутрь, находит виновного, тащит на свет и полосует бичом. Никаких оправданий! Всякая жалоба считается притворством. Поверь одному — все кивнется

с кучей жалоб, ибо все измучены до крайности и работают через силу. Каждый день с рудника вывозят десять-пятнадцать трупов.

...Эксатр оторвал ладонь от глаз, взглянул на нее, всю мокрую от слез, и со вздохом вытер о волосы. Они заблестели, как от пота.

— Рабов никто не жалует! Война. Их много на рынке. Дешевый товар. За три года работы на руднике раб втрое покрывает расходы на его покупку и жалкое пропитание. Затем — умирает. А где-то дома ждут его...

— Хватит! Это уже поэзия, — скривился Красс. — Так вот, — сказал он ровным голосом, — если ты, азиатский пес, не перестанешь облаивать в харчевнях своего господина, то угодишь в тот самый рудник. Но сперва я велю высечь тебя кнутом. И выжечь на твоём слишком умном лбу: «Верни беглого Крассу». Никуда не уйдешь.

И услышал в ответ:

— Как угодно будет господину! Ты бог, я червь... — Эксатр вскинул к лицу хозяина два стальных острия серых глаз.

Знакомый взгляд!

Точно такой же...

Красс уже видел его.

У Спартака...

В последнем бою, когда, раненный в бедро, вождь поставших рабов, упав на колепо и выставив щит, яростно отбивался от нападающих. Пока не был весь изрублен...

Эксатр гордо встал, скрестил руки на груди.

Рубин, мгновенно поймав мягкий свет, исходящий от площадки, всосал его, казалось, до конца — так, что площадка даже потускнела и будто угасла: зато алый камень разгорался ярче и ярче в глазах пораженного Красса и наполнил кровавым светом весь купеческий подвал его черствого разума.

Наваждение!

Красный Красс невольно отшатнулся.

Он давно порывался отнять у Эксатра кольцо. Но всякий раз его что-то пугало. Верней — повергало в смущение. Что-то, далекое от его понимания, из мира тонких чувств и бессмысленных переживаний.

Из мира Поэзии, чуждой Крассу.

Он терял в своих мыслях главное: определенность. «По дождю, — ободрял себя Красс. — Зачем спешить? Мало ли что. Об этом кольце знает весь Рим...»

— В яму? — вызвался ретивый домоправитель.

И со знанием дела заломил Эксатру руку за спину. За другую схватился Мордухай.

— Господин, — сказал странный певольник с бледной усмешкой. — Если они оторвут мне правую руку вместе с кольцом, как я смогу описать твой великий поход? Ты, похоже, забыл, для чего купил меня у Лукулла.

— Отпустите, — приказал хозяин. — И оставьте нас вдвоем.

Ушли с жалким видом. Не удалось...

Красс задумчиво взглянул на раба. В яму? Нет. Она не поможет. Особый случай. Спартак умер, по его страшный взгляд не угас. Красс задет. Ущемлено господское достоинство. Какой-то варвар... Вешай — он будет стоять на своем.

Его можно подавить лишь превосходством ума. И презрением. Сломить духовно. Чтобы сделать послушным — и полезным. Чтобы он перестал воображать себя человеком, равноценным Крассу.

И эта победа будет не менее важной, если не более, чем победа Александра над персами в знаменитой битве при Гавгамелах...

— Все равно ты не будешь сегодня, блаженно скуля, спать в теплой своей конуре, — сообщил строго Красс. — Ступай в хранилище. Повелеваю отобрать нужное количество писчих досок и чистых свитков.

— Так-то лучше, — кивнул одобрительно раб. Хотя провести ночь в холодном книгохранилище ничуть не легче, чем в тюремной яме. — Ежели уж исходить из широты твоих замыслов, — шегольнул он чистой латынью, — то писчих досок и папирусных свитков придется взять целый обоз. Сколько событий нас ждет! Сколько битв и побед... Но, может быть, и одного свитка хватит, — брякнул он неожиданно. — Ибо ты мелочен, Красс! О чем я болтаю в харчевнях?.. Человек, добывающийся всемирной славы, должен знать, что о нем будут говорить не только доброе, но и дурное. И дурное чаще, чем доброе. Александр почему был велик? Он поставил перед собой великую цель — и все остальное, все повседневное, подчинил ее достижению. Тебя же всякая чепуха отвлекает от главного дела. Смотри, застрянешь на мелочах.

— Ступай, софист, — кивнул снисходительно Красс. Другой бы, пожалуй, хоть где-то пусть в самых тайных недрах души, был уязвлен, признав справедливость замечания. Но не такой человек Марк Липциний. — Не тебе, прыткому,

судить о моих делах. И спрячь свое проклятое кольцо! Больно смотреть.

Эксатр непонятно усмехнулся:

— Это кольцо великой богини. От него благо тому, кто верит в нее. Но другому всякому — беда.

— Блажь, — презрительно бросил Красс.

— То, что для вас, людей с холодным умом и кровью, всего лишь блажь, для нас, рожденных на жарком Востоке, сама действительность. Искандер Зулкарнейн это знал, — пропел эксатр на восточный лад Александрово имя, — и поступал соответственно. Но даже ему, как известно, сшибли его золотые рога...

Ступеньки, ведущие вниз. Тяжелая дверь с решеткой наверху. Леон осторожно, чтобы не выдать своего присутствия, заглянул сквозь нее в книгохранилище. Эксатр, с облезлой овечьей шкурой на плечах, что-то забюбурля себе под нос, при свете тусклой пленки снимает с полок чистые свитки и набивает ими круглые кожаные футляры. Целую кучу набитых футляров уже сложил, увязав, на полу.

Леон чуть не свистнул. Неужто Красс и впрямь затевает поход на Восток? Что ж, дай бог, дай бог! Ха-э, — как говорит Мордухай. Не в гости едет, а на войну. Хозяйка глупа...

Правда, у Красса есть сын. Но тоже на войне, где-то в Галлии, под орлами Юлия Цезаря. А на войне случается всякое, господа мои любезные.

И Леон, с легким факелом в руке, уже по-хозяйски смело обошел весь добротный двор, прочно врытый в землю, с его не менее прочными запорами и задвижками.

Сунул нос к привратнику — не спит ли? Не спит. Благо тебе! Будь прилежен. Не забуду. Запел под навес, постоял для порядка над ямой с решеткой, в нее чуть не угодил сегодня дурень Макк. Леон сокрушенно вздохнул. Дурень-то дурень...

Он отодвинул засов и заглянул в пристройку для прислуги. В плошке с маслом чадит фитиль. Невольник всегда, даже во сне, должен быть на виду. Пристройка убога, из жердей, обмазанных глиной, в ней сырость и холод, — жаровни для простых рабов не полагается. Они греются на работе. Один лишь домоправитель имеет право на тепло.

Укрывшись старыми овчинами, стучат зубами повар, конюх и дворник. За перегородкой, на женской половине, что-то бормочет во сне старшая кухарка. В страхе вздрагивает Сарра, беспокойно мечется Эсфирь: только легли, и

опять скоро вставать, уже для почной «работы». Стонет Рахиль. Сегодня она не годится. Зря он ударил ее. Себе же в убыток.

В передней господских покоев счастливо хранит Мордухай. Он хозяйский телохранитель.

...Когда Эсфирь и Сарра, устало вздыхая, вернулись, легла и Леон, вновь заперев пристройку и пересчитав почную выручку, довольный, завалился спать в дунной своей каморке. Рахиль неслышно поднялась, скользнула под низкие нары и выбралась сквозь узкий тайный лаз в задней стене пристройки. Лаз был искусно укрыт спаружки старыми разбитыми корчагами.

Она шмыгнула в книгохранилище.

— Холодно!

Эксатр усадил еврейку на колени, укрыл овчиной. Рахиль наклонилась к его руке, поцеловала волшебный камень в кольцо. Отчего ее обычно бескровное лицо разрумянилось, губы сделались алыми? Пригревшись, она совсем по-детски прильнула к Эксатру и затихла.

Он гладил ее и думал, жалея: «Бедный ребенок! Пусть хоть немного поспит в тепле».

Но Рахиль не хотела спать.

— Ты скоро будешь с Крассом на Востоке,— шепнула она с тоской.— Знаешь в Галилее город Назарет?

— Знаю.

— Заверши туда, если хозяин позволит, на обратном пути, найди жилье портного Якова. Любой покажет. Это мой родитель. Он продал меня богачу Едиоту. Я теперь отца не осуждаю. Вынужден был продать, чтобы спасти дом и семью. А тот сбыл меня в Рим. Расскажи обо мне моей матери. И привези от нее какой-нибудь знак: хоть горстку золы из очага.

— Нет уж, детка,— вздохнул Эксатр.— Я больше сюда не вернусь.

* * *

Утро после многих нудных и пасмурных дней выдалось вдруг на редкость ясным, сухим и солнечным, и все сочли это добрым знамением. Даже Красс, обычно холодный, невозмутимый, слегка возбужден.

Он одаривал ныне всех встречных своей знаменитой белозубой улыбкой; не было на римских улицах человека, пусть самого безвестного и незначительного, которого, отвечая ему на приветствие, он не назвал бы по имени.

Сегодня решалось многое.

И хотя еще ничего не решилось, Красс успел сменить мирную белую тогу с благородной пурпурной каймой на сагум — короткий военный плащ. Он торопил события. На Марсовом поле, в той его части, что была еще свободна от построек, на мокром лугу между Тибром и ручьем, впадающим в него, уже выстраивалось по когортам, манипулам и центуриям наспешное павербованное войско...

Голос! Глубокий и мягкий, крепкий и нежный, звякающий то воинской медью, то пршественным серебром, порой отчаянно рыдающий, порой ласкающе задушевный или безудержно веселый, раскатывающийся громом и журчащий ручьем, страстный и равнодушный, усталый и бодрый, просительный и повелевающий, то впадающий в доверительную хрипоту, то звучащий чисто, как флейта, но всегда проникновенный, можно сказать завораживающий, — ни у кого в Риме не было такого богатого всевозможными оттенками и тончайшими переходами голоса, как у Марка Лициния Красса.

И никто в Риме, пожалуй, кроме Цицерона, ненавистного Крассу, не владел столь искусно своим дивным голосом.

— Сколько здоровых и крепких мужчин, не имеющих своей земли и вынужденных прозябать в докучливой праздности, получают добрую работу! Разве не жаль вам их жеп, вечно хмурых от беспросветной нужды, и детей, разучившихся играть?..

Он убеждал Народное собрание возложить на него, Марка Лициния Красса, миссию похода на Восток. И место для речи выбрал подходящее — площадку у круглого храма Весты, покровительницы Рима, как бы выступая от ее имени. Той самой Весты, юную жрицу которой он совратил двадцать лет назад именно своим чарующим голосом.

О парфянах — ни слова. Но все знали, что Красс неудержимо стремится к войне именно с ними. Весталка Лициния была глупой девицей, которую изнуряли тайные желанья. Но сейчас на Форуме пет глупых девиц. Здесь — мужчины. И чудесами голоса их не проймешь.

Город опять накрыло огромной черной тучей. Заморосил холодный дождь. И в черном провале Форума, где одиноко алея военный сагум Красса, по толпе прокатился соответственно холодный ропот:

— Как можно?

— Идти на тех, кто ни в чем не виноват перед нами?

— И к тому же связан с Римом честным договором?

Громче всех возмущался народный трибун Атей:

— Недопустимо!..

— Заткнись, Атей! — оборвал его грубо центурион Корнелий Секст. — Ты хочешь, чтобы я умер с голоду? У меня, ты знаешь, всего один югер земли..

Они с Фортунатом уже получили хороший задаток, в их доме появились, наконец, вино и мясо, капуста, бобы, — что же, теперь вернуть все это назад?

— Ты глуп, Корнелий, — вздохнул народный трибун. — Кто повпнен в твоей нищете, как не Красс? Разве не он, и не такпе, как он, захватили всю нашу землю и превратили безземельных пахарей в солдат, — с тем, чтобы эти несчастные добывали кровью своей для них же другие, новые земли?

Корнелий хотел было что-то возразить, по тут Форум содрогнулся от негодующих воплей. Будто заполнен он был не степенными римскими гражданами, а как раз теми самыми необузданными парфянами, добраться до которых так не терпелось Крассу.

— Нарушение договора — клятвопреступление, — провозгласил Атей. — Оно сурово карается богами. Нам не пужна эта война! Она нужна, Красс, тебе. Ради пустого тщеславия и новых богатств ты можешь навлечь на римский народ неслыханные бедствия. Ты жалеешь жен и детей этих бедных людей, ставших по нужде солдатами? А что будет с ними, с детьми и женами, если их кормильцы сгинут в жарких восточных пустынях?

— А величие Рима, слава его? — загремел Марк Лициний.

— Достаточно с нас величия. Красс! Не ходи на Восток. Я прощу тебя.

— Мы все хотим мира, Атей, я — больше всех! Но Парфия угрожающе растет и крепнет. Ее надо поставить на место. — И Красс, отвернувшись, уже сделал шаг вниз по ступеням.

— Это тебя надо поставить на место. Нет, ты никуда не пойдешь. Взять его! — приказал Атей ликтору.

Народный трибун — лицо священное. Он имеет право наложить вето — запрет на действия патрициев и сенаторов, идущие во вред простому люду. Дверь его дома всегда открыта. Там может пайти защиту любой плебей.

Охранник с фасцией — связкой прутьев, быстро взошел навстречу и схватил Красса. Красс рванулся, но дюжий ликтор так сильно стиснул ему руку, что у него чуть не треснула кость.

Негодяй. Плебей. Еще вчера, не выходя из дома, Красс одним движением пальца мог уничтожить его. Но здесь, на Форуме, по старому обычаю, властвует парод. Республика все же. Еще властвует...

Глаза у Красса испуганно заметались. И во всей тысячной толпе, как ему показалось, не встретили ни одного доброжелательного взгляда. Разве что у Корнелия Секста. Но Корнелий Секст — ничто. Или, может быть, — мелькнула страшная мысль, — как-то дать ему знать, чтобы кивнул к войску на Марсово поле, всполошил его и нагрянул с легионерами на Форум?

Нет, не выйдет... Солдаты не готовы... Их набирали для войны, а не для бунта... Людей сразу охватит растерянность... А Помпей, а Цезарь? Нет, мятеж обречен на провал...

В туче, частично пролившейся дождем над Римом, образовался разрыв, сквозь него сверкнуло солнце. Красс вздохнул облегченно. Он увидел Помпея. С ясным взором и спокойным лицом шел Помпей сквозь толпу, и люди, сразу умолкнув, почтительно расступались перед ним.

Он походил внешнею на Красса, так что их можно было принять за братьев. Но, моложе Красса на несколько лет, Помпей отличался от него большей внушительностью.

— Прочь, — негромко сказал Помпей в напряженной тишине, повисшей над Форумом.

И ликтор отпустил Красса.

Да, всемогущий Помпей. Всемогущий и... лукав.

«Вовсе не нужен ему здесь такой соперник, — подумал с горечью Атей. — Цезарь в Галлии, Красс уберется в Сирию, Помпей один останется в Риме».

Атей просительно воздел руки к вновь обретшему уверенности Крассу и произнес со всей болью сердца:

— Красс, не ходи на Восток! Умоляю тебя.

Но освобожденный триумвир уже спешил с челядью вон с Форума, к войску. Опять заплескался дождь. Все промокли, им захотелось домой. Только не Крассу. Пусть хоть камни падают с неба.

Чувство унижения, которое он испытал минуту назад, сменилось в нем холодной ненавистью. К народному трибуну Атею, к ликтору, так грубо обошедшемуся с ним? К толпе на Форуме? Само собой. Но главным образом — к спасителю. К Помпею. Который у всех на глазах вновь превзошел Красса весом и влиянием. И по существу, под

видом помощи, тоже унизил его. Причем куда глубже, чем лектор.

И Красс торопился к войску, ибо только войско даст ему возможность взять верх над всеми.

Однако ему пришлось задержаться у Форума, чтобы собрать всех своих приспешников. За это время Атей, задыхаясь, добежал до городских ворот. Он поставил у ног жаровню с высоким пламенем, воскурил фимиами, совершил возлияние и зловеще забормотал, призывая каких-то неведомых древних богов.

И когда у ворот появился Красс с толпой приближенных, народный трибун загородил ему путь и вскричал с надрывом, пронзительно:

— Красс! Не ходи на Восток. Заклинаю.

— Глупый человек! Оставь меня в покое.— Красс злобно отпихнул старика, жаровня опрокинулась.

— Помни же, Красс,— гневно сказал оскорбленный Атей,— ты идешь на Восток! То есть против солнца. Каждое утро оно будет вставать тебе навстречу. А солнце в тех краях ужасное. Может выжечь глаза.

Но Красс пренебрежительно махнул рукой:

— Поэзия..

* * *

— Как стоишь, ворона?..

Резкий удар по плечу виноградной лозой, тяжелой и гибкой. Фортунат чуть не вскрикнул от боли,— он был без лат, как и все здесь пока, но страх опередил возмущение и сомкнул ему уста. Он сразу очнулся от смутного томления.

Тоскливо стоять под дождем. Ноги до икр в холодной мутной воде. Сидеть бы дома сейчас, есть горячую бобовую похлебку, приготовленную доброй матерью.

Как они плакали, мать и сестра, прощаясь с ним..

Нудно!

Он с тоской поглядывал на соседей. Юнцов, подобных Фортунату, мало среди них. Народ отборный, в возрасте между двадцатью и сорока годами. Легионеры стояли спокойно, будто их и не хлестал зимний дождь. Ноги широко и крепко расставлены, лица невозмутимо открыты ледяному потоку с неба.

Уже не раз они бывали в походах. Их ничем не удивишь. Призывно, даже несколько небрежно, будто совсем не ощущая тяжести, держали солдаты щиты и громоздкие дротики.

Пилум... На вид совершенно пелопая вещь. Короткое толстое древко и тонкий длинный наконечник из мягкого железа. Кого им напугаешь? Но это и есть, пожалуй, самое страшное римское оружие. Его коварство враги узнают на себе, когда уже поздно...

Совсем расслабившийся от скуки, уставший от долгого ожидания, переминаясь с ноги на ногу и уныло хлюпая ими в грязной воде, Фортунат чуть ли не присел на корточки, как пахарь на весеннем поле.

И не замедлило наказание.

— Как стойшь?

Центурион вновь вскинул лозу. В глазах отчужденность и ярость. Отец! Не узнал он, что ли, родного сына?

Узнал. Как не узнать! Где-то в глубине родительских глаз Фортунат заметил подобие участия.

И дошло тут до него: юность кончилась! Нет больше любимого сына. Есть солдат. И нет больше добрейшего ворчуна, отца-чудака. Есть суровый пачальник, центурион Корнелий Секст. И пощады не будет.

— Поди угадай теперь наперед: сейчас он скажет то, скажет другое...

Красс обходит войско. Места мало, подразделения сжались тесно, одно к другому. Легион. Шесть тысяч солдат. Он делится на десять когорт, по шестьсот человек. В когорте — три манипулы, в каждой манипуле — две центурии.

Над сотней солдат и получил власть старый Корнелий Секст.

Красс его взял «примпиом» — командиром первой центурии первой когорты. Никаких особых выгод звание «примпила» не приносит, разве что честь первым кидаться в бой. Все командиры центурий получают равную плату: 240 денариев в год. Зато он всегда на виду. И поскольку всякое повышение — награда, его ценят и добиваются.

У республики нет постоянного войска: солдат вербуют в случае надобности, а миует нужда — распускают. Красс набрал свой легион на скорую руку. Но это не беда. В Риме каждый взрослый мужчина — опытный вопп.

— Неужто Красс с одним легионом думает взять весь Восток? — удивленно шепнул Корнелию невольник Эксатр, сопровождавший хозяина и высших военных начальников.

— Дурень! — презрительно бросил ему Корнелий. — Это «дро. Разве мало у нас легионов стоит в сирийских городах?

— А-а...

Смотрите, как быстро меняется человек. Будто Корпелий не должен рабу Эксатру два сестерца, которые, хоть и получили задаток, не спешит вернуть.

— Запши на первой же стоянке: Римское народное собрание обязало Марка Лициния Красса покорить Великую Парфию.

— Но ведь этого не было, — удивился Эксатр. — Как раз наоборот...

Войско шло на юго-восток, через Лацциум в Кампанию, к Неаполю.

Знакомые места! Здесь, вдоль знаменитой Аппшевой дороги, Красс повесил шесть тысяч мятежных рабов-спартаковцев, захваченных в плен. Далеко впереди его ждет другая дорога славы — Великий шелковый путь. Уж если понадобится, он ее всю, от Тира до Китайской степи, оставит крестами и распнет на них столько варваров, сколько пожелает.

Легيون, четко разбившись на подразделения, растянулся на целую милю: дозор, головной отряд, основной отряд, замыкающий. Позади скрипел обоз.

Красс, дабы не утруждать в седле старые кости, ехал в середине войска в легкой повозке.

Справа шел покорный Мордухай, слева — Эксатр, непокорный.

Триумвир, как всегда, серьезен, холоден и сдержан. Зато глаза! Какой в них страстный огонь.

Дорога пошла круто вверх. Все напряглись. И натянулась с острым беззвучным скрежетом незримая цепь, что связала господина с невольником.

— Ты... поэт, — проворчал триумвир недовольно. По правде говоря, его уже начинала раздражать духовная борьба между ними, которую он сам же затеял. — Ты должен делать, что прикажут.

— Поэт не соучастник, — сухо сказал Эксатр. — Он свидетель. Как получили бы мы представление о прошлых веках, если б от них не осталось беспристрастных, точных описаний? Лишь по одним славословиям и фактам, искривленным в угоду тому или иному важному лицу, не восстановишь историю, у которой мы учимся. Чтобы более или менее убедительно изобразить твой небывалый поход, я должен хоть примерно знать его причину.

— Восток — наш извечный враг, — убежденно изрек Марк Лициний Красс.

— С чего бы это? Что-то я не слыхал до сих пор, чтобы

скифы, армяне или другой восточный народ вторглись в Лациум и шумели под стенами Рима.

— А слышал ты о греко-персидских войнах? Кир, Дарий и Ксеркс. Битва при Фермопилах...

— Как не слышать.— Повозка натужно скрипела, поднимаясь к перевалу. Рожицы пиний, точно девицы, сбежавшись и вскинув руки-ветки, удивленно взирали сверху, с откоса горы, на угрюмое шествие в долине.— Но вовсе не персы затеяли их! Все началось с ионийцев, милетских греков. А Милет, ты знаешь, город азиатский, он — на восточном берегу Эгейского моря. Из-за чего-то они не поладили с Киром. Из-за чего, кто виноват — это другой вопрос. Важно, что те пелалы были их внутренним делом. Вот тут-то в их споры и вмешалась гордая Спарта. А как же! Ведь это — Спарта... Она пригрозила Кирю: не трогай ионийцев, иначе тебе будет худо. Вздорный народ. Кир, обозленный их наглостью, ответил: если он проживет достаточно долго, то спарташцам придется говорить не о несчастьях ионийцев, а о своих собственных. И пришлось! Правда, несколько позже...

Повозка перевалила через крутизну и покатила вниз. Красс неприязненно косился на Эксатра, которому пришлось прибавить шагу, пспешая за ним. Сволочь! Умен. Не так-то легко его свалить. Погоди же, сейчас я сокрушу тебя одним ударом.

И он сказал на дне глубокой ложины, куда они спустились:

— Вот об Аристотеле ты, уж конечно, не слышал.

Они опять двинулись в гору.

— Я его читал,— кратко ответил Эксатр.

— Где?

Повозка закрепилась на глубокой выбоине, Красс чуть не выпал из нее.

— Я учился в Бактрах, в греческой школе.

— А! — Красс крепче ухватился за поручни сидения.— Это там ты нахватался знаний?

— Мы и раньше знали кое-что. Или ты думаешь, мы у себя на Востоке до греков бегали без штанов, со шкурой на плечах, дубиной помахивая, жутко покрикивая?

— Все равно! Варвар — по своей природе раб, и быть рабом для него полезно и справедливо. Что говорит Аристотель?— И Красс произнес наизусть:— «В целях взаимного самосохранения необходимо объединяться попарно существу, в силу своей природы властвующему, и существу, в силу своей природы подвластному. Первое, благодаря сво-

им умственным свойствам, способно к предвидению, и потому оно, уже по природе своей, существо господствующее; второе, так как оно способно лишь своими физическими силами исполнять полученные указания, по природе своей существо подвластное. В этом отношении и господином и рабом, в их взаимном объединении, руководит общность интересов».

Он вспомнил это почти слово в слово. Ибо выучил с детства. И понимал с детства мир соответственно.

— Хе! Хитро. И все тут? — усмехнулся Эксатр. Новый подъем оказался круче прежнего, повозку бросало из стороны в сторону. Она тарахтела и скрежетала, вот-вот развалится. — Но те, на Востоке... они вовсе не считают себя варварами! Своим умом, своими руками, без чьих-либо указаний, соорудили в пустынях каналы, перед которыми Тибр — всего лишь ручей, и возвели города, перед которыми ваш хваленый Рим — захудалое селение. У них свой язык, свой уклад жизни. Свои законы. Своя письменность, музыка и живопись. У них есть память. У них было прошлое, есть настоящее...

— Но будущего не будет! — отрезал Красс. Повозка поднялась на гребень горы, но за нею не оказалось спуска: они уперлись в огромную красную скалу в черных трещинах, и дорога у ее подножия уходила влево. — Нет будущего без нас! — Он обвел рукой свое войско. — Философ Панеций сказал: Рим, как мировое государство, осуществляет целенаправленность мирового разума.

— Ох-хо-хо! — вздохнул Эксатр. Дорога, обогнув скалу, свернула направо. — Сколько возвышенных слов! Бедный Восток. Как тут не вспомнить Эзопова ягненка, который виноват лишь потому, что волку хочется есть... — Закатное небо за горной грядой, над Тирренским морем, было черно-багровым, как сажа, разведенная кровью. На востоке оно, глупое и жуткое, выглядит аспидно-непроницаемым. Эксатр улыбнулся. — Но ягненок-то вырос!

— В барана, — сказал Красс язвительно.

— В боевого барана, — невозмутимо уточнил Эксатр. — Рога у него теперь — не приведи господь попасть под их удар...

— Приглядывай за ним, — шепнул триумвир рабу Мордухаю.

Эксатр приуныл.

«Гадина, — выругал он мысленно Панеция. Вернее, Панекиса. Или как его там. Грек с Родоса, он сделался в Риме Панецием. — Римляне надругались над его прекрасной роди-

ной. А он в своих паскудных сочинениях славит их, приводит гнусные доводы в обоснование их всемирного разбоя».

Он больше не смотрел по сторонам — только себе под ноги.

— Мэ-э? — удивленно спросил Мордухай, зайдя сбоку.

— Знаешь, — вздохнул Эксатр. — Нет в мире девушек лучше евреек.

— Гы-ы...

— Эх, ты... Мордухай несчастный.

— Хэ-хэ...

...На кухне — случайно или нарочно? — отрубив четыре пальца на левой руке, юной волчицей выла Рахиль.



ВТОРАЯ ЧАСТЬ

ПИР ПЕРЕД СМЕРТЬЮ

*Доблести, сын мой, учись у меня
и трудам неустанным,
Счастью, — увы! — у других...*

Вергилий. Энеида

Никогда раньше, дома, не упивался Фортунат так сильно, как на сей раз в харчевне у молодой Эдоне. Отчужденность отца, который не выделял его среди других солдат, обижала его до черпоты в глазах. Раз уж нас уравнили со всеми, будем как все! И по примеру бывалых легионеров он хлестал вино, не разбавляя водой.

Голова не выдержала. Фортунат сам не знал, как попал на корабль. Очнулся внизу, под палубой, когда начало швырять и колотить о стенки и ребра судна. Боль. Тошнота. Это и есть веселая солдатская жизнь? Будьте вы прокляты...

Зимние бури разметали флот. Много кораблей затонуло. Собрав уцелевшую часть войска, Марк Лициний Красс спешно двинулся сушей, через Галатию, подвластную Риму.

Престарелый царь Дейотар взводил в ту пору новый город.

— В двенадцатом часу начинаешь ты строить, — в шутку заметил Красс.

То есть, в последнем часу дня. Римляне делили сутки на день, начипавшийся в шесть утра, и ночь, наступавшую в шесть вечера.

— И ты, воптель, — ответил со смехом галат, — в урочный ли час затеял поход на парфян? Я умру, а город будет стоять, — добавил дряхлый царь загадочно...

Красс уловил, на что намекает царь Дейотар. Но, как всегда, отмахнулся от предупреждения. Это все — поэзия...

— Мы как будто в Грецию попали, — удивленно сказал легат Октавий, когда войско, наведя мост, спокойно переправилось через Евфрат на парфянскую сторону и навстречу ему вышли послы от здешних городов: солидные люди в конических войлочных, а то и барашковых шапочках, но в греческих хитонах и сандалиях. И говорили они все на певуче-трескучем греческом языке.

— И я недоумеваю, — пожал плечами военный трибун Петроний. — Где же парфяне?

— Куда ни плюнь на земле, угодись в еврея или грека, — скривил презрительно губы квестор — казначей и советник Гай Кассий.

Красс обратил вопрошающий взгляд к Эксатру.

— Тут до самой Согдианы их поселения, — пояснил всезнающий Эксатр. — Со времен Александра. Деревня говорит на местных наречиях. Язык городов повсюду греческий. Так что, — сказал он не без ехидства, — не только славный Рим испытывает на себе их благотворное влияние. А парфян ты еще увидишь, Петроний.

— Скоро здесь всюду будет звучать латинская речь, — произнес многозначительно Красс.

— Посмотрим. — «Будь ты проклят, умник, со своей ядовитой усмешкой!» — мысленно выругался он. — Мы на Востоке никогда не говорим самоуверенно: я сделаю то, я сделаю это. Обязательно добавляем: если позволят боги...

Чтобы отвести белу, города и селения вдоль военно-торговых дорог Северного Дуречья поднесли Крассу в чашах на золотых подносах землю и воду. Они жили особняком, хорошо налаженной, устойчивой жизнью. Все равно, кому подать платить — царю парфянскому или Риму. Римляне даже лучше. Все же свои. Народ из Европы.

Сквозь алебастровую решетку дует ровный ветер, он шелестит на столе тончайшим папирусным свитком. Старый правитель — стратег Аполлоний придержал бурую ленту смуглой рукой и вновь, уже который раз, чтобы глубже осмыслить, перечитал стихи из «Трудов и дней». Страшные, надо сказать, стихи:

Землю теперь населяют
железные люди. Не будет
Им передышки ни ночью, ни днем
от труда, и от горя,
И от несчастий. Заботы тяжелые
боги дадут им...

Гесиод писал это семь столетий назад. Что же сбылось из мрачных его предсказаний?

Зевс поколение людей
говорящих погубит, и это
После того, как на свет
они станут рождаться седыми.
Дети — с отцами, с детьми — их отцы
сговориться не смогут.
Чуждыми станут приятель приятелю,
гостю — хозяину.
Больше не будет меж братьев
любви, как бывало когда-то;
Старых родителей скоро
совсем почитать перестанут,
Будут их яро и зло
поносить нечестивые дети
Тяжкою бранью, не зная
возмездья богов; не захочет
Больше никто доставлять
пропитанье родителям старым...

Стратег вздохнул, покачал кудлатой седой головой.

И не возбудит ни в ком
уваженья и клятвохранитель
Ни справедливый, ни добрый.
Скорей пагледу и злодею
Станет почет воздаваться.
Где сила, там будет и право.
Стыд пропадет.
Человоку хорошему люди худые

Грязными станут вредить
показавьями, ложно клявьяся.
Следом за каждым из смертных
пойдет неотвязно
Зависть злорадная в злоязычная,
с ликом ужасным.
Скорбно с широкодорожной земли
на Олимп многоглавый,
Крепко плащом белоснежным
закутав прекрасное тело,
К вечным богам вознесутся тогда,
отлетевши от смертных,
Совесь и Стыд. Лишь одни
жесточайшие, тяжкие беды
Людям останутся в жпзнп.
От зла избавленья не будет...

Стратег с досадой свернул бурый свиток с поперечными узкими столбцами четких черных письмен, сунул в кожаный футляр.

Как бы желая удостовериться, что мир еще не погиб, Аполловий сдержанно встал, неторопливо отступил к стене с теплой, в красных и желтых тонах, тонкой росписью, окинул встревоженным взглядом обширную террасу.

Солнце сейчас в зените, его лучи не достают сюда. На террасе — ровный спокойный свет. И ровным спокойным блеском, без ярких бликов и слепящих отражений, отливают лакированный легкий столик, стул с изогнутой спинкой, бронзовый стройный тренажник под глиняной чашей светильника, черный высокий кувшин с красными изображениями танцующих пастушек.

Все свое. Родное, эллинское. Радостное и светлое. Лишь тростниковая циновка на полу да белая решетка вдоль террасы — изделия местные. Ровный спокойный свет проник стратегу в глаза — и успокоил их.

Он подошел к узорной решетке. Изнутри она кажется голубой. Воздух легко течет сквозь нее — и через открытые двери внутренних помещений продувает весь дом. И в нем прохладно даже в вышедший, на улице — нестерпимый, месопотамский зной.

Все на месте. По ту сторону прямоугольной агоры — рыночной площади, на пологом холме, между ослепительно белыми колоннами храма Артемиды, четырьмя четкими прямоугольниками темнеют синие-черные тени, как четыре окна в спящем доме.

Спит внутри храма, в наосе, медная Артемида. Спит город. Даже у водоразборного портика, где обычно судачат, встретившись, женщины, сейчас нет никого. Лишь перед домом Аполлония, спиной к нему, стоит, как всегда, с копьем на страже, каменный Зенодот, высокий и белый.

Эгейское море! Эгейское... Как ты далеко...

270 лет назад, частью морем, на судах Нсарха, частью сушей, по каменистой раскаленной пустыне, оставляя за собой кровавый след, над которым тучей метались стервятники, огромной расхлестанной толпой злых, измученных, одичавших людей вернулось из восточного похода в Месопотамию греко-македонское войско.

Александр сказал: «Забудьте о своих лачугах на старой родине! Огните ваш город — весь мир, акрополь — военный лагерь, родные — все достойные люди на свете, чужестранцы — все люди дурные».

И устроил в Сузах небывалый свадебный праздник, женив 10 000 македонских воинов на местных девушках.

Он щедро одарил новобрачных.

Зенодот, пачальник «шлы» — малого подразделения тяжелой копницы, получил в жепы юную пленную согдийку и в придачу — вот это владение.

Здесь жили когда-то сирийцы: два десятка убогих копических хижинок на холме, где теперь — храм Артемиды. С сотней таких же, как он, больных и раненых греков и македонцев, уже непригодных к воинской службе, Зенодот, взяв рабов, построил на новом месте по строгому плану небольшой ладный город, куда затем переселились их родичи из Эллады.

Со временем все перемешались — македонцы, греки, сирийцы, халдеи. Язык ныне один, общегреческий «койнэ». Но Аполлоний знает: по предку он македонец. А также — согдиец. Город, по имени основателя, получил название Зенодотия..

...И стоит теперь Зенодот, высокий и белый, с копьем на страже, у дома своего потомка Аполлония. И его, как воина в дозоре, тоже будто клонит ко сну: слегка повернув и опустив голову в гребчатом шлеме, он смотрит нетерпеливо на короткую тень у себя под ногами и томительно ждет, когда она начнет вытягиваться синей полосой через площадку.

Когда солнце свалится за Евфрат и вечерний ветер принесет с высоких гор прохладу, на площадь вынесут столы, и зазвонят за ними задравные чаши. Уже заготовлены факелы, эмблемы Гименея, — они будут пылать до утра...

Стратег обернулся, взглянул на футляр со свитком на столе. Злой ты старик, Господ. Он усмехнулся. Каждое по-

коленне довольно собой, но недовольно своим временем. «Раньше было лучше!» И пророчит скорую гибель человечеству.

А жизнь идет. Все больше людей усваивает такие понятия, как честь, благородство, гражданская совесть и справедливость. По крайней мере есть кому читать Геснода. Соглашаться с ним, возражать ему.

— Отец! — Дочь Дика, в короткой, выше колен, тунике, взбежав на террасу неуловимо легким шагом, бросилась к стратегу и умоляюще прикоснулась кончиками тонких пальцев к его седой бороде. В глазах слезы, губы дрожат. — Кумпар, — кивнула через плечо, — кумпар Аристоник...

Кумпар — это свадебный опекун. Его выбирает жених среди холостых друзей, — при брачном обряде кумпар стоит позади молодых и считается после них на празднике первым лицом.

За спиной Аристоника, в дверном проеме, уныло маячит жених Ксенофонт. Атлет. Красавец Адонис.

— Я говорю, — произнес Аристоник почтительно, — не отложить ли свадьбу? Ромеи идут. Конный гонец с заставы донес: к вечеру будут здесь.

Стратег тяжело сгорбился, нерешительно подступил к столику, зачем-то вынул свиток из футляра.

Зенодотия — единственный из всех городов по эту сторону границы — не выслал никого навстречу Крассу с «землей и водой».

— Много их?

— Центурия. Сто человек.

— Передовой отряд...

Аполлоний взглянул Дике в глаза. В них, огромных и синих, застыл беззвучный дикий вопль.

— Будет свадьба! — Стратег гневно сунул свиток обратно, кипул на полку в неглубокой пише. — Что может добро противопоставить злу, как не любовь, веселую музыку, радость?

* * *

Они укрылись в пустой башне на западной стороне городской стены.

Где еще могут встречаться влюбленные днем в небольшом и тесном городке?

Внутри, на верхнем ярусе, находилось низкое деревянное

ложе, покрытое войлочной полстью,— здесь, сменяясь, отдыхали воины ночной охраны.

Бегун, прыгун, кулачный боец, атлет, метавший диск и копье дальше всех, Ксенофонт, оказавшись наедине с Дикой, оробел, как десятилетний мальчишка.

Он безнадежно припал к бойнице и высматривал что-то в окрестных садах и полях.

Дика — та смелее. Девушки, при всей их внешней застенчивости, внутренне всегда смелее юношей. И знают больше их. Дика взяла Ксенофонта за руку и потянула на ложе.

Он, жалко улыбаясь, опустил ся рядом с нею. Дика живо пересела к нему на колено, припала к широкой выпуклой груди, обхватила смуглыми голыми руками его толстую потную шею, нашла жадным ртом его влажный рот.

Их волосы здесь, в полутьме, казались одного цвета, хотя на свету у Дики они темнее, они смолисто-черные, тогда как у Ксенофонта на волнах кудрей каштановый легкий отлив.

Они замерли так, одурелые от близости, блаженно упиваясь ощущением друг друга.

— А помнишь?..

Нет слаще воспоминаний, чем о первых днях. И как они встретились. И как посмотрели. И что почувствовали при этом...

Это было в прошлом году. Зенодотия готовилась к уборке винограда. Чинили корзины, новые плечи, точили кривые ножи, которыми срезают гроздья. Очищали кувшины и чаны. Волокли давяльные камни. Рубили цвовый хворост, с тем чтобы ночью при свете огней унести молодое вино.

...Ксенофонт, сильный и гибкий, таскал тяжелые корзины с урожаем и сваливал гроздья в углубления давяльных камней. Из них выжимали темный сок, который весело стекал в сосуды.

Дика вместе с подругами готовила фасоль, приправленную лимпом, оливковым маслом, чесноком и петрушкой, разбавляла для питья холодной водой прошлогоднее вино, обрезала кисти, что росли пониже, и она могла их дестать.

На свежем воздухе, где раздаются веселые крики, где все равны и никого не стесняют стены, кровь пьянеет, мужчин и женщины охватывает шаловливый дух.

Смех звучит волнующе, вкрадчиво. В шутках скользят намеки. Сам таинственный сумрак под кустами, укромные прогалиты под непроглядной завесой густо переплетенных

лоз, кое-где затянутых мирной паутиной, возбуждают воображение. У всех кружилась голова.

Девушки и даже семейные женщины жадно лънули к атлету Ксенофону, готовые на все в сумасшедший этот день. Мужчины пробегали перед Дикой, как сатпры перед вакханкой.

...Здесь, под черной тяжелой кистью вишневых ягод, и соприкоснулись случайно их руки. Соприкоснулись — и невольно сомкнулись, оставаясь одна в другой несколько божественных мгновений.

Он прочитал ей стихи Сафо:

Венком охвати,
Дика моя,
Волны кудрей прекрасных...

— Бог Эрот, — рассказывал почью старый Филет у костра, — юн, прекрасен, крылат. Потому-то он юности рад, гонится за красотой и окрыляет души страстью. Такова его мощь, что даже сам Зевс не может его одолеть. Он царит над стихиями, царит над светилами, царит над всеми другими богами. Розы цветут — это дело Эрота, ветер листов шелестит, реки в море текут, стремясь скорее с ним слиться, — это дело Эрота. Нет от Эрота спасения! Любовь не заешь, — не зашьешь, заклинаниями не убьешь...

Судьба детей, конечно, зависит от родителей. Аполлоний, хоть и вел свое происхождение из «гетайров» — друзей царя, не стал чиниться и даже сам поторопил их с обручением. Отец Ксенофонта содержит большую гончарную мастерскую. Имеет рабов, обеспечен всем необходимым. Добр и честен. Его уважают в городе. Что из того, что ремесленник? Новые времена — новые люди. Крупных богачей здесь нет. Разве сам стратег не человек среднего достатка?

...Дика ждала. Она задыхалась. До сих пор их удерживал стыд. Точнее — страх нарушить обычай. Но теперь, когда до заветной ночи осталось всего несколько часов, жаркое нетерпение растопило их природную робость.

Что им мешает?..

Сейчас ее позовут. Подруги, обряжая невесту, станут петь красивые грустные песни, завезенные из далекой Эллады. Она должна будет плакать, чтобы показать, как ей не хочется расставаться с родными.

Хотя ей ничего так не хочется, как поскорее расстаться с ними и наконец оказаться наедине с Ксенофоном на правах законной жены...

Ткань на платье — тонкую, белую, дочь стратега соткала сама. С пятнадцати лет гречанка садится за станок и называется «фантиной» — ткачихой. Это значит, что она уже известа и готовит себе приданое.

К вечеру у входа в их высокий дом заляются флейты. Выхлугнут факелы. Придет жених. Ксенофонта и Дику поведут, торжествуя, к храму Артемиды.

Здесь, на площадке перед храмом, у каменного алтаря для жертвоприношений, стратег, как высшее должностное лицо, взяв у кумпара факел, передаст его дочери.

И она с благоговением подожжет костер с зарезанной белой козой на дровах, — чтобы снискать расположение девы-богини. Непременно с белой козой. Олимпийским светлым богам приносят в жертву животных лишь этой чистой и радостной масти. Черных даруют подземным.

Затем по каменным крутым ступеням они сойдут с холма на агору, встанут на колени перед Зенодотом и окропят вином его пьедестал.

Под звуки флейт и арф начнется пир. Он будет длиться до утра. И еще шесть ночей. В круговом общем танце, в котором участвуют и новобрачные, их щедро осыплют зерном и монетами, лимонными и миртовыми листьями...

Дика стиснула зубы. Зачем столько звопа, свиста и треска, и посторонних людей, если то, что произойдет между нею и Ксенофонтом, касается только их, это лишь их свободное дело? Своевольна дочь стратега.

Она взяла большую руку жениха и положила себе на грудь. Он дышал над нею прерывисто, тяжело и шумно, как на атлетических состязаниях.

...И — ничего более. Так и сидели они, боясь шевельнуться, то ли век, то ли час. Ничто на свете им не мешало! Кроме совести. Без благословения Артемиды? Нет, Нельзя.

Укрытие их ярко озарилось. Это солнце перевалило на закат и заглянуло сюда сквозь бойницы. Но юноше и девушке казалось: у них внутри оно вошло и разгорелось.

— Дика, Дика! — испуганно звал под башней осторожный девичий голос.

Подруга.

Они не шелохнулись. Не могли. Им хорошо вот так быть вместе...

И вдруг, заглушив сочувственный дружеский голос, который боится звучать чуть погромче, чтобы не выдать их, где-то тоже внизу, но с другой стороны, раздался грозный, густой и гнусавый рев.

Рев будины — военной трубы.

И юный эллип, воспитанный в строгих правилах: долг — превыше всего, отстрашил невесту и кинулся к бойнице.

Дика вскрикнула от смертельной обиды, вскочила, бросилась к спуску. Гневно обернулась — и уже с ненавистью взглянула на его дурацкие мощные плечи, перекошенные в искательном наклоне. Разня! Губы у нее кривились. Дрожали длинные крепкие ноги, оплетенные ремешками сандалей.

Он тяжело отвалился от бойницы, пашел ее мокрые от слез глаза огромными глазами, ослепшими от предвечернего света.

И тихо сказал:

— Ромей.

* * *

— Какие такие сокровища, за которыми мы ползем вот уже девятый месяц, могут существовать в этой проклятой пустыне?

Фортунат с тоской оглядел серый голый холм с давно усохшей редкой травой, черный куст на склоне и темный изгиб пыльной дороги, уходящей куда-то.

По этой темно-бурой дороге предстояло ему с отцом и товарищами идти сейчас в какую-то Зенодотию, почему-то не изъявившую покорности Крассу.

— Живут ли вообще здесь люди? — Позади, за рвами и палисадами, шумел палаточный город: римский военный лагерь, единственное человеческое поселение на десятки миль вокруг. — И если живут, то как они могут здесь жить?

Он вновь поглядел на черный, будто обугленный куст. Куст не черный, конечно, — вблизи он темно-зеленый, с шершавой и жесткой листвой, но стоит к нему теневой стороной, да и утреннее солнце слепит глаза.

— Да, — вздохнул Эксатр. — Это тебе не Лациум с ключами и ручьями, с ухоженными полями и тенистыми рощами. Но человек может жить везде. А сокровища — они впереди. Солдаты, спешите за добычей и славой! — со смехом бросил он вслед уходящему отряду известный клич римских военачальников перед атакой.

Вот так. На первом месте — добыча, слава — на втором.

...Ноги до икр утопали в тяжелой, плотно слежавшейся за ночь пыли. Страшный цвет у нее — красновато-бурый. Взрытая их шагами, она, как дым, легко взметалась вверх и

забивала глаза, ноздри и глотки, оседала на потных лбах серой грязью.

Сплюнешь густую слюну — она слетает с губ темным ошметком и комком сворачивается на дороге, вобрав увлажненную пыль.

Особенно худо приходилось от пыли тем, кто шел в строю позади. Они, широко разинув рты, выбирались на твердую обочину, но строгий взгляд центурнона через плечо быстро их загопал обратно в колонну.

Это человек железный.

Идет ровным шагом во главе колонны с проводником-сирийцем, взявшимся за десять драхм показать дорогу в Зенодотию; ему, конечно, с его-то годами и большой погой, трудно держаться молодцом и шагать в такую даль.

А он смеется:

— Мягко ступать...

Шли налегке, в туниках и сандалиях, сложив доспехи в три повозки позади. Лишь мечи остались при них. Короткие и широкие, тяжелые мечи в ножнах на правом боку.

Навстречу, поднимаясь все выше, свирепо разгоралось месопотамское солнце. Глаза, — их и без того разъели пот и пыль, — вовсе слепли от его издевательски ярких, нестерпимо горячих лучей.

Фортунату уже напекло голову. Губы растрескались, из них сочилась кровь. Он почувствовал дурноту. Хотелось оттащить строй и лечь где-нибудь.

Но страх перед отцом-центурноном держал его на ногах и заставлял кое-как их передвигать. Разнесет! «Такой-сякой, матушкин сын». И перетянет поперек спины виноградной лозой.

Ох! Взойти бы на вершину бугра, растянуться на голой земле. Там, наверху, наверное, дует легкий ветер. Не то что в этой глухой ложине, по которой вьется дорога: воздух тут раскален, как в обжигальной гончарной печи. Да и нет его, воздуха. Горячий эфир.

Он взглянул на бугор — и вскрикнул. На верхушке бугра виднелся всадник. неподвижный, точно каменный. Будто кто-то поставил здесь памятник своему степному герою. Лишь хвост коня колыхнется легко и плавно, — значит, и впрямь наверху дует ровный ветер.

— Что такое? — обернулся центурнон.

— Там... конник, — показал Фортунат.

Но конника там уже не было.

— Примерещилось, видно, тебе от жары, — проворчал

центурион, внимательно приглядевшись к сыну. Но все же приказал колонне:— Эй, подтянись! Не зевай.

Миль через десять-двенадцать Корнелий Секст остановил колонну в тени огромной скалы. Местность становилась все холмистее, из-под плотно слежавшейся каптановой глины выступали все чаще и круче серые глыбы.

Тень лишь условно можно тенью назвать. Всюду жар. Зато хоть солнце не бьет безжалостно в очи. Обливаясь потом, в мокрых грязных туниках, солдаты неохотно жевали сухой сыр с черствым хлебом.

Проводник с безучастным видом стоял в стороне. Ему никто не предложил еды и воды.

— Ополосните рты. Пить не больше пяти глотков.

Центурион знает, что говорит. Даже от такого безобидного питья, как вода с небольшой примесью вина, у всех зашумело в голове.

Фортунат ополоснул рот, выплюнул теплую воду и вылил из медной фляги все остальное себе на горячее темя. Чуть полегчало. Центурион ничего не сказал ему.

Двинулись.

— Скоро?

Сирпец молча кивнул. Не поймешь восточного человека: что у него на уме, друг он тебе или враг. Чего ждать от него сей миг и в следующий. Сам вызвался за десять драхм проводить их в Зенодотию, но вид такой, будто силой заставили. Хмур, скуп на слова.

Из-под складок пестрого платка, закрепленного на голове шерстяным жгутом, загадочно сверкают в тени большие глаза. Лишь крючковатый нос да курчавую бороду можно как следует разглядеть.

Просторнейший белый хитон до пят, с широкими рукавами, не стесняет движений, не перегревает тело, плотно прилегая к нему,— и идет себе варвар спокойно, опираясь на длинный посох, легким шагом человека, привыкшего к дальним пешим переходам.

Он все видит, все знает. Хорошо ему в своей стране...

Хорошо ли? Вот уже десять лет, как она стала римской провинцией. И поди догадайся, как он относится к этому. Непонятный человек. И потому — опасный.

Не по себе центуриону. Нет, он не трус,— об этом и речи не может быть. Но плох центурион, который хоть на миг теряет рассудительность и очертя голову прет туда, где опасно. Острый взгляд Корнелия осторожно скользит с проводника на дорогу, с дороги — на окрестные холмы.

Будто Корнелий вот сейчас ждет нападения.

И оно последовало. Налетев неведомо откуда, на колодну набросилась черная туча слепней. И почему эта нечисть непременно лезет в глаза, поздри, рот? Влагу ищет, что ли? Бог весть.

— Лошадь здесь проходила, — угрюмо сказал преседник. — Всадник уехал, слепни остались...

Посмотрим.

Спустя минуту, увидев что-то впереди на дороге, центурион вскинул руку. Остановились.

Из устья сухой лощины, спускавшейся сверху к дороге, выходил отчетливый с краю, на обочине, и тянулся далее, прочь от колонны, бороздой в глубокой пыли, след конских копыт...

И разом холмы будто сдвинулись ближе, тая за собой угроз!

Значит, не примерещился Фортунату всадник на вершине бура.

Центурион озабоченно взглянул на колонну.

— Перестройтесь. Быстро! Пятеро — вперед, за ними пойду я. Тридцать за мной, за ними повозка. Еще тридцать — повозка. И еще — и повозка. Остальным пятерым идти позади. Держаться плотно! Пусть попробует кто отстать...

Солдаты, злобно отмахиваясь от назойливых сленней, живо разделили обоз, чтобы доспехи были под рукой, и разделились сами, как приказал начальник. Опасность! Они подтянулись, вскинули лбы, расправили плечи.

— Вперед!

Тут, к счастью, доведя всех почти до бешенства, туча сленней исчезла так же внезапно, как и появилась.

— Вода близко. — Проводник сглотнул слюну.

Солдаты переглянулись. Солнце зашло им за спину и жгло уже затылки; оно высвободило над дорогой голубой простор, — и, одолев последний перевал и вспугнув на пем стайку серых хохлатых пичуг, центурия вдруг оказалась над уютной серо-зеленой долиной, которая вся, до последнего кустика, тропки, оросительной канавы, четко и ясно открылась перед ними.

— Река!

Она струилась под холмами, веселая, чистая, то скрываясь за темными рощами, то выбегая на широкое галечное ложе.

У каждой реки — свой облик и климат, нрав, цвет и вкус воды. Каждая как бы течет под своим особым знаком. Эта текла под знаком мира и нежной дружбы.

Солдаты без всякой команды, забыв о начальнике, уже не строгим военным строем, а бестолковой толпой, с криками ринулись вниз по взвистовому спуску.

Проводник усмехнулся.

— Засада! — рявкнул сверху находчивый центурион.

Остановились. Обернулись. Испуганно уставились на Корнелия Секста.

— Там, внизу, в этих приветливых кустиках, — сказал Корнелий ядовито-благодарно, — может статься, укрылась засада. И вас, не дай господь, как цыплят перережут, дети мои. И придется мне, старпку, одному брать Зенодотию. К оружию, негодяи! — Он вскинул виноградную лозу.

Солдаты, устыдившись, кинулись к повозкам, расхватывали щиты и копья.

— Это? — показал рукой центурион, обернувшись к проводнику.

За неширокой долиной, настолько светлой и радостной, что даже Корнелию она показалась родной: с мягкой желтизной убранных хлебных полей и приглушенной зеленью осенних пустых виноградников, с тихими деревьями, которые, то, сойдясь, склонялись друг к другу, будто о чем-то мирно советуясь, то разбежались меж полей и задумчиво стояли в одиночестве, с прудами, зеркально отражающими небо, — по ту ее сторону, где опять громоздилась возвышенность, золотились под солнцем ровные стены и башни.

— Зенодотия, — кивнул проводник.

— Тут, Фортунат, за мной! — позвал центурион. — Разведаем, что внизу.

Черная тень под огромными псами впускает страх. Что-то там равномерно и тяжело скрипит, и слышен такой же равномерный, крадчивый плеск.

Прикрывшись большими щитами и стиснув толстые древки пилумов, трое римлян, озвываясь, спустились в жуткую рощу. В ней темно и прохладно. Даже трава не растет в этой тьме. И прохлада отдает холодом смерти...

— Тьфу! — обозлился центурион. И вздохнул с облегчением. Никого.

На той стороне, выше по течению, в узком месте, меж двух замшелых каменных столбов, под напором воды грузно крутится «ворня».

Вода с шумом падает из больших корчаг в каменный желоб.

Исполинское колесо покрыто плесенью, два-три объемистых кувшина у него на ободке разбиты. Зато остальные ис-

правны, и каждый черпает за один раз столько влаги, сколько хватило бы римской семье среднего достатка на целый день. Хорошо придумано! Вода сама себя поднимает на высоту и переливается в канал...

— Земля...— Корнелий вынул меч, опустился на корточки, взрыхлил острием, взял горсть каштановой почвы.— Нам бы... пять югеров этой доброй земли.— Ополоснул руку, поднялся, взглянул через долину на золотые стены Зенотони. И сказал с тоской:— У Суллы был центурион по имени Лусций. Он нажил на войне миллионное состояние. Повезло человеку!

У Тита при этих его словах помутилось в глазах. Он даже слову сглотнул от волнения.

— Давай, Тит.

Трубач — приземистый, плотный, чернявый, как многие в Риме — загудел в большую медную буцину, висевшую у него на груди.

— Выставить охрану! Обсохнуть, остыть. Искупаться. Лошадей распрячь, малость выдержать — и напоить, искупать, покормить. Туники постирать, бляхи вычистить до блеска! Чтобы у этих, в городе, резь от них приключилась в глазах...

Фортунат, не дожидаясь распоряжений, уже шлепнулся в речку. Прямо в тунике и сандалиях. Его повесло быстрым течением. Фортунат ухватился за ветку, полоскавшуюся в стремительной воде, и погрузил большую голову в поток. О блаженство! К черту землю! Человеку прежде всего пужна вода. Холодная, чистая.

Он держал голову под водой до тех пор, пока в легких хватало воздуха, и волосы его метались в струях, точно водоросли.

Вода уносила из перегретой головы и тела жар, как прохладный ветер — тепло из жаровни. О счастье! Он вновь и вновь совал голову в студеную влагу и лежал бы на галечном дне до заката, если б не грозный родитель.

— Вылезай! Простынешь. На что мне больной солдат?

Развесив туники сушиться на ветвях, солдаты достали припасы. Ели, как и давеча, сухой сыр с черствым хлебом. Но теперь еще и холодное мясо, и лук.

Фортунату есть не хотелось. Ему, конечно, стало гораздо лучше после купания, а то вовсе умирал, — но в теле еще слабость, голова нет-нет да закружится.

Он разыскал глазами проводника. Сириец не купался. Ополоснул лицо, руки и ноги и теперь сидел поодаль в своем немислимом хитоне. Бессловесный, угрюмый. Пла-

ток оп, правда, сиял, и Фортунат увидел, как гордо сидит у него голова на плечах, какое у него благородное лицо. Чеканное, медное, как у греческих статуй. И если бы не глаза, больше и черные, можно было подумать, что перед ними и впрямь изваяние.

Но это не изваяние. Это человек. А человеку надо есть. Припасов же нет у него никаких,— видно, по бедности. Ни узла, ни котомки. И сидел он бесстрастно поодаль и терпеливо ждал, когда ромен насытят утробу.

Совестно! Фортунат взял со щита, который служил им столом, большой кусок хлеба и мяса и, качаясь от головокружения, пошел к проводнику. Ему послышался за спиной чей-то зубовой скрежет. Обернулся — и увидел яростный взгляд отца. Э, ну тебя! Не умрешь с голоду, скряга.

Он протянул еду проводнику.

— Спасибо,— бледно улыбнулся проводник. И прошептал благодарно:— Никогда не забуду...

Говорил он по-гречески, но все римляне, хоть кое-как, со школьных лет понимали язык, общий для всех на Средиземном море.

— Начальник,— тихо молвил позже сирец.— Я сделал свое дело. Зенодотия перед вами. Уплати мне пять драхм,— и я пойду назад.

— Какие пять драхм?— вскинулся Корнелий.

— Ваш проконсул в лагере сказал: «Кто покажет дорогу в Зенодотию, получит десять драхм». Я сказал: «Я покажу». Он дал мне пять драхм задатка: «Остальное получишь, когда дойдете». Плати, начальник.

Пять драхм! С ума сойдешь! Чтобы Корнелий Секст вот так запросто, с легким сердцем, вынул и отдал кому-то целых пять драхм? И кому. Римлянин — варвару?

— Ты договаривался с Крассом — с него и требуй,— отвернулся Корнелий. Вот еще. Привязался.

— Он сказал — ты отдашь.

— Проваливай, черное ухо! — взревел центурион.

— О пачальник! Я человек бедный. Для меня в этих драхмах жизнь.

— Сейчас ты получишь... пять горячих!— Корнелий схватил тяжелую лозу.

Теперь заскрежетал зубами Фортунат. Голову слева пронзила острая боль. Он и знать не знал, что его добряк-отец, безобидный ворчун, который всю жизнь казался ему самым честным человеком в Риме, способен на такую низость...

Изменился старик. Скажи, как портится человек на войне! Или становится самим собой?

— Хорошо, я пойду.— Обруганный, ограбленный, обиженный ни за что, сириец поплелся прочь, путаясь в полах нелепого хитона.

Фортунат сунул руку в котомку, звякнул монетами — и рванулся было за сирийцем, но его перехватил бешепый взгляд центуриона.

Проводник обернулся, все так же бледно улыбнулся Фортунату на прощанье. Но глаза у него... лучше не говорить, что у него было в глазах.

— Спяжайся!

Когда ромей, надев доспехи и перейдя вброд неглубокую речку по перекату, скрылись на той стороне, проводник украдкой вернулся в рощу, сел у воды.

Ее журчание, тихое, доброе, мягко проникало в душу. Он зачерпнул горсть прозрачной влаги, смыл горькие слезы.

Затем достал, отвязав из-под хитона кошель, высыпал на мокрую ладонь пять серебряных монет. Долго держал их, не глядя, на ладони, думая о чем-то другом, — и вдруг яростно стиснул скрюченными пальцами, взмахнул рукой и забросил в речку.

Монеты сверкнули в потоке, как рыбки...

* * *

Небо за ними уже паливалось кровью, когда легионеры в полной выкладке подступили к Зенотии и Тит, по приказу центуриона, вскинул к тонким губам кривую медную буцину.

Тенью грядущей ночи из-за города, с востока, ложился на их загорелые лица, железные шлемы, воловью кожу и металлпческие пластины пащирей голубой мертвенный свет.

Он, рассеиваясь, странным образом смешивался с красноватым отражением от стен, озаренных закатным солнцем. И потому солдаты казались призраками, повисшими в вечерней дымке. Только густые их синие тени, падавшие на еще светлую дорогу и бронзовые прутья катаракты — решетки в воротах, связывали их с землей.

Никто не знал, что каждый из них очень скоро станет всего лишь тенью...

— Поднимите катаракту, — вздохнул Аполлоний. — Что мы можем? Одну центурию одолеем. А легионы? — Стратег вопрошающе вскинул ладонь. В городке три тысячи насе-

лепня. Из них две трети — женщины, дети. Среди мужчин немало стариков. Всего триста воинов может выставить Эпидотия против многотысячных полчищ Красса. Нет уж, лучше не задираться. — Да защитит нас Дева! — Старый стратег поклонился храму Артемиды. — Откройте ворота. И помните: это разнузданный, грубый и хитрый народ. Могут с умыслом вызвать на ссору. Не поддавайтесь! Будьте осторожны, приветливы и обходительны.

Охрана ворот навалилась на ручки подъемных колес; катаракта, в закатных лучах будто облитая кровью, медленно поднялась, ошерив острые зубья вниз.

Аполлоний сам вышел с оливковой ветвью встретить пришельцев.

— Красс, — грозно молвил центурион и неуклюже сунул стратегу свиток с восковой печатью. — Землю и воду.

— Добрые гости к счастью, — улыбнулся сдержанно стратег. — Вы успели кстати. Сегодня у нас свадебный пир. Я выдаю дочь замуж. За него, — кивнул он на юного атлета рядом с собой.

Корнелий смотрел мимо стратега, внутрь города. Ничего не видно. Проход загорожен толпой встречающих. Они безоружны.

— Землю и воду, — тупо сказал Корнелий.

— Будет вам и земля, в вода, — усмехнулся красивый грек. — А пока отведайте нашего вина.

Он сделал знак стоящим позади. Ему подали кувшин и чашу. Стратег налил полную чашу темного вина, сделал глоток, чтобы показать, что оно не отравлено, и поднес центуриону.

Корнелий с удовольствием выпил. Хорошее вино. Не хуже фалернского. Что ж, начало доброе.

Два старика. Одного, пожалуй, возраста. Но как они непохожи: плотный, суровый и закаленный римский воин в крепком пластинчатом панцире, прочно, как вкопанный, стоящий на широко расставленных ногах, и высокий, тонкий, неторопливый, даже будто несколько вялый эллин-книгочей.

В здешних местах, каким бы изнуряюще жарким не был день, к вечеру холодает. Ночью даже бросает в дрожь. Потому Аполлоний накинул поверх хитона-рубахи, доходившей до колен, шерстяной длинный плащ «гиматий».

Это просторный прямоугольный кусок плотной ткани. По углам к ней пришиваются гирьки, чтобы она, оттянувшись, красиво располагалась на теле. Гиматий ничем не за-

креплен на плечах,— отсюда у греков умение держаться спокойно и прямо, не делая лишних движений.

По новому знаку стратега к римлянам вышли с кувшинами девушки. Все делала Зенодотия, чтобы задобрить незваных гостей. У гречаюк плащи доставали до щиколоток; некоторые набросили край гиматия на голову, прикрыв часть лица. Они с опаской подходили к повеселевшим солдатам и, принужденно улыбаясь, угощали их вином.

Тпт, отступивший назад, в строй, не будь дурак, изловчился ущипнуть одну.

Она испуганно обернулась.

Он нахально ей мигнул.

Она растерянно улыбнулась. Первый раз к ней прикоснулась мужская рука.

Будет дело!

У ног центуриона, по обычаю восточного гостеприимства, свалили сутанного барана и перерезали ему горло. И яркое кровавое пятно на земле сверкнуло вторым алым солнцем, притянув к себе все краски заката.

Переливчато и пронзительно запела волынка.

— Проходите, друзья! Добро пожаловать.

Гостей усадили отдельно, у стен Торговой палаты под священной горой, за двумя длинными столами, сбитыми из коротких домашних столов. Народу много, возлечь негде, придется сидеть.

Солдаты заботливо, чтобы оружие находилось под рукой, сложили шлемы, составили щиты и колья позади себя под стеной и достали из распряженных повозок толстые короткие плащи, поскольку студеный воздух быстро остывших гор и пустынь уж пачипал ледешить им пряжки, бляхи поясов и портупей и пластины панцирей,— немало всякого железа было на них.

Золотое пламя трепетало в больших светильниках на столах, тесно сдвинутых на агоре, и металось в кострах поодаль, над которыми на особых вертелех дожаривались туши овец и коз. Вся Зенодотия была здесь, даже мрачные старухи не увидели дома. Золотой свет колебался на возбужденных лицах и струился, мерцая, по огромным блюдам с рыбой, сыром, птицей, плодами и, конечно, излюбленной фасолью.

Самая грубая одежда на плечах простых граждан, которых стратег пригласил всех на свадьбу, казалась при этом зыбком, то ярко вспыхивающем, то вдруг тускнеющем свете, дорогой, из китайской партии,— ее иногда завозили сюда по Великому шелковому пути.

А плотное льняное платье на бледной невесте, сидевшей с жевихом неподалеку от непрошенных гостей, во главе соседнего стола, выглядело и вовсе царским.

И сама она, в золотой диадеме с драгоценными камнями, в золотых серьгах в браслетах, вся в жемчугах, казалась восточной царицей. Не струны арф звенели на площади, а ее украшения.

Что-то загадочно древнее было в этом шумном скопище стройных и смуглых людей. От тех незапамятных времен, когда их предки, под напором других народов, оставили Северный Кавказ и двинулись на запад по просторам черноморских степей, зажигая на стоянках костры.

Римляне бесстрастно наблюдали за чужой радостью.

Им хотелось пить и есть.

И они выжидательно сидели у столов, опершись локтями о доски и положив на кулаки тяжелые подбородки.

Один Фортунат устроился в сторонке, на каменной скамье, возле оружия. Ему одному не хотелось ни пить, ни есть. У ворот он отвернулся от чаш, которую, отведав сама, предложила ему одна из юных гречанок. И в глаза ей не взглянул.

Подите вы все...

У него мозг отек. Свет больно резал глаза. И временами вся площадь в огнях начинала дико вращаться перед ним.

Сердце колотилось.

Фортунат, задыхаясь, отваливался к стене и рукой, сведенной судорогой, отирал горькую слюну.

Считалось, он стережет оружие, но расхватай сейчас кто-нибудь чужой щиты и копья, Фортунат не смог бы даже встать.

Ташите. Ну вас всех...

Двух первых жареных баранов, румяных, сочащихся жиром, сняв их с вертелов, греки поднесли, в знак уважения, на огромных медных блюдах к столам оживившихся легионеров.

— Прошу наполнить чаши! — встал за соседним столом стратег Аполлопий.

Перед гостями громоздились вперемежку большие кувшины с вином и чистой водой, а также «кратеры» — вместительные сосуды для их смешивания.

Но кратер солдату ни к чему.

Не стапет он с усатку портить вино.

Стратег что-то там говорил долго и красочно и, видимо, шутил: греки вокруг смеялись. Тит, петереливый и жад-

ный, не слушал ~~эт~~: палив до краев глубокую чашу крепким питьем, он украдкой выдул ее и заел горькой редькой.

И центурион не удержал его.

К тому времени, когда Аполлоний, провозгласив тост, поднес обеими руками чашу ко рту, Тит успел вновь наполнить свою — и вышел вместе со всеми.

Развеселились!

Солдаты рубили мечами бараньи и козьи туши и со смехом вырывали друг у друга сочные, с кровью, лучшие куски.

И пили без всяких здравниц, кто сколько хочет. Кому сколько влезет.

Они швыряли кости куда попало, разбивали, небрежно рокая, кубки и блюда.

— Фортунат! — обернулся Тит. — Оставь эти проклятые железки, никто их не тронет, — ступай сюда!

Юнец умирающе покачал головой. Его мутило от одного вида кувшинов и чаш и позывало на рвоту от доносившегося до него винного духа.

Греки, сладостно тренькая на арфах, пели что-то нежное, любовное. Легионеры, переглянувшись (знай наших!), грянули походную, старую...

Тит, красноглазый, все поглядывал на Дику, на ее сверкающий наряд.

— Эй! — гаркнул захмелевший Тит, когда солдаты, заскучав, умолкли и вновь потянулись к чашам. — Я хочу выпить с невестой.

Обойдя стол, качаясь, с полной чашей в руках, Тит двинулся к соседнему столу. Любуясь собой, красуясь, он не пролил ни капли. И центурион не оставил его.

Сам старикпил мало, с водой, и, себе на уме, чего-то ждал, не мешая подчиненным резвиться.

Дика оскорбленно вскинула гордый подбородок.

Возникло замешательство...

Невеста не может пить с каждым из гостей, ей вообще не положено пить в свадебный вечер.

Но и отказать — опасно.

Всегда на пиру найдется дурак, что, нарушив обычай, сразу всех ставит в глупое положение.

Жених вскипел. Стратег умоляюще схватил его за плечо и зашептал, растерянный, хмурый, что-то разгневанной дочери, в то же время кисло улыбаясь грозному воищу.

Дика пересилила себя. Она взяла мерзкую чашу, неохотно пригубила и с отвращением вернула Титу. Солдаты взревели довольные.

Кое-кто, восторженно сопя, уже вылезал пз-за стола, чтобы последовать примеру товарища.

Их одобрение еще сильнее раззадорило Тита:

— Я хочу поцеловать невесту!

И он, распустив слюшп, весь красный, волосатой толстой рукой потянулся к Дике и ущипнул ее за грудь.

Мелькнул тяжелый кулак Ксенофонта.

Тит, взмахнув руками, отлетел назад.

На какой-то миг все стихло, замерло на агоре. Ни звука! Тит с бешенством размазал кровь по лицу:

— Римляне, опасность! Наших бьют.

Коренастый, могучий, как бык, он схватил и опрокинул свадебный стол.

С грохотом все полетело на землю. Почтенные греки и гречанки в платьях, залитых вином, вскинув ноги, повалились вместе со скамьями, где сидели.

Тит с ревом выхватил меч.

Но тут Ксенофонт обрушил на его непокрытую голову тяжелую скамью.

Это покрепче солнечного удара, который днем получил Фортунат.

Солдат упал и затих.

— Бейте их! — взметнулся над площадью гневный голос юного атлета.

Началась свалка.

Солдаты гонялись за женщинами, срывали с них украшения, волокли, кричащих, в темноту.

Уже никакой стратег не смог бы остановить побойше. Даже сам царь Александр, будь он здесь:

Треск скамеек и столов, звон лонающихся кувшинов, чаш и блюд. Греки орудовали скамьями, тяжелыми черпаками, толстыми прутьями от бронзовых треножников.

Часть их бросилась к Торговой палате. Фортунат безучастно смотрел, как они, ругаясь, разбирают римские копья.

Корнелий наотмашь ударил сына по лицу:

— Беги за невестой! Не упускай...

От тяжелой пощечины, что ли, глаза у Фортуната прояснились.

Он увидел Дику у входа в Торговую палату, — она пряталась за колонной и в ужасе глядела на страшное сражение.

Прижимаясь к стене, Фортунат осторожно двинулся к ней. Дика заметила солдата и сразу догадалась, что именно ее он хочет схватить. Кипулась-прочь, обронив гиматий, и все украшения невесты засверкали еще ярче.

Фортунат настиг гречанку у широких ступеней, ведущих наверх, к храму Артемиды.

Настиг и схватил за руку в золотых браслетах. Он ощутил ладонью холод и тяжесть этих гладких браслетов.

Дика повернула к нему мокрое от слез милое лицо:

— За что?

И он узнал в ней сестру! Свою, родную. Ту, что осталась в хижине возле Рима. Те же черты. Вернее, взгляд у нее такой же. Глубокий, печальный. В нем боль, которую никогда не поймет чужой человек.

— Бегн, — отпустил ее смущенный Фортунат.

Она метнулась вверх, к спасительному храму.

— Червяк! — Мимо сына, как ядро из баллисты, пронесся, тяжело дыша, центурион.

Дика, уже у вершины холма, услышала за спиной топот, хриплое дыхание. Неужели солдат передумал? Или это другой? Она обернулась, испуганно вскрикнула, рванулась в сторону — и, резко споткнувшись, упала головой прямо мимо Корнелия на камни ступеней.

Звякнув, отскочила днадема.

К погам центуриона потекла, расплываясь, черная полоса.

Здесь темнее, чем на агоре, потому кровь кажется черной. Лишь украшения, жадно ловя отдаленный свет, сияют почти как прежде.

— Чего смотришь? Снимай! — Центурион перевернул ее и дернул ожерелье на шею.

Он лихорадочно шарил по юному телу, так и не узнавшему мужской любви, срывая золотые цепочки, выдирая серьги из ушей, пытаясь расстегнуть — и не умея в спешке — массивные браслеты.

Мерзкий старик показался Фортунату чудовищем...

Юноше вывернуло все путро. Он, заплетаясь ногами, поднялся чуть выше и опустился на выступ под алтарем у храма Артемиды.

Внизу от опрокинутых светильников и разлитого масла запылало бойким огнем сухое дерево столов и скамей. Толпа дерущихся то смыкалась с криком в тесную толкучку, то широко рассыпалась. Над площадью стоял стук и звон. И прозительные стоны раненых.

По ступеням взлетел кто-то рослый, с коротким римским копьем. Атлет. Жених. Он дик и безумен...

Не успел Фортунат предостерегающе вскрикнуть, как

пад спиной центуриона сверкнул наконечник. Сверкнул — и погас глубоко в теле старика.

Покатились, прыгая со звоном, золотые браслеты.

Атлет оттащил мародера от невесты, бережно взял Дикку на руки и осторожно, чтобы не споткнуться, двинулся, потерянный, вниз, на площадь.

Фортуната он не заметил. Или ему не стало дела до него, когда он увидел подругу в крови.

Римлянин мог бы, догнав, поразить его ззади мечом, но для этого у молодого солдата не было сил. Ни сил, ни охоты. «Слюнтяй», — сказал бы Тит. Он, шатаясь, спустился к отцу, взял за плечи, заглянул в лицо. Из рта на бороду хлещет кровь. Борода сделалась черно-багровой.

— Фортунат, — прохрипел Корнелий. — Сын мой... Прости — обижал тебя. Нужда! Если бы нам... хоть пять... югеров земли....

Он весь затрясся, судорожно изогнулся, сделал, захлебываясь кровью, последний глубокий, рвущийся вздох — и спик.

Все! Вся земля уже твоя. Тысячи югеров земли. Сотни тысяч. Миллионы до самых владений грозного Орка, в глубь которых ты теперь уйдешь.

Долго сидел Фортунат, потрясенный, у храма Артемиды. Это и есть война? Он первый раз увидел бой. — до сих пор легионы Красса двигались по стране, подвластной Риму, и сражений не случалось.

Ничего геройского!

Пришли, нагадили...

Ветеранам, распинаящимся в Риме о своих подвигах, лучше бы помалкивать...

Площадь затихла. Погасли огни.

Они перестали мешать луне, и она, во всей своей ослепительной полноте, овладела небом, горами и городом.

С вечера золотисто-красный, в синих тенях, ночью черно-багровый, в золотых огнях, город стал голубым, серебристо-белым. Будто его обнесло сверкающим ипеем.

И при ясном, но неживом, ледяющем свете луны видел неудавшийся солдат, как греки уносят трупы. Убрали и уволокли куда-то и тело отца.

Фортуната почему-то не трогали. Не заметили? Нет, подошли трое, сурово поглядели на него, о чем-то пошептались и удалились.

Постепенно исчезли обломки столов, осколки разбитых корчаг. Уже ничего не напоминало о вечерней яростной

схватке. Разве что пятна на светлых плитах рыночной площади, блеснувших при свете необычайно яркой луны.

Тишина. Звезды. Мир и покой.

Фортунат замерз. Зато голову вроде отпустило. Он держал ее, как сосуд, до краев наполненный водой, боясь опять всплеснуть в ней боль. Римлянин лег и укрылся коротким плащом. Уснуть, конечно, не мог, — лежал и дрожал на каменном выступе, на который и впрямь уже садился иней. Ну, места.

Не хотелось думать, что будет с ним утром. Будь что будет! До утра еще падо дожить. Потерявши голову, по волосам не плачут...

Он, скрежеща зубами, все-таки задремал.

— А-а-а! — разбудил его чей-то протяжный вопль. — Ох-ох! О-о-о!..

Океанский Фортупат сел, кутаясь в плащ, серебристый от инея, непонимающе уставился на площадь, где опять что-то происходило.

Ритмично звучали слова на древнем языке, которого он не знал.

Низкий старушечий голос тянул обреченно:

— А-а-а! О-о-о! — И вновь — рыдающий речитатив. Затем стоны: — Ох-ох. О-о-о!..

Фортунат не понимал языка причитаний, но горький их смысл был ему слышен в надрывных завываниях, то поднимающихся до пронзительного визга, то падающих до глухого рокота:

— Почему? И за что? В чем и перед кем она виновата? А-а-а! Ох-ох. О-о-о!..

Это его отпевают! Вместе с той, прекрасной и теперь уже никому недоступной. Заплакал Фортунат. И крепко уснул, согревшись слезами.

В это время очнулся от холода Тит. Он долго не мог понять, где он и что с ним. Только что вроде было шумно и весело, звучали арфы, сверкали огни, и вдруг — тишина...

Огляделся — темно. Лишь высоко наверху что-то сверкает. Со стоном прикоснулся к тяжелой голове: волосы слились в корку. Что с ним приключилось?

Хотел было встать, но что-то его не пускало, давило к земле. Закрыв глаза, затах. Да, что-то неладное с ним произошло. Умер, что ли, собачий сын? Он ощупал себя и нашарил на поясе флягу. Тяжелая, полная. Вспомнил! Он впрок наполнил ее за столом. Где же стол? Где люди?

Отстегнул флягу, приподнялся, поднес ко рту. Сделал большой глоток. В груди потеплело. Мысли прояснились.

Случилось, видно, недоброе. Надо встать. Но кто-то его не пускает. Дуря от боли в голове, он с трудом высвободил ноги. Наклонился, посмотрел: центурпон! Потрогал — неживой. Уже заоченел.

Та-ак. Хорошенькое дело! Тит снова хлебнул из фляги. Вино оживило его. Вот что значат солдатская предусмотрительность. Кого-то он хотел поцеловать... А-а! Невесту. Чью?

Какой-то овраг, весь в кустах. Тит, морщась, вновь опустил голову. Крепко шарахнули. Но череп как будто цел. Такую башку, братцы мои, разве что лишь кувалдой можно кузнечной пробить. Он не какой-нибудь слюнтяй, вроде Фортуната.

Шатаясь, он подвинулся на ноги, кое-как утвердился на них, побрел сквозь кустарник. И наткнулся на кучу трупов, лежащих вповалку, кто как. Сверху бросали.

Глаза привыкли к темноте оврага, — да и не очень темно было в нем, свет луны, отражаясь от пологого склона, разливался в зарослях бледным эфиром, — и Тит, рассмотрев поближе, узнал в лицо иных товарищей. Квинт. Порций. Гней... Вся центурия здесь! Вот это похмелье...

Надо уходить. Тит, цешлясь за ветви, полез наверх, к холодному лунному свету. В холодном лунном свете, по ту сторону оврага, возвышалась сней горой Зенодотия. Тит, стиснув зубы, показал ей кулак. Погоди, будет дело.

— Ромей! Поднимайся...

Фортунат сел, зажмурился. Солнце! Город опять золотистый и розовый.

Перед ним — вчерашний старик, их правитель. Стратег Аполлоний. Его не узнать. С вечера был статен и важен, гордо держал седую кудлатую голову, — за ночь согнулся, уеох. Лицо в морщинах, глаза запали. И гиматий небрежно, совсем уж по-стариковски, переброшен из-за плеч через руки, точно это женская шаль.

На ступенях и ниже, на площади, по два, по три человека вместе, стоят выжидательно, не шевелясь, жители Зенодотии. Ни звука. Где арфы, где песни и радостный смех? У всех похоронный вид. И все, мрачно шурясь, ждут, когда сойдет Фортунат.

«Будут казнить, — подумал он равнодушно, — истязать всей толпой».

— Уходи! — махнул рукой старик.

— Куда? — велепо спросил Фортунат.

— Прочь. Куда хочешь.

Фортунат неуклюже разогнул спину, руки и ноги, затвердевшие на камешном ложе. Ужас мучительной ночи вновь сдавил ему сердце.

— Почему вы не убьете меня? Убейте.— Он опустил голову.

— Иди.

Фортунат поплелся впиз по широкой лестнице. На ней сохнет кровь. Толпа перед ним расступилась. От стыда он не мог смотреть на людей, глядел в пустоту перед собой.

К нему, с мечом в правой руке и с повязкой на левой, скрежеща зубами, как помешанный, рванулся жених Ксенофонт, осунувшийся, страшный.

Но атлета удержали. Что-то шепчут ему успокоительное, произносят со страхом:

— Артемида...

— Что мне Артемида? — вскричал Ксенофонт. — Глухая медь. Покровительница молодежи... Мы верили ей! Мы принесли ей в жертву белую козу. Почему она не защитила Дику?

Кошунство! Греки возмущенно загалдели.

Фортунат по короткой улице с колоннадой с обеих сторон тихо вышел из города и потащился среди грязно-зеленых, уже начинающих буреть виноградных кустов по мягкой дороге к реке.

Солнце грело ему затылок и спину. Он вспахивал неверными шагами розоватую от солнца пыль дороги, и углубления его длинных перовных следов позади наливались жидкой кровью — тенью.

Не мог знать Фортунат, что совсем недалеко, на винограднике, найдя забытую гроздь, ест ягоды его приятель Тит. Но если бы даже и знал, то мимо прошел, не окликнув...

У реки огляделся с тоской Фортунат. Здесь вчера они пересекли ее вброд. Как быстро все изменилось. За одну ночь.

Все будто на месте: ивы, кустарник, тихий берег. Колесо подаст воду в канал. Но нет отца и товарищей. И нет вчерашнего Фортуната. Нет и уже никогда не будет.

Он зашлепал по быстрой воде, по ровному галечному дну. Чудо-речка. До чего же прозрачна. Построить бы хижину возле нее и остаться здесь навсегда.

Выйдя на берег, солдат постоял у чистой воды, не зная, что ему делать.

Меч, который он до сих пор так ни разу и не вынул из ножен против человека, бесполезно и тяжело оттягивал пояс. Фортунат с досадой спял их, меч и пояс, закинул в кусты.

В кустах зашуршало и стихло. Он растегнул ремни на боках, содрал через голову панцирь и отправил туда же. Будьте вы прокляты!

Вдохнул облегченно, сел на сырой глинистый берег, обхватил колени, опустил на них голову. Эх! Как чиста, хороша эта вода. Как хороша жизнь, и что делают с нею...

Что-то прикоснулось к плечу. Вскинул глаза — проводник! Вчерашний. Стоит перед ним и трогает его длинной палкой, чтобы дать знать о себе.

— Всех?

Фортунат молча кивнул.

— Их погубила жадность? — спросил проводник утвердительно.

В голове Фортуната, чуть прояснившейся за ночь, опять тяжело помутилось. Он заскрежетал зубами, как давеча — женок, и, рыча, кинулся на сирийца.

Но тот был к этому готов. Проводник ловко отступил в сторону, — и Фортунат, ударившись всей тяжестью тела, растянулся на земле. Сириец вмиг очутился у него на спине. В смуглой руке блеснул кривой кинжал.

— Зачем? — сказал проводник с укоризной. — Ты не такой человек. Я мог бы перерезать тебе глотку, но вчера я ел твой хлеб. Сядь, отдохни. Успокойся.

— Прости... — Фортунат, тяжело дыша, вновь сел у воды. Он сразу выдохся. — Сам не понимаю, что на меня нашло. Терпел, молчал всю ночь. И вдруг черный дым ударил в голову...

— Ну, после всего... — Проводник мирно уселся рядом с ним. — Как же ты один уцелел?

— Не знаю, — уныло сказал Фортунат. Он и впрямь диву давался, почему его не убили. — Я... был в стороне.

— Где ночевал?

— На холме. Там красивое здание с колоннами. Перед ним — прямоугольное сооружение. Я спал внизу, на выступе.

— А! У храма Артемиды. Она тебя и спасла. Ты спал под алтарем богини. И, значит, был под ее покровительством.

Фортунат безразлично пожал плечами:

— Я... не видел ее. Не заходил внутрь храма. — И вдруг спохватился и вскинулся: — Видел! Живую. — Он вспомнил о Дике.

— Куда теперь? — спросил проводник участливо.

— Ох! Не знаю...

— Пойдем в лагерь. Ваш проконсул должен мне пять драхм. — Сириец с усмешкой поглядел на речку. — Ты свидетель, что я не получил их у центуриона.

— Ты даже не ранен? — возмутился Красс. — Стыдись! Сын такого отца... — И приказал трибуну Петронию: — Высечь лозой и отправить в обоз! Будет править повозкой...

Фортуната схватили.

Дело происходило в лагере первого легиона, которым командовал Октавий, у его огромного шатра. Здесь находились все сподвижники проконсула.

Солдаты в этот знойный послеполуденный час отдыхали в палатках.

— Нехорошо, — шепнул квестор Кассий. — Как раба. Он — свободнорожденный.

— Кассий! — Раскисневший проконсул был страшен в гневе. — Если ты помнешь, я тот самый Красс, который совершил децимацию!

— Помню... — Гай Кассий Лопгин отступил.

Как не помнить. Кассий был тогда заместником той части Галлии, что перед Альпами.

«Децимация» — древний род наказания для провинившихся воинов. Когда легат Муммий потерпел поражение в бою со Спартаксом и солдаты его спаслись бегством, сбросив оружие, Красс отобрал из них пятьсот самых притких и, разделив на пятьдесят десятков, приказал убить из каждого десятка по одному человеку, на кого укажет жребий.

Казнь сопряжена с позором и совершается при жутких обрядах у всех на глазах. От слова «децимус» — «десятый» и происходит название этого вида расправы. До Красса децимацию уже давно не применяли.

Да, от такого начальника ждать пощады не стоит...

Получив дурную весть о гибели солдат, Красс сразу понял: нужен поступок. Их смерть совершенно не тронула Красса с его глухим равнодушием ко всему на свете, кроме своих личных забот. Будто ему сказали, что где-то в соседнем городе скончался кто-то, неизвестный Крассу.

Сто солдат. Ну и что? У Красса — легионы. Но те сто солдат еще вчера находились в этих легионах. И легионы ждут от него поступка.

Разве децимация не помогла ему укрепить дух войска?

Наказать лозой одного — смехотворно. На Востоке дары вырывают язык тому, кто принес плохую новость...

Он выхватил меч — массивный, с очень широким острокопечным клинком и большой рукоятью. У начальников меч висит на левом боку, — они не носят щитов, и ножны им не мешают, колотясь о щит.

Командиры отпрянули. Мало ли что...

Проконсул, сверкая глазами, крест-накрест рассек горячий воздух, ликорадочно сунул меч обратно в ножны.

Затем, как бы утратив рассудок от скорби и гнева, яростно выхватил у одного из солдат острый шлем, вцепился в проводника-сирийца и потащил его за собой по широкой главной улице палаточного городка.

Вроде бы желая, чтобы тот показал, где эта проклятая Зенодотия.

Он решительен, грозен, как тогда, перед децимацией, на рубежах Пизена...

Солдаты, сонно копаясь у душных палаток, с недоумением глядели, куда это мчится старый проконсул с копьём в руке, и зачем он тащит за собой варвара в длинном хитоне.

Рассудок, холодный и злой, был, конечно, при нем. Он догадался, что выбрал для лицедейства неподходящий час. Следовало это сделать к вечеру, выстроив весь легион.

Но тогда бы притупилась «естественность» его поступка...

Он ждал, когда сзади послышится топот бегущих ног, и Петроний, Кассий, Октавий, догнав, начнут уговаривать, чтобы проконсул не расходовал благодатных сил своей великой души на какую-то мелочь.

Однако те не спешили за ним. В руке у Красса — копьё. Полководец, который в отместку врагам сокрушает своих, не внушает доверия. Пусть остынет.

Красс и доселе их не любил, теперь же возненавидел. За то, что не поддержали его пгру. И по этой причине чуть не выломал проводнику тонкую смуглую руку.

Затем отпустил его, картинно выставив подбородок и левую ногу вперед, и отвел правую руку с копьём назад. Как бы целясь прямо в сердце Аполлония.

— Далеко, не достанешь, — усмехнулся проводник, потирая запястье. — Когда ты отдашь мне пять драхм?

Его услышали солдаты у входа в лагерь. Они засмеялись. И ошарило Красса: вот он, поступок!

Проконсул, в той же стойке, повернулся к сирийцу, миг смотрел ему в глаза свирепыми глазами — и ударил пзо всех немалых сил в грудь, защищенную лишь тонкой тканью рубахи.

Тонкий острый наконечник, по длине почти равный тяжелому древку, пробил сирийца насквозь. От удара он повалился на спину, перевернулся, хрипя и дергаясь, набок

и скорчился, подогнув колени и схватившись за толстое древко...

Лишь теперь подоспел военный трибун Петропий.

— Я, кажется, убил его? — смущенно сказал проконсул.

Петропий успокоительно погладил его по руке, по плечу. И Красс доверчиво потянулся к нему, благодарный за участие.

— Разве Александр Великий в минуту благородного гнева не сразил строптивца Клита? Самого Клита!.. А это... — Петропий, небрежно отменяя, махнул ладонью. — Подумаешь, какой-то варвар.

Красс отшатнулся.

И Петропий, весьма довольный своей находчивостью, как уместно, впопад, вспомнил он исторический случай, хитроумно приравняв Красса к Александру, — удивился, отчего вдруг проконсул вмиг охладел к нему.

Он-то уже надеялся если не на денежную награду, то хоть на милостивую улыбку...

— Эх, угодник! — сокрушенно вздохнул подошедший Эксатр. Ядовитый человек! — Брякнул некстати. Погоди, он тебе покажет. Клит был героем, другом Александра, его молочным братом. Такого убить — не бесчестье. А Красс уложил беднягу-проводника, чье имя никто не знает. И которому должен пять драхм.

Гора родила мышь. П о с т у п к а не получилось. И Красс, осатапев, приказал легату Октавию:

— Общую тревогу!

Взревели буцны.

«Завести бы вас...», — подумал зло Фургунат, когда его, позорно наказанного, вызвали из обоза — показывать дорогу.

Опять тащиться по адской жаре с большой головой, а теперь еще и со спиной, исхлестанной в кровь. Соленый пот разьет ее до костей. Ни согнуться, ни повернуться. Держись прямо, смотри перед собой. Будто кол у тебя внутри. Вколотили солдатскую выправку...

— А где проводник?

— Сбежал.

«Хорошо сделал. Я бы тоже... Но куда?»

Ночь застала войско у спуска в долину. Без огней, без других признаков жизни, она лежала перед Крассом черной загадочной пропастью. Но в этой густой черноте галлась угроза. Показалась луна, речка блеснула начищенным панцирем, в ней замелькали, сверкая, мечи острых бликов.

Легион расположился на холмах. Строить лагерь на ночь не стали, — просто огородились на случай нападения повозками, приткнув их тесно одну к другой. В глубоких лощинах между холмами солдаты живо парубили сухой верблюжьей колючки. Она, неказистая, тонкая, с треском горела жарким, прямо-таки «адским» огнем, который применяют в морских боях и при осаде крепостей.

Не было песен, не было шуток и смеха. Кровь пролилась, все пахло кровью: хлеб, воздух, вино, вода. Сколько ее прольется завтра?

Красс, хмурая чело, долго ходил за кострамп. Телохранители держались поодаль. Пусть видят солдаты, что их предводитель не дремлет. Он с ними. Он бдит. Он готов к великому подвигу.

— Лег бы ты спать, господин, — осмелился подойти к нему Эксатр. — В твоём возрасте нет ничего лучше отдыха.

— Прочь, — прошипел господин. — Занимайся своим делом. Записывай.

— Что? — удивился раб. — Пока что нечего записывать.

— Разве ты не слышишь? — вскинул руку вонтель. И она от света костра окрасилась кровью.

Отовсюду до них доносился прерывистый, тонкий, со звоном, визг: солдаты точили мечи и наконечники метательных копий.

— Завтра мы осадим Зенодотию, — важно изрек проконсул.

— Одного легиона, пожалуй, не хватит, — вздохнул Эксатр с притворной озабоченностью. — Против такой-то твердыни! Может, нужно было поднять всю армию?

Он пожал плечами, отошел. Опустился наземь у костра, понурил голову. Когда человек сам себе дурак, это, скажем, терпимо. Но если дурак берется решать судьбу многих тысяч людей, тут уже не до шуток.

Сверкнул навстречу восходящему солнцу серебристый орел на толстом древке — отличительный знак легиона. Как и настоящий орел, он смотрел, вскинув крылья, прямо на солнце и, насупившись, угрожал ему кривым хищным клювом.

Войско в четком строю начало переправу.

Пропустив девять когорт с «сигнумами» — знаками в виде раскрытой руки или какого-либо животного на древках, увешанных венками и лентами, Красс в повозке сам тронулся в путь.

С реки сошел туман. Течение унесло густую песчаную

мусть, поднятую войском, и сквозь неглубокую прозрачную воду стало видно, что там, где оно прошло, образовалось на дне широкое поперечное углубление, будто здесь протащили большой круглобокий корабль.

Возница оглянулся на хозяина. Красс не выспался, мерз и потому был раздражен.

— Я возьму левее? — спросил возница. — Чтобы не вымокнуть в яме. Вода сейчас... — Он зябко повел плечами. — Если мне скажут: «Там, на дне, пять монет, достанешь — будут твои», — не поленю.

— Осел! Кто заставит? Здоровье дороже денег...

Красс, нахохлившись, смотрел па дно. Пестрый галечник, желтый, красный и черный. Дно просвечивает сквозь стеклянную воду чешуйчатым бронзовым панцирем.

И вдруг, уже на середине речки, что-то блеснуло, там, на дне. По-особому блеснуло. Знакомый блеск!

— Стой!

Красс низко свесился через край повозки, всмотрелся в маленький круглый предмет, отливающий в изумительно ясной воде металлическим белым блеском. О, Красс знает в нем толк...

Он сразу забыл, что сказал перед этим вознице. Не отрывая глаз от правильного белого кружочка, так непохожего на продолговатую плоскую тусклую гальку, проконсул быстро сбросил плащ, развязал ремни сандалий.

Вода обожгла ему босые ноги. И впрямь холодна! Но теплый белый кружочек грел ему старое сердце. Красс наклонился, погрузил руку до плеча в студеную воду, осторожно, чтобы не упустить, подобрал монету.

Хм... Последнего римского чекана. Таких еще нет в ходу в провинциях. Монеты этого выпуска при себе имеет лишь Красс.

Он вспомнил, как позавчера выдал сирийцу-проводнику пять драхм задатка.

Значит...

Что же это значит?

— Убери свою проклятую повозку! — взревел Красс. — Не загораживай свет.

Возница хлестнул лошадей и шарахнулся в сторону вместе с повозкой. И угодил-таки в долгую яму. Но в ней оказалось не так уж глубоко. Во всяком случае ног своих возница не промочил.

Вода доходила Крассу до колен. Он стоял в ней, выжидающе наклонившись и вытянув шею, весь звенящий от

напряжения, как галл-рыбак на реке Пад, глушащий рыбу острогой.

Вот они. Вторая, третья, четвертая. Сиротливо лежат друг от друга поодаль, на дне ледяного потока. Бедняжки. Ваше место в человеческой теплой руке, в его кошельке.

И он крайне бережно. — не дай господь уронить и опять потерять, — вынул свои монеты, вытер полою хитона и сушил их в сумку на поясе.

Сирпец, похоже, был человеком себе на уме. Хорошо, что Красс уничтожил его. А то натворил бы он бед...

Где же пятая? Она где-то здесь. Может быть, задала ребром меж двух галек, и потому не видно ее. Красс осторожно, будто касаясь горячих углей кестра, раздвигал стопой и разглаживал мелкие камни. Монета не показывалась.

Тогда он опустился на корточки, утопив зад в жгуче-холодной воде, затем встал на колени. И ползал на них, обдирая, по дну и шаря вокруг себя рукой, кропотливо перебирая гальку.

Он так низко наклонился над водой, что она задевала ему кончик носа. Солдаты замыкающей когорты изумленно толпились на сыром берегу...

— Помочь? — предложил возница с завистью.

А-а, болван! «Не полезу»... Полезешь! В костер пылающий ползешь за монетой. Не то что в ледяную воду. Красс относился к деньгам с тем же трепетом, с каким житель Востока относится к хлебу. Деньги — пыль и прах и прочее? Не болтайте, поэты несчастные.

Нашлась! Ее забилло быстрым течением под камень больше других и присыпало крупным черным песком. Он вцепился в монету скрюченными пальцами, как в живую скользкую рыбу...

Тит, бледный, вышел к первой когорте и обратился к легату Октавию:

— Пусть помажут, перевяжут, — он притронулся к голове. — И дадут оружие. Дозволь мне первому вступить в бой. — Тит погрозил кулаком Зенодотии. — У меня с ней свои счеты...

Октавий любовно оглядел его плечи, мощную грудь, длинные руки. Гордость войска. В огне пылающем не горит, в глубокой воде не тонет. Настоящий римский воин.

А Фортуната вновь отправили в обоз. Честно сказать, он этому рад. Только б не видеть кровь...

О римлянах не зря говорили, что они «повсюду носят с собой обведепный стенами город».

Подступив к Зенодотии, легионеры первым делом принялись вырубать виноградники, разравнивать грядки и оросительные борозды. Чтобы затем выкопать рвы, насыпать валы и устроить на них палисады. И разбить палаточный город с прямыми улицами и переулками и площадью посередине.

Хотя вокруг на сотни миль не было вражеского войска, способного одолеть легион. И чтобы взять Зенодотию, по всему видать, не потребуется длительной осады. Крепостцато — тьфу! Убога, мала. Но так положено. Устав превыше всего.

Стучали топоры, визжали пилы. Падали деревья.

— Экая деловитость! — сказал сквозь зубы стратег Аполлоний, наблюдая сверху, со стены, как солдаты вяжут из срубленных лоз фашишы. — Смотрите, а? Как у себя дома...

О цветущих восточных долинах ходит немало красочных легенд. Но цветут они лишь до тех пор, пока ухожены человеком. Стоит сжечь сады на рыхлом речном берегу — в этом месте поднимется хилый колючий кустарник.

Весенний потоп, получив свободу, размоет обрывы и дамбы, до красн занесет кагалы песком и глиной. Вода без надзора разольется как понало, заполнит все углубления, и долина очень скоро превратится в проклятую душную яму с вонючей зеленой жижей в глухих протоках, с непролазным тростником, комарами, шакалами и дикими кабанами...

— Я не могу! — Ксенофонт ударил себя кулаком по голове. Нестерпимо это. На виноградниках у него все и началось когда-то с Дикой. И не поверишь, что всего-то в прошлом году. Будто сто лет минуло. И что еще позавчера, ну каких-то полтора дня назад, она была жива, улыбалась и готовилась стать его женой. А вчера ее похорошили. Пятнадцать рапелых, одна убитая — такой урон понесла Зенодотия... — Дадим им бой! — крикнул атлет.

— Да, иного выхода нет, — кивнул Аполлоний печально. — Не сдадимся Крассу! К чему же тогда наша память о прошлом, обычаи, слава? Мы все-таки македонцы. Все погибнем? Что ж, может быть. Зато о нас никогда не забудут.

...Выйдя из города, эллипы встали македонской «фалапгой» — сомкнутым строем шеренг, расположенных одна за другой, в каждой по сто человек. В трех первых рядах па-

ходились молодые «гоплиты», в двух последних — воины старшего поколения.

С краев их прикрывали два десятка сирийских лучников из соседнего селения, давних приятелей.

Фаланга эта, конечно, жалкое подобие тех, какие водил Александр, но уж сколько людей набралось. Даже меньше одной полвой римской когорты. В легионе же — десять когорт...

Легат Октавий с недоброй усмешкой следил, как греки готовятся к бою. Опытный военачальник, он видел их войско насквозь.

В македонской фаланге, в отличие от еще более старой, дорийской, лишь первый ряд бойцов снабжен щитами. Остальные идут, перекинув через плечи передних, тяжелые копья — «сариссы», которые с каждым рядом длиннее. Их приходится держать обеими руками, потому у этих воинов нет щитов. Они защищены лишь панцирем и шлемом.

Это на руку противнику.

Правда, вид у них грозный. Вся мощь фаланги и состоит в способности, оцетившись лесом копий, нанести с ходу лобовой удар.

Но в тесном сомкнутом строю фаланги и слабость ее. Она неповоротлива, громоздка. И уязвима с флангов. Кучка пеших лучников — не прикрытые. Чтобы сохранить равнение, следует шагать всем в ногу, затылок в затылок, что в рукопашном бою, с его неожиданностями, не всегда удается.

Давно устарел такой военный строй. Оружие тоже по нынешним временам неуклюжее, устаревшее.

Оно, должно быть, еще со времен Александра лежало в арсенале и редко находило себе применение. Городские ворота можно стеречь просто с палкой в руках. Копья, щиты и мечи доставали порой, когда молодежь учили ратному делу.

Учили тоже по-старому...

— Фью-фе, фью-фе! — резко запели флейты.

Их четко-однообразные звуки придают размеренность шагу. Эллины грохнули копьями о щиты и тронулись с места, — будто часть городской стены, отвалившись, покатились на вражеский лагерь.

Хор крепких крутых голосов торжественно-угрожающе затянул «эмбатерий»:

Славное дело — в передних рядах

с врагами сражаясь,

Храброму мужу в бою

смерть за отчизну принять!

Чекапя шаг, вышли греки из-под затепепной стены, и солнце сверкнуло на медных гребенчатых щитах, на сильных плечах, закованных в бронзу. Но лица были покрыты сипей тенью, и от них веяло смертным холодом.

Казалось, могучий эллинский вал сейчас раздавит, растопчет врасплох застигнутых римлян. Но Октавий держал па сей случай наготове четыре когорты. О том, что он их бросает, по существу, на горстку бедных, плохо вооруженных людей, Октавий не думал. Противник есть противник.

Запел римский рожок.

Две когорты уступом, одна за другой, молча, без лишнего шума, твердым «полным» шагом двинулись навстречу фаланге. Еще две, разойдясь, выжидательно остановились на своих «градусах». Их задача — в самый разгар сражения охватить неприятеля с двух боковых сторон.

Как бы удивившись тишине, умолкли греки.

— Эй, жених!

Солнце светило римлянам в глаза, но противники сошлись уже так близко, что Тит, шагавший в первом ряду первой когорты самым крайним справа, сумел разглядеть Ксенофонта.

— А, так ты уцелел?— вскричал Ксенофонт, потрясенный.

И, нетерпеливый, горячий, весь налитый ненавистью, он повалуд, слишком рано, метнул одно из двух своих копий в обидчика.

Жестокый удар! Несмотря на дальность, копьё Ксенофонта с крустом вошло в большой деревянный римский щит, обтянутый толстой воловьей кожей и обитый по краю железом.

Тит даже почувствовал левой рукой, у локтя, острое наконечника. Будь такой удар панесен с более близкого расстояния, острое пробило бы ему руку. Скажите, как обозлен молокосос...

— Хорошо!— крикнул Тит одобрительно.

Он мгновенно перекинул пилум из правой руки на сгиб левой. Резко выдернул меч из ножен, сделал легкий поворот вправо, чтобы не открыться врагу. И, пригнувшись, одним взмахом перерубил древко вражеского копья у самой втулки наконечника.

Благо, весь наконечник, со втулкой и острием, был не длиннее двух ладоней.

— Ха-ха!— Тит спрятал меч, вновь схватился за пилум и, готовясь, взвесил его в руке. Ах, родной. Тяжелый, ост-

рый и безотказный.— Несчастный ты «гракус»! Уж если я тебя клюну, то клюну...

Греки не зовут себя греками. Это римское слово. Они — эллины.

Тит рванулся вперед. Узкое жало пилума, брошенного мотушей рукой, звонко чмокнув, пробило насквозь небольшой круглый эллиптический щит, обшитый тонкой листовой медью.

Наконечник пилума под тяжестью древка изогнулся крючком, и пилум повис на щите молодого зенодотийца, как волк на груди быка. Ксенофонт пытался его стряхнуть, но крючок крепко засел в медной обшивке.

Перерубить железный наконечник грек не мог, а короткое древко не достанешь. И возиться с этой проклятой штукой, чтобы извлечь, ему некогда, — к атлету уже подступает с обнаженным массивным мечом лихой легионер.

Щит, только что спасший его, тотчас же сделался обузой, он стал мешать Ксенофону.

Юный грек злобно ударил Тита вторым копьём. Но удар пришелся по ловко подставленному «умбону» — округлому выступу на железном листе в середине ромейского щита, и наконечник со скрежетом скользнул в сторону.

В тот же миг, подскочив, Тит наступил и придавил левой ногой древко пилума, кровожадно присосавшегося к щиту Ксенофонта.

Острая боль взвизгивала в левой руке, рапеной в почной потасовке. «Не удержу», — подумал юный грек обреченно. Все стало теперь бесполезным, ненужным.

— Сопляк, — прошипел Тит ему в лицо через верхний край своего щита. — Это ты позавчера грохнул меня по куподу? Молись Артемиде! Пришел тебе конец...

Он топнул ногой, — и Ксенофонт с криком выпустил щит.

В то же мгновение Тит, недосыгаемый за своим огромным щитом для чужого меча, проворно навес открывшемуся Ксенофону знаменитый длинный колющий удар, рассчитавший для Рима половину мира. Тяжелый меч, с хрустом звякнув, пробил медную кирасу и глубоко проник в левую часть живота, в живую горячую плоть.

Легионер добил упавшего грека:

— Ты не позволил мне поцеловать твою певичку? Так получай же!..

Когда все кончилось, Красса перенесли в Зенодотию, в дом стратега Аполлония. В бывший дом бывшего стратега...

Триумвир не принимал участия в бою. Он даже не видел его. Ибо сразу после купания в речке охватил старика

пестерный озноб. Красс, бессмысленно озираясь, дрожал и стучал зубами, когда снимали с повозки.

Его уложили в срочно разбитой палатке, укрыли дощичной сукошней плащей. Красса кидало то в жар, то в холод. Грудь разрывает хриплый кашель, из поздрей струится мерзкая слякоть.

Раб Эксатр поил полководца отваром сушеной крапивы. И клал ему на нос примочки из пастойки ее семян на виноградном соку, предварительно уваренном до половины прежнего объема. Все это зелье везли в обозе лекари легиона.

Красс, беспомощный, красный, метался на ложе, хватал Петрония за руки:

— Что? Ну что?

Военный трибун, находясь при нем неотлучно и получая вести от связных, терпеливо докладывал:

— Пошла на сближение первая когорта...

— Справа от нее, чуть позади, идет вторая...

— Первая завязала бой...

— Вторая умышленно медлит. Все как следует...

— Первая теснит неприятеля...

— Неприятель теснит вторую...

Узнав, что «грэкусы» бьют и гонят вторую когорту, Красс ударил Петрония кулаком по лицу. Как в свое время сенатора Анния. Но в кровь не смог разбить. Силы не те...

— Октавий! Где Октавий?

Даже здесь, в глухой кожаной палатке, отдавался шум сражения: многоголосый гвалт, стук и треск, звон и скрежет. Отдавался в ушах. Отдавался в мозгу. Будто стучат по затылку...

— Третья двинулась в обход! — донес взволнованный связной. — Четвертая справа сделала охват...

Красс заплакал.

— Все как следует. — Петроний заботливо отирал ему слезы.

...На плечах немногих уцелевших греков легионеры ворвались в Зенодотию и опустошили ее. Грудных детей и дряхлых стариков убивали на месте. На что они, кто их возьмет? Хватали тех, кто годился на продажу.

Лишь один старик был пощажен: стратег Аполлопий, — на него наложили оковы.

Солдаты, на правах победителей, живо обшарили дома и склады и забрали все мало-мальски ценное, что в них нашлось. Кое-где из-за какой-нибудь яркой вазы вспыхнула драка.

Многие, зная, что самое дорогое эллины прячут в хра-

мах, ринулись к святилищу Артемиды. Но квестор Кассий уже выставил здесь охрану. Самое дорогое? Оно принадлежит самому главному. То есть Марку Лицинию Крассу.

— Где он был, когда у ворот мы рубили греков и греки рубили нас? — возмущенно кричали солдаты, но от храма откатились.

— Приготовься. Будешь записывать, — кивнул Красс рабу Эксатру.

«Крепкий все же старик», — подумал Эксатр уважительно.

Проконсулу заметно полегчало. Он глубоко, насквозь, пропотел. Раб Эксатр выжал хворь из него, как фуллон — сукновал выжимает воду с мочой из шерстяной толстой ткани. Мочу, долго выдержав, добавляют в чистую воду, чтобы лучше смыть с тканей грязь. Дело известное. В Риме об этом даже стихи сочиняют шуточные.

И все — крапивный отвар.

«Жаль, что ты не ел ее весной. Кто ест весной зеленую крапиву, предохранен на целый год от всех болезней. Ваше ж, римское средство! Лукулл его знал. В наших краях нет крапивы».

— Пленных: тысяча двести. Сколько за голову дашь? — обратился проконсул к торгашу Едиоту, который с марки-тантами и прочим сбродом сопровождал в обозе римское войско.

Красс не спеша, выжидательно, — он вновь стал самим собой, — подошел к неглубокой нише в стене. Разговор происходил на террасе с белой решеткой. Римлянин взял футляр со свитком, небрежно брошенный на полку.

Дом подвергся разгрому, но на старинный свиток с пись-менами никто не позарился. Римские солдаты не читают книг. Хорошо уже, что не сожгли.

Проконсул, томясь, вынул бурый валик и развернул его. Торгаш помалкивал.

— Ну? — не выдержал Красс.

Война — дело доходное. И, пожалуй, не столько для тех, кто воюет, сколько для тех, кто греет руки на ней. Едиот тронул пейсы — локоны на висках:

— По три драхмы, если дозволит Яхве.

— Что? — удивился проконсул. И стиснул свиток, как рукоять меча.

Бог весть, что значило имя купца на его языке. Бродя бы «вестник». Кого-то или чего-то. Должно быть, каких-то богатых сил. Эксатр, выжидательно державший стило над писчей доской, не вникая за недостатком охоты в суть

его красивого имени, назвал покупателя — для удобства и по созвучию — просто:

— Ты что, Идиот?

Кое слово, как известно, происходит от греческого «печ, невежда, профан».

Но Едиот совсем не идиот. Едиот и сам испугался: ну, загнул. Однако торг есть торг.

— Товар-то... порченный.— Он осторожно взглянул исподлобья.

Он имел в виду девушек, побывавших в руках легионеров. Он, будьте покойны, успел их уже осмотреть. В разодранных платьях, пиные — и вовсе полуголые, они сидели и лежали сейчас в пустых залах Торговой палаты, не смея вслух даже охать.

— Ну, такой товар,— кисло сострил проконсул, — чем больше портишь...

— Хе-хе! Оно так...

«Не прогадать бы»,— мучится Едиот. Среди тех, беззвучно рыдающих в залах Торговой палаты, он приглядел немало таких... Каждую можно, отмыв, подлечив, продать, как рабыню для удовольствий, за тысячу драхм.

Красс же человек суровый. Он способен выгнать взашей и за те же три драхмы за голову отдать пленниц другому.

«Ты наша опора в этих местах»,— сказал ему давеча Красс.

Не следует с ним усложнять отношений. Потребуется по десять драхм за душу — придется платить. На него одного вся надежда теперь на Востоке. Умный, настойчивый, хитрый. Парфяне сюда больше носа не сунут.

И все же Красс недалек! Ибо тщеславен. Когда ты молод, тщеславие — благо. Оно побуждает к труду и подвигу. Но в старости, когда уже все позади, оно смехотворно. И опасно к тому же. Если даже горькие годы не вразумили человека, что жизнь это прах и суета...

Едиот прикрыл глаза ладонью и прочитал нараспев из «Экклезиаста», переводя тут же на «койнэ»:

— «Что было, то и будет; и что свершалось, то и будет свершаться; и нет ничего нового под солнцем. Случается нечто, о чем говорят: «Смотрите, вот это новое!» Но это уже случалось в веках, прошедших до нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, ничего не останется в памяти у тех, что придут после них».

«Нет минувшего, нет грядущего!— истолковал он по-своему выдержку из писания.— Есть текущий миг с его выгодой...»

И помедлив, торгош внезапно выстрелил из речевого лука словесной стрелой:

— В лагере Лукулла, после знаменитой битвы с Тиграном, раб стоил четыре драхмы...

Он попал точно в цель!

Красс даже вздрогнул, так что свиток в его руках дернулся с резким сухим шорохом. Вечно ему ставят в пример то Александра и Цезаря, то Лукулла с Помпеем.

Но ведь это же правомерно!

Проконсулу вновь стало жарко, будто опять залихорадило. Но жар на сей раз приятен. Внутри от него хорошо. Вот оно, рядом, рукой подать, то, к чему он рвется столько лет.

Ничтожных и малых не сравнивают с великими...

Лукулл?

— По пять драхм за голову — и забирай всех.

— Что ж, — Еднот опустил ресницы, чтобы скрыть веселый блеск зрачков. — Ради тебя...

— Тысяча двести по пять... — Красс повернулся к Эксатру.

— Шесть тысяч драхм, — записал равнодушно невольник.

Проконсул, довольный, зашелестел темным свитком. Наугад выбрал несколько строк. Из тьмы веков долетел до него мудрый старческий голос:

Праведен будь! Под конец

посрамит гордеца непременно

Праведный. Поздно, уже пострадав,

узнает это глупый...

— Хе! Поэзия. Гесиод. Давно одряхлел ты, чудак. И советы твои уже никому не нужны. — Красс, даже не свернув, записал свиток в нишу. — А во что ты оценишь это? — Он подвел Еднота к другой нише и осторожно снял покрывало с упрятанных там вещей.

Даже купцу, умеющему смотреть отвлеченно, как бы не видя, и туманить выражение глаз, не удалось на сей раз удержать искру, сверкающую в них.

— Из храма Дианы, — произнес имя девы-богини на римский лад.

Эксатр между тем взял из первой ниши скомканный свиток, бережно свернул его и с посторонним видом вложил в потертую трубку футляра.

«Хе, поэзия»? Не будь Гесиода, люди на всей земле, может быть, уже давно перегрызли бы глотки друг другу.

Если самое чистое и животворное в человеческом теле — семя его, то лучшее в его душе — Поэзия. Она-то и делает человека человеком. И если б все люди более прилежно внимали советам поэтов, не бывать бы среди них такому разбреду...

Он украдкой сунул свиток за пазуху.

— В этом доме должно быть немало книг, — заметил проконсул через плечо. — Найдешь хранилище — заведи все, что есть. И непременно составь на них опись.

Невольник, весь озарившись неясной улыбкой, покачал головой.

— Будет сделано, — вздохнул Эксатр.

Едиот вынул из ниши золотую чашу с изумрудной ветвью и рубиновыми цветами на боку. У Красса сладостно запылило сердце. Точно такую он видел в доме Лукулла...

Торговец потер чашу о свою грязную, немыслимо заносившую хламиду, взглянул, склонив голову набок.

— Могу дать за нее пять тысяч.

— Не продаю! — Красс поспешил забрать у торговца чашу. — Заплати, — приказал он рабу.

— Жаль, — вздохнул Едиот. — Я ее поднес бы в дар храму Яхве в Иерусалиме.

— Не странно ли? — сказал невольник с прежним равнодушием, царапая острой палочкой воцеленую дощечку. — Человек, с его чутким сердцем и памятью, тоской и радостью, и заветной мечтой, стоит всего пять драхм за голову. А пустая посуда из металла, в котором нет никакой души, тянет одна на пять тысяч драхм?

Они с недоумением переглянулись. Едиот вопросительно вскинул брови, Красс снисходительно махнул рукой.

В нише находилась еще одна чаша, точная копия первой, но уже из серебра, с сердоликовой ветвью и цветами из синей бирюзы.

«Серебро в пять раз дешевле золота, но с бирюзой и сердоликом эту чашу можно продать за три тысячи. Нет, не продам», — решил Красс.

Прижавшись друг к другу, как две сестры, сцепив ручки, стояли две большие вазы из серебра с позолотой, с четкими рельефным узором снаружи и множеством серебряных монет внутри...

Они долго считали монеты, грудой высыпав их на стол. В каждой вазе оказалось по тысяче драхм.

— Итак, прибыль. Шесть за пленных, пять за золотую чашу, три за серебряную, две тысячи монетам, да обе вазы по тысяче — всего...

— Восемнадцать тысяч,— записал Эксатр.

— Небогатый город,— сказал с досадой проконсул.

— Здесь, до самой Селевкии, пет больших, богатых городов,— вздохнул Едиот.

— А ваш хваленый Иерусалим? — вдруг напомнил Красс.

— О Яхве... — прошептал еврей побелевшими губами. Он понял: при Крассе лучше молчать. Любое слово будет обращено тебе же во зло. И дел никаких с ним не падо пметь. Прогодаешь.— Иерусалим,— сказал он бодро,— уже который год верно служит великому Риму.

— Мы это проверим. Пшии запродажную на пленных! — велел Красс рабу.

Едиот, угадав человека с Востока, обратил растерянный взгляд к невольнику и увидел на руке Эксатра чем-то знакомое кольцо с алым камнем. Он испуганно наклонился, разглядел таинственную надпись — и волосы зашевелились у него на голове.

Здесь, на Востоке, странное кольцо ни у кого не вызвало зависти и неотступного желания непременно им завладеть. Оно, как заметил Красс, внушало всем тихий ужас, страх суеверный. И создавало вокруг Эксатра дух безмолвного преклонения. Значит, не зря проконсул чурался его. В этом кольце что-то есть...

— Я... передумал. Я... не возьму рабов.

— Что так? — стиснул зубы проконсул.

— Ну, время такое...

Красс подступил к нему близко:

— Ступай за деньгами,— сказал он сквозь зубы.

— Иду,— спик еврей. И побрел, невеселый и бледный, в обоз.

— Теперь — убытки.— Красс, подгребая ладонью, ссыпал монеты назад, в серебряные вазы с позолотой. — В первой когорте убито двести солдат. Во второй — триста. Прибавь к ним центурию Корнелия Секста.

— Шестьсот. Одна когорта,— не двинув бровью, занес Эксатр стил на писчей доской.

Уже вечерело. Терраса наполнилась золотистым светом заката. И монеты из серебра от него будто сделались золотыми. Ах, если б не «будто»...

— Постой... — Красс озадаченно потер тяжелый подбородок.

С подсчетом убытков у него возникло затруднение. Как исчислить их в драмах? Приход, конечно, превышает расход, это ясно. Однако итог не радует Красса. Ибо расплыв-

чат, истощен. В самом деле, сколько стоит мертвый римский солдат?..

Завязнул Мордухай.

— Ты-ы. Ха-ха.

-- Виусти.

Пришел Петроний — узнать, как чувствует себя проконсул.

— Хвала Юпитеру, ты здоров! — рванулся он было к начальнику, но Крассе пригвоздил его к дверному косяку хмурым взглядом.

«Чем я опять ему не угодил?» — похолодел военный трибун. И поспешил уйти.

Крассе увидел сквозь решетку, как Петроний, на агоре, отставив солдат, побился к легату Октавию.

Октавий, дородный, рослый, на голову выше Петрония, сделал вопросительное лицо. Петроний что-то кратко сказал и уныло развел руками. Октавий безразлично пожал плечами. Петроний сердито и быстро заговорил о чем-то, подкрепляя каждое слово резким взмахом ладони. Октавий с явным сомнением покачал головой. Петроний умоляюще взял его за руку. Октавий с любопытством склонил к нему ухо, недоверчиво усмехнулся. Задумался. Согласно кивнул. Военный трибун убедил его в чем-то.

Поскольку отсюда, сверху, не слышно слов, кажется, что совещаются двое глухонемых. Они оживленно заторопились куда-то. Что затевают? У Красса опять разболелась голова.

* * *

— Жених поцарапал? — хмуро спросил Фортунат.

Лицо Тита, от переносицы, мимо глаза, через правый угол рта, под челюсть, рассекала глубокая узкая рана.

— Нет, я его сразу уложил, — невинно сказал ему Тит левой частью рта: «шрашу... лошил». — Другой изловчился. Крепко бились, стервецы. Храбрый царод. — В отличие от других солдат, которые, как всегда после боя, угрюмо молчали и не хотели видеть друг друга, Тит был возбужден, от боли, что ли, глаза его сверкали. Он криво сплюнул красную слюну. И морщась, прошамкал: — Нашел отша? В овжаге...

Фортунат взял в обозе лопату и спустился в овраг. Отец теперь не скажет: «Конай». Сам догадывайся, что делать.

Навстречу с гулом подпялась туча потревоженных мух. Здесь, в горячей яме, уже завис приторный запах тления. Центурнион, с открытыми глазами и отвалившейся челюстью,

лежал, как будто соответственно чину, в стороне от других. Его сбросили последним. Лицо, странно маленькое и костлявое, уже подернулось желтизной.

Сын попытался закрыть ему очи и подвязать челюсть, но они не поддавались. Поздно. Зарывая, придется набросить, оторвав от хитона, на лицо кусок ткани, чтобы земля не попала в рот и глаза. Хотя мертвым, конечно, это уже все равно. Сыпь в зрачки горячую золу, не мигнут.

Долго, со страхом и отчужденностью, которую внушает смерть, смотрел Фортунат отцу в глаза. И отец, уже из других, непонятных миров, с укоризной сморгнул в глаза сыну.

«Если бы вам с тобой... пять несчастных югеров земли».

Фортунат заплакал. Он вспомнил детство. Отец никогда не обижал ребенка, не бил, не ругал, как другие отцы. Добрейший был человек! Жаль, мы это узнаем слишком поздно.

Может быть, поначалу он тоже не мог видеть кровь и грязь войны. И не отличался черствым безразличием ко всему на свете, кроме добычи. Скорей всего так и было. Природный пахарь! Его призвание — растить, а не жечь.

Фортунат, впервые за девять месяцев похода, увидел мысленно хилую мать, о которой отвык уже думать. И сестру свою, тихую, бледную. И двух румяных братьев своих.

Ну, который постарше, мальчик вроде неглупый. Собран, прилежен. На него, пожалуй, можно положиться. Но младший, бедняга, придурковат. Жаль его! Сам потерянный, он все теряет на ходу. Не уследишь — непременно угодит в выгребную яму. Зато ест за троих взрослых, толстеет.

Пропадут они без Фортуната.

«С чем, старший сын, ты вернешься домой?» — спросил мертвый старик своим отрешенным взглядом. «Не знаю, отец». — «В обозе мало что заработаешь». — «Да, понимаю. Но у нас уже есть кое-что».

Их общие деньги отец хранил в своей сумке на ремне через плечо. Она почему-то развязана. Фортунат запустил в нее руку — в спину его как бы вновь обнесло белым инаем.

Ни одного сестерция, даже асса!

А ведь у них, после трат на питание, снаряжение и прочее, должно было остаться несколько сотен драхм...

Где же они?

Он осмотрел трупы других солдат.

У всех сумки развязаны. Все ограблены.

Кто-то уже побывал здесь до Фортуната.

Кто? Греки? Им было не до того.

Неужто проклятый Тит?

Он, конечно, он. Не зря глаза у него сверкали, как новые драхмы. Но как докажешь?..

Безысходность каменной черной стеной с беззвучным громом встала перед глазами. И заслонила от них весь белый свет. Медленно, как змея от голода после недельной снычки, в груди проснулась и, шипя угрожающе, развернулась тугими кольцами злорадия.

Фортунат возник, как илдум в печь врага, лонату в бурю землю.

...И снова взошло утро.

Сколько людей родилось в это светлое утро, возвестив с петухами вместе его наступление, и сколько их навсегда закрыло глаза.

Люди о чем-то хлопочут, живут, умирают от старости или оружия, продают, передают, богатеют, беднеют, воруют и веруют, кто во что, лгут, измышляют множество каверз и преследуют хищно друг друга, дают обещания и забывают о них, а солнце, как всегда, восходит в положенный час.

И никакой библейский Иисус Навин, не говоря уже о проконсулах, консулах, императорах и диктаторах, не в силах его остановить.

Ведь человек, со всей своей мощью, способен причинить вред лишь себе и земле, которую топчет, и воде, которую пьет, и воздуху, которым он дышит...

Против солнца человек ничто. Меньше даже, чем пылинки...

— Болит? — Эксатр ощущал Крассу холодную голову.

Он с силою, как проверяют арбуз на спелость, размял ему темя, затылок, лоб и виски и туго затянул белоснежной льняной повязкой.

Чтобы снять остаточный кашель, накормил проконсула натошак редькой с медом.

— Теперь ты уже совсем здоров...

Явился, весь в регалиях, нарядный и гордый, военный трибун Петроний.

— О достолавный! Римское войско желает тебя лицезреть...

«Угодник есть угодник, — с усмешкой подумал Эксатр. — И язык у него соответствующий, торжественно-раболепный, угоднический. Все как следует быть! Одного не понимают угодники: что, прибегая не к месту к высокому слогу, они

поведено выдает ничтожность лиц и событий, о которых толкуют. Петроний значительно, утверждая себя делами громкими, не нуждается в громких словах».

Петроний принес в складках плаща утренний холод, — Красс чихнул.

— Утри нос, о достославный, — смиренно заметил Эксатр. — Нехорошо. Визу тебя ждет великий триумф...

Военный трибун между тем развернул плоский узел. В глаза проконсула больно ударил яркий узор.

— Откуда? — поразился Красс.

Он встряхнул и расправил тунику, затканную пальмовыми ветвями, затем извлек шпату золотом тогу. Толстые пальцы заметно тряслись. Петроний — где он добыл? — доставил одеяду, в которую, по обычаю, облачается триумфатор.

Эксатр заметил яловито:

— Хе! В обозе у Идиота, если хочешь, можешь купить даже царскую тиару.

Проконсул строго одернул:

— Замолчишь ты когда-нибудь?

— Уже молчу!

— Без решения сената?.. — Проконсул озадаченно провел ладонью по драгоценной ткани.

И взялся за нее так крепко, что уже никакой сенат не смог бы вырвать у него эту заветную тогу.

— О великий! — вздохнул военный трибун. — Разве ты сам не сенат?

— Хотя бы... по решению военного совета, — колебался проконсул.

— Уж тут я сам военный совет!

— И вправду, — кивнул мстительно Красс, вспомнив, как ему отказали после победы над Спартаксом даже в малом, пешем триумфе, называемом «овацией».

Белую повязку Красс не снял с головы. Как он заметил, взглянув в колерованное серебро круглого зеркала, она очень шла к его заторелому лицу.

...Площадь могла вместить три когорты. Они и выстроились по трем ее сторонам, под Священным холмом и у стен общественных зданий. Те, что вчера вели бой и захватили город. Ни звука, как будто здесь и нет никого.

— Камешный Зеподот, склонив белую голову, с недоумением взирал на связки железных цепей у себя на плечах, на

руках. У себя и у потомка своего Аполлония, который на середине рыночной площади, вскинув белую голову, с горькой печалью глядит на Зенодота.

В этом камне — душа его предка. Аполлоний знает, что было, что есть и что будет. И оттого на душе у него камень тяжелый. У тех, у кого нет души, камень за пазухой...

Проконсул звучно крикнул со ступеней:

— Сальвете! Здравствуйте, воины.

— Са-а-а!.. — взревела площадь. Солдаты вскинули копья. — Са-альве...

Заскрежетав, пятачулись цепи, с жестким звоном расправились звенья, — и Зенодот с грохотом рухнул на площадь.

И кончилась вместе с ним летопись старого поселения.

Над обломками взметнулась тонкая бечая пыль.

Голова откатилась к ногам Аполлония, — он сложил вместе ладони и низко поклонился ей. И в тот же миг на голые плечи стратега с треском лег кровавый рубец от бича. Старик резко выпрямился и стиснул зубы...

— Бу-у, — загудели буцины.

Перед Крассом поставили золоченые носилки на высоких ножках, — видно, из храма Артемиды, с лакированным легким креслом — из дома Аполлония.

Петроний, как божеству, поклонился проконсулу и сделал обеими руками приглашающее движение.

Над полем, над войском неслось громкое, протяжное: «Сальве! Са-а-а!..»

Грифы, что слетались с окрестных гор к зловонному сврагу, тяжело взмыли к небу и с досадой закружились над четким строем когорт. Как непремный атрибут военного успеха. Те. внизу, эти сверху. Вековечное содружество...

Все заметили повязку на голове проконсула:

— Ранен...

— Сражался в первых рядах...

— Герой...

— Себя не жалеет, хоть и старый!..

Не весь легион вчера воевал, многие не знали о ходе событий.

Эксатр шепнул Мордухаю, — они шли позади в свите проконсула:

— Постарайся Петропий с Октавием! Не зря послались весь вечер из когорты в когорт, затевали у костров беседы.

Ну, Петроний — понятно, из-за чего хлопочет. Он хочет стать легатом. Но зачем лезет из кожи Октавий?

— Мэ-э?

— Не хочет перестать быть легатом?

— Гы-ы! Хэ-хэ...

За носилками триумфатора, прикрепленный к ним цепью, шатаясь, бред Аполлоний, — ликторы Красса гнали его, мерно бичуя.

Солдаты плевались:

— Негодяй!

— Преступник...

— Напал на наших...

— Истребил центурию...

По обнаженному телу стратега хоть Эвклиду учиться: оно так густо, косо, вдоль и поперек, исхлестано прямыми линиями, углами, ромбами и квадратами. Впрочем, не выйдет, — как чертежи на листе размывает вода, они у него на коже размыты кровью.

Аполлоний не кричит, не плачет. Гордый старик. Вместо молитв он читает стихи Господа:

Если бы мог я не жить
с поколеньем железного века!
Раньше его умереть я хотел бы
вль позже родиться...

Все готово к торжеству.

Врыт над оврагом «трофей» — высоченный ствол дерева с вражескими щитами, обломками мечей и копий на коротко обрубленных суках.

Сбит и увешан коврами, венками помост для триумфатора.

И установлен крест — столб с перекладиной для Аполлония.

Знакомое сооружение. Шесть тысяч мятежных рабов повесил Красс на таких крестах, одолев Спартака, вдоль дороги, ведущей из Рима в Капую.

...Проконсул неторопливо взошел на помост. Никогда не следует спешить на глазах у толпы. Великие люди — особые люди, и ходят они по-особому.

Зазвенел, срываясь от волнения, голос Петрония:

— От имени римского войска! — Он высоко воздел руки с венком из листового золота, сработанным под лавровый.

Тоже, видно, из храма Артемиды.— Объявляю тебя, Марк Лициний Красс... императором!

И благоговейно возложил венок на голову Красса.

Красс подобрал и туго сжал обвислые губы и пуще выпятил нижнюю челюсть. Чтобы придать себе еще большее сходство с царем Эвтидемом, изображения которого он видел на старых греко-бактрийских монетах. И с кем, как говорили, он имел в лице немало общих черт.

Но тут у него в носу вновь нестерпимо запершило. Красс громко, на весь легион, с воплем чихнул, содрогнувшись, и тяжелый венок резко сполз пабскрепъ.

Распятый старик Аполлоний взглянул на Красса с креста, усмехнулся с предсмертной грустью — и отвернулся...

Командиры, по воле Красса, вынесли к войску мешки с серебром и выдали каждому «милес» — рядовому солдату, в честь победы, по одной драхме.

Тит в этот день был назначен центурионом вместо погибшего Секста.

Фортунат не получил ничего.

Кассия мучил вопрос: знал Красс заранее, что его хотят объявить императором, то есть повелителем, верховным главнокомандующим, или это явилось для Красса, как и для Кассия, неожиданностью?

Если заранее знал, почему допустил, если позже узнал — не прекратил недостойное лицедейство? «Восстание народа». Стыдно! Александр Великий тоже был сумасброден, жесток, но никогда не был смешон...

Оставив пирующих в огромном шатре высших начальников легиона, квестор Кассий под охраной трех ликторов вышел проверить дозоры.

Весь лагерь пирует.

Не нужно тратить нынче на маркитантов: хлеб, вино, сыр и мясо — всего вдоволь взяли из многочисленных кладовых Зенодотии.

Греки народ запасливый.

Уже почь наступает, повсюду горят костры. Солдаты пьют, поют и смеются. Победа! Услышав у одного из костров особенно громкий хохот, Кассий незаметно подступил к нему из темноты.

Тут немало собралось пароду.

Кто-то, кривляясь при свете костра, потешает развеселившихся солдат.

А! Это пьяный невольник Эксатр. Единственный из вар-

варов, который не вызывает у квестора желания избить его. Может, потому, что остроумен?

Он разыгрывает в лицах диалог Пиргополиника — «Победителя городов и башен» и его паразита-угодника Артотрога — «Хлебогрыза» из комедии Плавта «Хвастливый воин». Поразительно. Пиргополиник говорит у него мягким, густым голосом Красса, Артотрог — трескучим голосом Петрония:

А то еще ты в Индии
Одним ударом руку перебил слону...

Пиргополиник

Как руку?

Артотрог

То есть ляжку, я хотел сказать...

Солдаты грянули:

— Ха-ха-ха!

«Волеизъявление народа»? Ну! Этих не проведешь красивой болтовней. Они все знают.

Пиргополиник

Ты помнишь...

Артотрог

Помню! Сотня с половиною
В Киликии да сто в Скифолатронии,
Полсотни македонцев,
тридцать в Сардах — да,
Вот что народу ты убил в единый день.

Пиргополиник

А в сумме что?

Артотрог

Семь тысяч в общей сложности.

П и р г о п о л и ц к

Должно быть, столько.
Счет ведешь ты правильно.

А р т о г р о г

А как ты в Каппадокии?
Убил бы враг
Пятьсот одним ударом:
жалко, меч был туп...

Кассий, развеселившись, от души смеялся вместе со **все-**ми. Но это могут заметить и передать «императору». Но навлечь бы беды на свою голову. И квестор крикнул строго:

— Прекратить!

Все сразу стихли. Раздвинулись. Эксатр обернулся, погасил смех на устах и в глазах и сказал скучающе, но с расстановкой, значительно:

— Пусть мудрый квестор не сердится! Он знает: **шутам** все дозволено.

— Да-а,— вздохнул Кассий уныло. Квестор понял **дву-**смысленность. — Все дозволено шутам...



ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

НОЧЬ В ХРАМЕ ЛЮБВИ

«О Ардвисура Анахита! Окажи мне помощь. Если я благополучно вернусь на созданную Агурой землю, в свой дом, я воздам тебе тысячью жертвенных возлияний из Хомы и млека, очищенных у вод Рангха.

И сошла к нему Анахита в образе деви прекрасной, сильной и стройной...

Авеста

— Благодаря цокровительству Марса,— прознес торжественно Петроний,— и высокой мудрости императора, нами достигнут большой успех! Теперь, развивая его, подлежат идти немедленно вперед, на Селевкию. Войска воодушевлены. Мы с ходу возьмем ее...

Военный совет. Без него уже нельзя обойтись. Война, по существу, едва началась, следует решить, что делать дальше.

Они собрались ранним утром, до наступления жары. нестерпимой здесь даже осенью.

— Да, — неохотно поддержал Петрония легат Октавий.

Он знал: все не так. Все гораздо сложнее,

Угодникам, подобным Петронию, недосуг вникать в дело, к которому они приставлены. Лишь бы удержаться возле доходного дела,— они ведь и приставлены к нему именно из-за угодничества.

Как же он, Октавий, человек вроде неглупый, опытный военачальник, оказался приставленным к темным делникам Петрония?

Сбил его с толку, ошутал военный трибун. Скольких людей, преследуя свои скользкие цели, один такой ловкач может вовлечь в ложное положение.

И Октавий сказал, чтобы хоть что-то сказать:

— Малейшее промедление на войне равносильно поражению.

— А неразумная поспешность к тому хуже,— заметил квестор Кассий.

От рассветной серости, что ли, лица у всех на рыночной площади, где заседал совет, казались хмурыми, недовольными.

Но и в самом деле восторгаться нечем! Не каждый из десяти пачальников когорт, тридцати командиров манипул и шестидесяти центурионов легиона искренне верит в «высокую мудрость» Красса.

Многие сознают, что их заставили играть комедию. Но война — не комедия! Война это смерть. А что серьезнее смерти? Уж она-то беспорна. В отличие от жизни, которую всякий толкует, как взбредет ему в голову.

— Раз посетив, мы оказались без снаряжения...— Он напомнил совету о кораблях с грузом осадных машин, затонувших от зимних бурь на пути из Брундизия в Дирахий.

Что теперь будет? Участники совета испуганно затаили дыхание.

Но Красс, к их удивлению, остался безучастен к выпаду Кассия. Он даже не вскинул глаз, опущенных к столу, за которым сидел. Будто забыл, зачем он здесь, беспечно любуясь, как по лакированной поверхности стола разливается отражение светлеющего неба.

— Продолжай,— благосклонно кивнул «император».

К небесному свету и ко всему прочему, что отдаст «поэзией», он, как всегда, глубоко равнодушен. Его побуждает к гордой сдержанности высокое новое звание. Повелитель, главнокомандующий терпеливо, с должным вниманием, как тому положено быть, слушает подчиненных. Только и всего.

— Селевкия — не Зенодотия,— продолжал квестор Кассий. Он чуть не сказал: «не жалкая Зенодотия». Но пропустил

тил благоразумно слово «слабая», ибо одним этим словом мог разрушить все. — Большой город, хорошо укрепленный, могучий. Столица. Не взять без тяжелых осадных приспособлений. На это уйдет немало времени. В конце концов, не греков несчастливых бить пришли мы сюда, — подчеркнул квестор Кассий. — Цель пава — парфияне.

— Что-то их не видать, — усмехнулся Петропий. — Испугались, где-то затаились.

— У нас нет хорошей конницы. А парфияне, как известно, конный парад. Чтобы их разгромить, нужно найти и догнать, не так ли? Но без сильных и быстрых коней их не догонишь. И подвижной легкой пехоты мало у нас, а в боях с таким противником, как парфияне, без нее никак не обойтись...

Красс молчит. Кассий прав. Он человек осторожный и дальновидный.

Но плох высший начальник, который сразу, без многозначительных колебаний, дает понять, что он знает нечто, чего не знают другие, соглашается с мнением нижестоящего.

И Красс молчит. Красс размышляет. Нужно найти решение, которое, по возможности совпадая с мнением Кассия, все же выглядело бы решением Красса.

Римлянам надо было бы сделать своей эмблемой не волчицу и не орла на значках легионов. А скорее — гуся. Ибо гусей не раз приходили им на помощь. Вот и сейчас гусь вызволил Красса из затруднительного положения.

Не сам гусь. — его давно уже съели, — а крылья его, символизирующие быстроту и легкость. Они грепещут на конце тонкого жезла в руке молодого человека с пироченной выпуклой грудью и сухими ногами бегуна.

— Гонца!

Он сбавил ход уже на виду Зенодотия и, весь мокрый от пота, дышал глубоко и равномерно.

«Император», — отныне так и придется его называть, на меньшее он никак не согласен, — взял у гонца письмо, распечатал.

И его гранитное лицо изнутри озарилось светом, будто солнце взошло.

— Ты говорил о хорошей коннице, квестор, — промурлыкал довольный Красс. — Мой сын Публий извещает, что плет к нам от друга нашего Юлия Цезаря с тысячей отборных всадников... — Красс не смог сдержать широкой улыбки, — и как раз в это время и впрямь взошло солнце. — Все! Решение: возвращаемся в Сирию...

Над Зенодотией кружились грифы.

— Хорошо, я возьму тебя в свою центурию, — сказал Тит неохотно. — Из уважения к имени твоего покойного отца. Но знай: я не менее строг, чем Корнелий Секст!

— Не бывает мягких центурионов, — усмехнулся Фортунат. — Мягкий человек не может стать центурионом. Но солдатом он может стать! — произнес Фортунат ожесточенно.

Тит уловил в повадках приятеля что-то новое, острое, холодное и упорное — и сам не заметил, как отодвинулся.

Он стоял на зубчатой городской стене, отсюда был хорошо виден желтый овраг в черных пятнах кустарника. Мертвых уже забросали землей, по грифы, будто зная, что трупов им еще достанет, продолжали неспешно кружиться над Зенодотией.

— Нам нельзя быть мягкими, — молвил Тит доверительно. — Красс уходит, мы остаемся. Караульный отряд. Считай, один перед лицом всего Востока.

Фортунат, не глядя на него, сказал угрюмо:

— Я... не подведу.

Но Красс не сразу удалился в Сирию. Он вызвал к онустошенной Зенодотии легионы, что оставались в лагерях за желтыми холмами, двинулся с ними вновь на восток и вывел к Харрану — так называемым Каррам в долине реки Белиссы, южнее впадающей в Евфрат.

Жители Карр, прослышав о страшной участи соседей, с покорностью вышли навстречу римскому войску. В руках старейшин сверкали золотые чаши с землей и водой. Они несли «императору» и само солнце, отраженное в золотых этих чашах.

— Глупый старик, — вспомнил Красс.

— Ты о ком? — спросил квестор Кассий. — О правителе Зенодотии?

Они ждали представителей города на холмах у спуска в долину.

— Нет! Что о нем вспоминать? Грифы уже расклевали его труп на кресте. Я о народном трибуне Агее. Он страшил меня в Риме солнцем Востока: выжжет глаза и все такое. Но, как видишь, оно пока что милостиво к нам.

— Да, — вздохнул квестор Кассий. — Пока что...

Забрав у жителей Карр все ценное и оставив им взамен караульный отряд в несколько сот легионеров, — всего же, во всех захваченных городах, семь тысяч пехоты и тысячу всадников, — Красс медленно тронулся вниз по Белиссе,

взял без шума Икны и Никефорий и переправился возле последнего через Евфрат на сирийскую сторону.

Здесь войско круто повернуло на запад. И здесь раб Эксатр, с тоской поглядев назад, на Мордухая, который пыхтел у него за плечами, не отставая ни днем ни ночью, обратился к хозяину с неожиданной просьбой:

— Отпусти меня, господин.

В последнее время его не узнать. Он притих. Не дурачится. Ходит трезвый и хмурый.

— Куда?— удивился Красс.

— Домой. На родину.

Забавно! «Император» спросил с сарказмом:

— И где она, твоя родина?— Это слово, применительно к рабу, показалось ему смешным.

— Я уже почти дома,— с грустью вздохнул Эксатр.

— Ну, и что бы ты стал делать на родине?

— Человек образованный для чего-нибудь да пригодится в своей стране,— ответил серьезно невольник.

— У раба нет родины!— всыхнул Красс.— Она там, где его господин. У ног его,— уточнил «император».

— Ах, все не так! Все не так, о великий воитель. Но я не буду спорить с тобой. Бесполезно. Хочу задать вопрос: зачем я тебе? Отпусти. Описание твоего фантастического похода на край света, в самых выгодных красках, может с успехом составить военный трибун Петроний. Отпусти! Все равно от меня мало проку...

Но Красс продолжал опасную игру с этим строптивым рабом:

— Я заплатил за тебя десять тысяч драхм.

«Пять», — возразил мысленно раб.

— А затраты на твою одежду и питание?— повысил голос хозяин.— Вернешь пятнадцать — освобожу.

— Где я их возьму?— пожал плечами Эксатр.

— Отдай кольцо и ступай, куда хочешь,— подкинул приманку Красс.

— Нельзя,— покачал головой Эксатр.— Оно не мое. Его папа вернул госпоже.

— Какой такой госпоже?

— Богине Анахите...

Все живое спешило уйти с дороги Марка Лициния Красса.

В страхе взлетали пичуги хохлатые. Львы, которых немало водилось в этих местах до самой Атропатены, трусливо скрывались в тени черных кустов на желтых холмах.

Извивались в ужасе змеи, стремясь скорее вырваться из собственных причудливых следов.

Даже жуки павозные торопились подалее укатить злобные серо-зеленые шарпки. Отнимет Красс! Он не побрезгает...

«Где же парфяне? — недоумевал «император». — Я, зевая от лени, беру, разоряю их города, от них же — ни звука. Может, их кто-то выдумал, как Гомер своих одноглазых циклопов? Хе-хе. Странный народ. Странная война. Мне скучно».

— Теперь в Антиохию? — предположил Едиот. — Я думаю, именно там императору будет удобнее жить, когда к нему изволит пожаловать доблестный сын его Пурбий?

Он первым на Востоке применил в разговоре новый титул Красса. И Красс почувствовал к нему за это нечто вроде братской благодарности.

Никто из видных римлян, кроме Петрония, не называл его императором. Для них он оставался цезарем — наместником Сирии.

В этом сказывалось, как справедливо подозревал «император», их тайное недоверие к его военным способностям. Что вызывало в нем еще большую ненависть к ним и желание доказать свое превосходство над всеми.

Что касается Едиота, ему все равно.

Император? Пусть. Объяви ты себя хоть сыном бога Амона, как царь Александр, который, тем не менее, умер, по слухам, от перепоя, как обыкновенный бездельник, — только не мешай нам делать свое дело.

Удивительный человек Едиот. Богатейший торгаш на Востоке, он ходит в неопрятной дешевой хламиде, как последний погонщик верблюдов. Не потому, что хитрит. Он и впрямь не придает никакого значения внешнему блеску. Деньги нужны ему ради денег. Такая болезнь.

— Я мог бы его подождать в Иерусалиме, — сказал невозмутимо Красс. — Скажем, в храме Яхве. Кажется, от Алеппо ведет дорога на юг?

— Иерусалим далеко, — вздохнул Едиот, тонко чуя, куда клонит ромей. — Если императору нужен богатый храм, где, не скучая и общаясь с богами, он хотел бы ждать сына, то здесь поблизости есть такой.

— Что за храм? — оживился Красс.

— Богини-матери в «священном городе» Иераполе, — пустился было в подробности Едиот, но, уловив на себе косою неприязненный взгляд Эксатра, скромно умолк.

— Ну?

— Спроси у него,— кивнул торгаш на раба,— он все знает.

— Богиня-мать. Как ее зовут?— обратился Красс к пельничку.

— У нее много имен,— сказал неохотно Эксатр.— Столько же, сколько народностей поклоняются ей. Астарта. Нанайя. В наших краях ее зовут Анахитой. У здешних греков она — Атергатис. Богиня-мать создала из слизистой влаги зачатки всего сущего и открыла для нас первоисточник всех благ.

— Атер...

По созвучию с латинским «темный, цвета сажи» богиня представлялась Крассу угольно-черной, в закопченном храме, где приносят ей в жертву, должно быть, древесный уголь. Ну что ж. Пусть хоть уголь. Он весьма пригодится войску на зимних стоянках.

— Где, говоришь, этот храм?

Но Единоуту будто горячим углем выжгло язык.

— Что за люди вы здесь, на Востоке?— вспыхнул «император».— Мудрите, хитрите. Говорите, когда пужно молчать, молчите, когда пужно говорить. Делаете тайпу из всякой чепухи.

— Не бывает в жизни чепухи,— прищурил глаза Эксатр.— Если, конечно, самую жизнь не считать чепухой. А храм Деркетю,— это ее настоящее имя, хеттско-арамейское,— стоит в Мевбидже. К северу отсюда.— У греков он Цераполь.

— Еще в Деркетю?— фыркнул Красс.— У вас тут у всех неразбериха в голове, оттого и неразбериха в пазваниях. Я наведу здесь порядок! Будет один язык — латинский, и все названия рек, гор, городов зазвучат на римский лад.

— Если позволят боги,— заметил Эксатр, как всегда педоступный, себе на уме.

* * *

Золотой квадрат стены, в нем другой, вдвое меньше, глухо черный, пустой.

Выше этой небольшой стены, а также слева и справа от прямоугольной площадки перед нею и позади Красса круто вздымались к потному холодному небу, чуть отмеченные золотым слабым светом спизу, другие объемы и плоскости храма. Но они растворились где-то там, на высоте, и не гнетут; внимание болезненно приковано к ярко освещенной стене в тревожно-темной глубине двора.

Золотой четкий квадрат, в нем другой, вдвое меньше, угольно черный и жуткий. Вход в тайну.

По обе стороны от входа прилегли на страже два сфинкса с львиными лапами и женскими лицами. Глаза их томно прикрыты, в опущенных углах полных чувственных губ — скорбь забытых желаний...

Тишина. Не дрогнут кинарисы. Не шелохнутся языки ровного пламени в двух огромных светильниках.

Неподвижны ресницы у женщины с арфами, бубнами, флейтами, что окаменели, как сфинксы, под золотой стеной у черного мертвого входа.

У них странные лица, у этих красивых женщин, — чеканно правильные, но жестковатые, крупноватые и грубоватые. Грудь бесформенно расплылись.

— Что за уродины, — заметил Красс.

Для него поставили кресло в начале двора, и он скучал, ожидая, когда начнется представление.

Эксатр с усмешкой ответил снизу, с ковра:

— Это евпухи...

Тьфу! Что за страна. У прекрасных бронзовых женщин — львиные лапы, у мужчин — женское обличье.

Ночь. Безмолвие. Ни малейшего движения. Скорбь забытых желаний в обвисевших пухлых губах бронзовых сфинксов.

Но она не рассчитана так, тишина, чтобы своей томительной длительностью невольно разбудить воспоминание.

И оно проснулось. Ночь вздохнула изнемогающе. Шевельнулось и разгорелось ярче пламя в светильниках.

Глаза у сфинксов приоткрылись, углы бесстыдных губ приподнялись в улыбке. Золотая стена потускнела, зато черный хмурый квадрат в ней потеплел изнутри, отдаленно и медленно наливаясь жизнью. Он постепенно озарился ядовитым багровым светом.

Как легкий гладкий ветерок, вспорхнул чуть слышный вкрадчивый голос. Смычок прикоснулся к струне, и возник глубокий звук, сладостно-требовательный, как позыв.

Все ярче, как два восходящих солнца, разгорались светильники в больших стеклянных шарах, громче звенели и пели арфы, скрипки и флейты; невыносимое напряжение достигло предела, — и к небу взметнулся тягучий рыдающий крик.

Он умолял, обнаженный, он предлагал. И в теперь уже алом квадрате в потемневшей стене, как зримый образ страсти, появилась она.

В мучительной истоме она провела обеими ладонями по

визу живота, плавно отвела их в стороны, с усилием, как бы потягиваясь, но кругом вскинула над головой — и резко уронила на грудь.

В тот же миг один из евнухов ударил в бубен.

И застучал негромко, легко и дробно, и она, легко и ритмично приплясывая, вышла на ковровую красную дорожку.

Что-то воздушное трепетало на ней — покрывало не покрывало, нечто вроде струящегося дыма; неувольимо сверкали ожерелья, браслеты на голых руках и ногах. Виднелись отчетливо лишь глаза, огромные и безумные, да узкая, в ладонь, повязка из черного бархата, в блестках, на крутых бедрах.

Между тем ступа каким-то образом уже сделалась вовсе угольно-черной, зато квадрат входа, наоборот, засверкал ярким золотом, в котором просвечивал розовый узор.

Она приближалась, маленькая из стороны в сторону, как пестрая бабочка.

Бубен рокотал все громче. Он уже гремел.

И, повинуясь его отрывисто резкому ритму, отбросив руки, откинув плечи назад и далеко выпятив голый живот, подогнув колени, быстро и четко перебирая легкими ступнями, она конвульсивно и размашисто вздрагивала всем телом...

Мордухай у правой ноги хозяина густо сопел. Эксатр у левой ноги хозяина усмехался. Кассий, Октавий, Петропий за спиной у Красса смущенно ухмылялись. Красс — зевал.

Ему хотелось спать. Как настоящий патриций, он презирал музыку, танцы и пение, считая их развлечением легкомысленной черни. Гордый Рим не Эллада с ее неумолчным тренькашью на арфах...

Танцовщица, задыхаясь, расстегнула повязку на бедрах и с призывным смехом кинула ее к ногам Красса.

— Чего она хочет? — с недоумением спросил «император».

Хотя ни у кого на этот счет не оставалось сомнений. Все понимали. Красс — не понимал.

— Она жрица храма любви, — сказал Эксатр. — Зовет тебя на ложе богини.

— Непотребство, — возмутился Красс.

«Совратить весталку, обязанную беречь свою девственность, ты не постеснялся, — злобно подумал раб. — А с девушкой, чье ремесло — любовь, тебе зазорно?»

— Чем же служить богине любви, как не любовью? — сухо заметил Эксатр. — Мы здесь, на Востоке, придаем ей чрезвычайное значение. Гораздо большее даже, чем в...

танию, довольствуясь горстью сушеных плодов. Каким знаешь, такой. Как говорит Господь: «Сирпус сушии колени и головы им беспощадно, зноем тела опалая»... Еда — для желудка, — закончила Эксатр, — любовь — для души. А человек — это душа.

— Глупость! Поэзия, — махнул рукой «император».

Он все же встал. Туго, по-старчески, наклонился и подобрал повязку жрицы, — посмотреть, что такое на ней блестит.

Алмазы! Правда, мелочь, по...

Красс стиснул женскую повязку железной рукой, — теперь ее у него никто не вырвет.

Жрица, посчитав это за проявление благосклонности к ней, заметалась в экстазе под резкую музыку, отбежала, извиваясь, и со стоном упала перед ним на колени.

Но Красс не смотрел на нее, распластавшуюся на ковре, что кружилась всем телом, как цветок от сильного ветра. Он разглядел впереди, в золотом квадрате, что-то такое, что разом согнало с него сонливость.

Он хотел обойти танцовщицу, но она мешала ему, хватаясь за его колени. И тогда, огромный и грузный, он тяжелым пинком с досадой сбросил ее с ковровой дорожки, беззащитную, легкую, маленькую.

Тихо вскрикнув, она откатилась под боковую колоннаду двора, в темные кусты.

...После эротических танцев при звуках диковинной музыки и в блеске таинственных лучей Красс ожидал увидеть богиню золотой, с воспаленными от страсти глазами.

Но взгляд ее изумрудных, с черными агатами, ясных глаз был задумчив, холоден, строг. И вся она, высокая, статная, из розоватого мрамора, была пряма, строга и холодна. Лишь улыбка на полных губах, гуманно-неясная, не поддающаяся четкому определению, как бледный чамек, придавала этой строгости коварную двусмысленность.

«Как сама жизнь, — сказал бы раб-философ Эксатр. — Как сама любовь». Но он задержался где-то позади.

Патриция ослепило ее пурпурное, в золотых звездах, покрывало, широкими складками ниспадающее с головы и плеч до пальцев ног.

Красс схватил покрывало, рванул, — и богиня разом, под звон звезд, вся обнажилась. Камень, конечно, даже не дрогнул. Но Крассу показалось, от игры света, что ли, что в зеленых больших глазах богини мелькнуло глубокое удивление.

— С нею так еще не обращались.

Позади, в широких пишах, мерцали узоры на крупных золотых вазах. Ха-ха! Совсем не древесный уголь приносят ей почитатели в жертву...

Варевела римская бубина. И, как все живое умоляет, когда рыкнет могучий лев, испуганно стихли арфы и флейты.

По приказу Красса легионеры, тяжело тоная, разбежались по храму и перекрыли все входы и выходы, подъемы и спуски. Печезли евнухи. Светильники погасли. Зато под луной везде засветилось железо племов, панцирей и коней.

Усталый Красс уснул на мягком ложе у ног богини, завернувшись в ее покрывало. Богиня при свете легкой лампы с недоумением глядела на него с высоты.

...Под боковой колоннадой двора, в темных кустах, пахнувших поздними розами, зажав ладонью ушибленный бок, сдержанно плакала жрица:

— Деркетю накажет... если я ничего ей не принесу.— И звучало это как будто: «Тетушка будет ругать». Видно, ей, с малых лет живущей при храме, богиня и впрямь казалась доброй, но строгой тетей родной, что дает кров и хлеб, по которой надо взамен угождать.

— Не накажет.— Эксатр погладил девушку.— Отдай ей это...— Он сунул ей в руку что-то горячее, круглое.

Даже здесь, под колоннами, в сумраке, вобрав в себя рассеянный лунный свет, оно вспыхнуло алым пламенем.

— Кольцо богини Деркетю!— ахнула жрица.— Откуда оно у тебя?

— Не спрашивай. Я хотел, уйдя от Красса, поклониться богине и сам вернуть ей кольцо. Не удалось.

— Что теперь будет с нами?

— Не плачь. Апахита не выдаст нас,— пазвал оп богиню по-своему.

Кто бы подумал, что в этих гиблых местах, в стороне от больших дорог, у невысоких гор, обожженных солнцем, затаился в низине зеленый маленький рай. Родник холодной воды орошал его; в благодарность богине, дающей жизнь, и возвели здесь когда-то замечательный храм.

Человек, попавший в оазис после долгих дней пути по знойной желтой пустыне, напившись чистой воды и омывшись, в слезах припадал к ногам Деркетю и отдавал ей все самое ценное.

Жители городка с сомнением встретили Красса. Все они — мужчины, женщины, дети — служили при храме. Уже десять лет, как Сирия стала провинцией Рима, но завоева-

тели сюда еще не заглядывали. Лукулл не дошел до Иераполя, Помпей не знал о нем.

Единот посоветовал Крассу:

— Скажи, что ты хочешь поклониться великой богине. Поднеси что-нибудь из того, что захватил у греков. Потом отберешь...

Красс так и поступил. Жители не посмели закрыть перед ним ворота. В набожность Красса они скорей всего не поверили. Зато хорошо знали о судьбе Зенодотии. Что могла поделаться стража храма со своими тонкими ножами против легионов, закованных в железо?

До сих пор лучшей охраной служили страх и почтительность верующих.

— Деркетю накажет. Она дарует жизнь — она может лишить ее...

— Мэ-э,— разбудил Мордухай господина.

Под утро, сполна насытившись лаской раба Эксатра, жрица любви с легким сердцем змеей проскользнула к богине, водворить кольцо на место. Здесь и настиг жрицу раб Мордухай...

— Гы-ы...— Он указал Крассу на скорченный, с сине-лиловым лицом, труп у стены.

Губы жрицы распухли, сделались черными. Она брыкалась. Она не хотела его. Он ее задушил.

— Хэ-хэ...— Мордухай раскрыл ладонь. В ней, огромной и мягкой, лежало кольцо богини Деркетю.

Несмотря на яркий утренний свет, оно не сверкало больше, не загоралось алым таинственным пламенем. Рубин казался безжизненной тусклой стекляшкой...

Наконец-то! Красс схватил заветное кольцо. Оно не належало. Красс макнул толстый мизинец в масло лампы и с великим трудом, торопясь, напялил кольцо на него.

Он почувствовал резкую боль в суставе, но стерпел ее. Ему непременно хотелось завладеть этим странным кольцом. Сделавшись его хозяином, смутно думал Красс, он подчинит загадочный камень своему трезвому разуму и убьет в нем глупую поэзию.

— Убрать,— кивнул он на тело жрицы.

...Воистину, здесь, на Востоке, придавали любви безграничное значение: столько несметных сокровищ обнаружил Красс в экзотическом храме.

В Иераполь стекались приношения из Каппадокии, Осрешы, Коммагены, Армении, Палестины. И даже из дале-

кой Согдианы. Из всех государственных образований, возникших на развалинах великой державы Селевкидов.

Много-много понадобится дней, чтобы перебрать и переписать все это добро. Вот уж теперь-то у Красса засверкали от страсти глаза...

— Нет уж, хватит с меня! — разъярился Эксатр, когда его разбудили на подстилке в кустах и позвали к хозяину. Он утомился ночью, не выспался.

Эксатр заметил кольцо богини Деркетто на руке «императора» и весь побелел от ужаса.

— Я тебе не помощник в этом паскудном деле! Ты ограбил богиню-мать. Ты ограбил любовь. То есть самое икспь. Ты надругался над душой всего сущего. А жизнь не прощает кощунства прѳтив нее. Деркетто накажет, — сказал он словами жрицы, холодея от догадки, что сделали с нею.

Его трясло, как человека, на глазах которого зарезали родную мать.

— Конец моему терпению! — вскричал и Марк Лициний Красс. — Надоело с тобой возиться.

Теперь, когда кольцо оказалось у него и перестало освещать Эксатра своим непонятным светом, Красс прояснившимся взором увидел раба во всем его ничтожестве.

Он сделал знак Мордухаю.

Мордухай страшным ударом свалил Эксатра с пог.

Пока поверженный раб, распластавшись под колонной, лежал в беспомоществе, кузнецы из обоза надели ему железный ошейник с длинной и прочной цепью. Очнулся Эксатр от дикой боли во лбу, — будто глаза ему ослепли, сунув в них раскаленное железо.

Он закричал, забился, по его держали крепко.

— Полюбуйся! — Красс злорадно поднес к его безумным глазам круглое зеркало.

И Эксатр прочитал у себя на багровом лбу отраженную надпись: «Верни беглого Крассу».

Заклеймили! Лучше б они псхлестали его бичами.

Такой человек, как он, способен выдержать любую боль, но не сможет вынести позора.

— Деркетто накажет! — заплакал невольник. — Запомни, Красс: она тебе отомстит...

— Хе, поэзия!

Эксатр наотрез отказался считать и переписывать добычу:

— Ты выжег мне мозг.

Его приковали к низу колонны, чтобы пришел немощного

в себя. И дергаясь на прочной цепи, он временами выл, как собака.

— Вой, — со смехом поощрял его Красс. — Наконец-то ты принял обличье, достойное пса раба.

— О Анахита! — молплся Эксатр. — О Ардвисура-Анахита...

Он пскусал себе руки и чуть не обломал острые зубы о железную цепь.

И вдруг запрюкнул голову, закрыл глаза — и занел. Никто никогда в этих краях не слышал песен таких — тягучих, надрывистых, всего из пяти переливчатых тонов, на таком гортанном, грубом, шипящем языке.

Может, и для него самого это был чужой язык, усвоенный где-то в долгих скитаниях. Песня другого народа, другой даже расы: в ней звучало эхо далеких лесистых гор и сквозила необъятность железных стеней под чистым синим небом.

Эксатр бросил песню, едва начав, показал, тараща глаза, язык Мордухаю, сплюнул — и завалился спать.

— Не горит, — сказал он с усмешкой. Хотя лоб у него горел. Душа — тоже.

— Хэ-хэ. — Мордухай толстым пальцем постукая себе по виску. Мол, рехнулся вам умник.

Так был посрамлен заносчивый варвар, который не мог мириться с неволей. Красс торжествовал. Он одержал победу над строптивцем...

* * *

Красс пожаловался Едноту:

— Письмоводитель мой... захворал. Не сможешь ли мне пересчитать добычу? Я не знаю здешних цен.

— У меня есть отличный письменоводитель! — сказал с готовностью Еднот. — Я и сам тебе помогу.

Негоциант привел молодого приказчика с бледным тонким лицом, тонким носом, большими черными глазами и малевькой черной бородкой.

— Натан его имя.

Натан серьезен, тих и внимателен, сама исполнительность.

Они, помолвившись, приступили к работе. Ни одного браслета, камня, кольца или кубка, ни одной монеты, диадемы, подвески, бляхи, серьги, перламутровой бусины, вазы не пропускал Красс мимо внимания. Своими руками ощупывал каждую вещь. Все до последней дешевой стекляшки бра-

лось на учет; уже в первый день они насчитали добра на несколько десятков тысяч драхм.

— Тут его на миллион! — восхищался Едиот.

У него дрожали руки. Впрочем, как и у Красса. Лишь Натан невозмутим. Он спокоейно, четко и деловито парализовал римские цифры на восковых писчих досках. Толковый юноша.

— Не отдашь его мне? — шепнул завистливо Красс Едиоту. — От Эксатра, я вижу, больше не будет пользы. Проклятый Лукулл! Подсунул мне чудо...

— Что ты? Племянник. Учится у меня торговому делу. А вообще-то, — совсем понизил он голос, — сколько дашь?

— После, после...

К вечеру они измотались. Красс велел принести поесть. Он брезгливо следил за тем, как ест Едиот. Грязный, вопиющий, во всем неспрятный, он и ел неопрятно: разодрал рукавицами соленую рыбу и, не утруждая себя ее очищением, чавкая, грыз ее, как зверь.

Только деньги он считал красиво: его большие грубые лапы от прикосновения к золоту приобретали музыкальную чуткость и нежность...

Когда старики задремали, Натан взял плоский хлеб, кувшин с вином, разбавленным водой, и вынес Эксатру.

— Я потрясен твоей добротой! — воскликнул Эксатр ядовито. К хлебу не прикоснулся. — Прямо хочется плакать, да выжег мне слезы Красс. Не боисься: Яхве накажет за то, что ты бросил хлеб нечужеземцу, рабу?

— Мы все тут рабы, — тихо сказал Натан.

— А, — Эксатр пригляделся к нему, — похоже, ты не совсем глуп. — Он отломил от хлеба кусок, сунул в рот. — Слышал, грамотей, о Вавилонском плене?

Натан, присев, задумчиво чертил осколочком известняка на камешной плите понятные лишь ему одному письмена.

— «И выселял весь Иерусалим, — вздохнул Натан, — и всех князей, всех художников и строителей... всех храбрых, ходящих на войну, увел Навуходоносор на поселение в Вавилон», — припомнил он строки из писавия.

Его большие черные глаза смотрели печально, как будто то, о чем он говорил, случилось вчера, а не пятьсот тридцать с чем-то лет назад.

— Тогда ты должен знать, кто освободил ваших предков из Вавилонского плена и вернул их домой. — Эксатр выпил вина.

- Персы. Царь Кир.
- То-то же! А парфяне — наследники персов.
- Ты перс, парфянин?
- И то, и другое. И еще кое-что. Мы все на Востоке

соседи: живем под солнцем одним, одним воздухом дышим, едим один хлеб. Должны держаться друг за друга. А вы с хозяином преданно служите Крассу — чужаку, заклятому врагу парфян. И не только парфян. Он ненавидит весь мир. Даже свой Рим. Погодите, он доберется и до вашего храма Яхве.

— Посмотрим, — тихо сказал Натан. Он занес ладонь над начертанными закорючками, чтобы стереть их. Но, передумав, оставил на камне храма богини Деркетю. — Не встречал ты в Риме, — спросил Натан через силу, — девушку по имени Рахиль?

— Встречал, — отшатнулся Эксатр. — Она на кухне у Красса.

Молодой еврей пизко-пизко понурил голову.

Эксатр поаял:

— Любовь?

Натан кивнул, не поднимая головы. На письмена крупной дождевой каплей упала слеза.

...В горах выпал снег, ледяной северный ветер засвистел в голой пустыне. Телохранители Красса, раздобыв в храме жаровню, всю ночь грелись возле них. Мордухай всю ночь сидел возле Эксатра, сторожа его. С вечера он, намотав цепь на огромный кулак, сводил взбунтовавшегося раба по нужде, как собаку, и вновь прикрутил к тонкой колонне.

— Идиот! — ругался Эксатр. — Притащил бы жаровню и грелся, и мне перепало бы хоть немного тепла.

Мордухай не отвечал. Прислонившись к столбу, он думал о чем-то своем. Какне-то видения посещали и его дремучий мозг.

Ночь. Ах, ночь! Чего не творится ночью...

— Мэ-э, — услышал утром Красс.

Охранники-ликторы спали. Спал Едиот. Спал Натан. Мордухай, с кляпом во рту, с железным ошейником, врезавшимся в жирную белую шею, мычал, привязанный к белой колонне:

— Мэ-э... — Он в страхе глядел в глаза господину.

— Где Эксатр? — взревел «император».

От крика все проснулись.

— Гы-ы...

На лбу Мордухая виднелась кровавая надпись: «Верни разум Крассу».

У него вынули кляп изо рта.

— Хэ-хэ.— Он показал через плечо на руки, заломленные за спину: они распухли от зеленого шнура, стянувшего ему запястья. — Это... Вельзевул, — произнес Мордухай наконец-то два вразумительных слова.

Как бревно, догоревшее до конца, он блеснул последней вспышкой разума — и угас. В глазах у него застыло выражение, какого не бывало раньше никогда: беззвучный вопль ужаса.

Если и есть тут идиот, то это вовсе не Едиот.

Ни на что не пригоден больше. Придется отправить на рудник. Но... с такой надписью?

Нет. Проклятый Эксатр! Что он этим хотел сказать? Красс недоуменно поджал отвислые губы. Непонятно. Глупо. Неостроумно.

— Отравить.

А жаль. Красс видел в Мордухае некую связующую нить, вернее: канат от домоправителя Леона к Едиоту. Канат оборвался. Но его продолжение уже проступало за спиной Едиота в образе тихого Натана.

И Красс окончательно решил его купить. За любую цену.

Как будто на свете мало других разных нитей и они не могут связаться в неожиданные узлы.

Все ходы-выходы перекрыты. Что же произошло здесь ночью? Этак могут и Красса утром найти с кляпом во рту. Или без головы на плечах...

— Я вас определю всех в обоз! — накинулся Красс на сытых телохранителей.

Кассий велел привести собак, обученных выслеживать беглых рабов. Обнюхав базу колонны, под которой все и случилось ночью, псы, яростно визжа, стали нелепо бросаться па стези и плиты двора.

— Что это с ними? — поразился Красс.

— Видимо, здесь есть тайные лазы, но чтобы открыть их, надо точно знать, где и какой выступ пажать, — сказал многоопытный Едиот. — Ты можешь провозиться целый год и ничего не найти.

— Дурацкая страна!

— Какая уж есть...

Все же визгу, в темных кельях, свирепые псы обнаружили дрожащих евпучов и жрец. Их оказалось немало.

— Мы ничего не знаем!

Хотя было ясно, что кто-то из них или все вместе по-могал Эксатру бежать.

Они враждебно, с отвращением, как нечто мерзкое, ози-рали кольцо богини на руке Красса. Может быть, тайная сила кольца вовсе не в нем самом? Не поймешь этих вар-варов.

Красс вновь ощутил резкую боль в суставе мизинца. Ни-чего не доказал он Эксатру. Никакой победы над ним не одержал...

— Подвергнуть всех пытке раскаленным железом, — рас-порядился Красс.

— Зачем? — возразил Едниот. — Что из того, что они ска-жут, как сумел ускользнуть Эксатр? Он уже далеко.

— Все равно мне вернут беглеца, — сказал уверенно Красс. — С клеймом не уйдет.

— Нет уж, о достославный, — вздохнул Едниот. — Ты боль-ше его никогда не увидишь. И лучше тебе не искать новой встречи с ним.

— Что так? — спросил подозрительно Красс.

Едниот в ответ пожал плечам.

— Не надо калечить хороший товар. — сказал бережли-вый еврей. — Отдай мне — я найду для них место.

— Даже для этих? — Красс удивленно кивнул на суро-во притихших желтых евнухов. Он не понимал, где и какое можно найти применение подобным существам.

Едниот усмехнулся его наивности.

— Нет на Востоке, — сказал Натан, — царька без гарема, нет гарема без евнухов. А царьков у нас много. Хотя, — вздохнул Натан, — хватило бы одного на весь Восток...

Красс принял эти слова на свой счет. Его тяжелый взгляд потеплел. Молодой умный еврей.

— Хорошо. — Красс отвел Едниота в сторону и взглянул через плечо на толкового юношу. — Отдай мне племянни-ка — и забирай все это отребье.

— Ох! Бог накажет... — «Как быть? Не отдашь в об-мен — даром возьмет». — Ладно, договорились. Но пусть он не знает... до времени. Скажем, я приставил его к тебе слу-жить. После, уже за Евфратом, предъявишь купчую. Не ста-нет особо шуметь. Он человек покладистый. Но смотри, не обижай его! Все-таки — сын моей сестры. — «О Яхве! — об-ратился он мысленно к богу. — Прости раба своего. Я при-несу в твой храм богатый дар...»

Натав смотрел на них, как всегда тихий, скромный, вни-мательный. Молодой умный еврей. С ясным взглядом, тон-ким лицом... и тонким слухом.

...Раз в жизни случилась размолвка между старшим и младшим Крассами — Марком и Публием, сыном его. Это было десять лет назад, когда Катилина задумал ниспровергнуть существующий в Риме порядок.

Нашелся один, говоривший: «Марк Лициний Красс причастен к заговору!» Но никто не верил обличителю, — он занимал незначительное положение.

Зато поверили Марку Туллию Цицерону: в своем сочинении «О консульстве» знаменитый оратор писал, что Красс как-то ночью принес ему письмо, касающееся дела Катилины, и подтвердил — да, тайный сговор существует.

Красс, как всегда, ушел. И, как следовало ожидать, возненавидел Цицерона. Но вредить оратору открыто Крассу мешал его сын. Ибо Публий, начитанный и любознательный, в такой степени был привязан к Цицерону, что, когда тот подвергся судебному преследованию, он вместе с ним сменил обычную одежду на траурную и заставил сделать то же и других молодых людей.

Он убедил отца примириться с недругом. С тех пор между ними не возникало разногласий. Публий, по воле отца и своему желанию, отправился с Цезарем в Галлию, — и теперь явился к родителю весь в знаках отличия за доблесть...

Ветер смел с дороги тучу пыли; из под нее огромной стаей перелетных птиц выпорхнул тысячный конный отряд...

Старший Красс ходил смотреть галлов, которых привел сын его Публий: вид у них независимый, гордый и веселый. Лишь одна центурия отличалась от других: рыжеволосый, голубоглазый, хмурый народ.

— Свевы, — так объяснил ему Публий. — Германцы наемные...

Публий Красс, красный от ветра, серый от праха, отмок, отогрелся в термах при храме и, награвшись душистой мазью, возлежал рядом с отцом за доброй трапезой.

Здесь, на Востоке, римляне не скупилась на еду и питье, как скупилась у себя дома, ели и пили обильно, как им казалось, «по-восточному». Хотя на Востоке никто не ест и не пьет обильно и вкусно, кроме царей и вельмож. Но, правда, ведь не о черни тут речь...

С особенным удовольствием они поедали лук. Здесь, на родине лука, его много. В Риме лук считали чудодейственным растением. Он входил в обязательный паек легионеров: лук придает силу и прибавляет мужества.

— Продолжай.

— ...Затем мы переправились в Британию, — рассказывал Публий о недавних событиях.

Он весьма походил на отца, но был суше и выше: так сказать, облагороженная копия старшего.

Говорил он гладко и правильно, соблюдая законы риторики. Но старшего Красса коробила эта ровная речь. Ты солдат или книжник, ворона тебя побори?

Как на каменный греческий лик Гермеса, бога торговли, на высоком столбе у моря, на лицо старшего Красса набежало холодное облако. Вон как далеко забрался соперник...

— Цезарь — первый, кто вышел в Западный океан, продолжал простодушный Публий. — Он расширил наше господство за пределы известного круга земель, овладев островом таких больших размеров, что многие даже не верили, что остров существует, и считали рассказы о нем и само его название одной лишь выдумкой. — Публию псевдомек, как больно он ранит отца своими словами. Лицо у того совсем почернело. — Но Цезарь доставил больше вреда неприятелю, чем выгоды нашему войску. У этих бедных, скудно живущих людей нет ничего, что бы стоило взять...

Облако сошло с лица старшего Красса.

— Побывав на нем дважды, мы оставили этот унылый остров и, захватив заложников у их вождя и обложив варваров данью, вернулись в Галлию...

Лицо у Марка Лициния Красса окончательно прояснилось. Молодчина Публий! Хорошо говорит, как по книге читает. Это влывание Цицерона, — хоть этим угодил тот Крассу.

— Здесь Цезарю вручили письмо, которое не успели доставить ему в Британию. Оказалось, дочь его Юлия, жена Помпея, скончалась при родах.

— Разве? — пробормотал старший Красс с притворной скорбью.

Глаза его сияли. Распались узы родства, которое еще поддерживало мир и согласие между двумя его самыми опасными соперниками. Теперь берегитесь! К тому времени, когда вы вцепитесь друг другу в глотки, я подспею в Рим из восточного похода. «Хэ-хэ», — как говаривал Мордухай.

— Так как войско наше сильно разрослось, Цезарь, чтобы разместить его на зимних квартирах, разделил легионы на много частей и собрался уехать в Рим. Тут и вспыхнуло всеобщее восстание. Полчища галлов, бродя по стране, разоряли наши зимние квартиры и нападали даже на укрепленные лагера.

Шестьдесят тысяч повстанцев во главе с Амбиоригом оса-

дли легион Квинта Цицерона и едва не взяли лагерь штурмом, ибо солдаты легиона все были ранены и держались скорее благодаря своей отваге, нежели силе...

Старший Красс не удержался от злорадной ухмылки. Поделом Юлию Цезарю! И поделом Квинту Цицерону, брату его заклятого врага, с которым он примирился лишь внешне, чтобы угодить сыну.

Чем больше у вас убавится сил, тем больше их прибавится у нас...

Но Публий его огорчил:

— Цезарь, получив известие об этих событиях, тотчас вернулся назад (я был с ним), собрал семь тысяч воинов и поспешил на выручку к осажденному Цицерону. Враги, узнав, что он вернулся с такими малыми силами, вышли навстречу, надеясь сразу его уничтожить. — Старший Красс — весь внимание. — Но Цезарь, — говорил далее честный Публий, — искусно, избегая встречи с ними, достиг места, пригодного для успешной обороны, и стал здесь лагерем.

«Что за выражения! — сморщился Красс. — «Получив», «узнав», «избегая»... На Форуме, что ли, ты выступаешь, сопляк?»

— Он удерживал воинов от всяких стычек с галлами и заставил их вал возвести, ворота выстроить, как бы обнаруживая страх перед врагами и поощряя их заносчивость. Когда же они, потеряв голову от дерзости, напали на нас без всякого порядка, Цезарь сделал стремительный выпад, многих убил, остальных заставил бежать.

Так разгромил он противника, почти в десять раз по численности превосходившего нас...

Младший Красс, довольный, сытый, чуть захмелевший, явно испытывал гордость: ему довелось сражаться под орлами такого великого полководца, как Юлий Цезарь. И он явно был рад, что ему есть что рассказать отцу, — Публий вырастал от этого в собственных глазах.

Старший же — медленно скис. Он вспомнил о своей «победе» над горсткой защитников Зенодотии...

Но такой человек, как Марк Лициний Красс, не способен признать свою никчемность. Даже мысли о ней допустить он не может. Он зачахнет, умрет, коль скоро не возьмет верх над другими.

— Так ты говоришь: в Британии вам ничего не досталось?

— А, ерунда! Всякая мелочь. Сто мешков с дубовыми желудями, — они там их едят.

— А в Галлии что?

У старшего Красса даже сердце запыло от нетерпения

скорей поразить воображение сына. «Я собою с тебя съешь, любезный», — подумал он отчужденно. Сын, восхищаясь Цезарем, сам того не зная, глубоко уязвил отца и тем оттолкнул его от себя.

— Скот, зерно. Виноград. Железо и медь.

— Не богато.

— Зато земля — чудо как плодородна.

— Землю с собой не увесешь.

— Ее можно освоить, — заметил Публий, похолодев от неприязни, засквозившей в голосе родителя.

— Все это прах! — гневно сказал старший Красс. — Пойдем, я тебе кое-что покажу...

Младший Красс остолбенел от изумления при виде сокровищ богини Деркето. Невероятно! Все его книжные представления о выдержке, скромности, чести вылетели из головы, и он, потрясенный, надолго утратил дар речи.

Родитель надел ему на шею золотую цепь, на которой висела золотая тяжелая бляха с рельефным изображением крылатого чудовища. От Юлия Цезаря младший Красс не получал таких наград. И никогда не получит. Ленты, лавры, дубовые листья... одна чепуха.

— Отца твоего считают жадным, — мурлыкал старший Красс. — Нет, я не жаден! Я, может быть, скуп, но это качество в корне другое. Жадный зарпнется на чудное, — скупой бережет свое.

— А это?.. — хрипло спросил младший Красс, обведя дрожащей рукой нагромождение золота и серебра.

— Это — свое, — веско сказал «император». — Мы взяли его силой оружия. — И Публий, подавленный и ослепленный огромной кучей блестящего металла, согласился с логикой отца. — Скоро весь мир будет нашим, — изрек воитель, — и все в мире будет нашим. Нам предстоит долгий поход на край света. Ты знаешь, римский солдат не воюет без жалования. Из чего прикажешь его платить? Придется набрать много людей. Вот почему я забочусь о нашей казне. Мы переплавим все это в Каррах, — будучи там, я узнал: город имеет отличный монетный двор. Еще Селевкиды чеканили в нем свою монету. Он и сейчас выпускает медную мелочь.

— Хорошо, отец! Хорошо...

— Сколько, ты думаешь, драхм и денариев тут, у тебя под ногами, а?

— Много, отец! Очень много...

Выходя из кумирни, Публий ощутил в спине пеловкость, тревожную, тягостную, как чей-то смутный крик во сне.

Он с беспокойством обернулся — и через плечо отца, слы-

довавшего за ним, увидел присгальный взгляд пагой богини Деркетю. Она неподвижно смотрела ему в глаза — и куда-то сквозь них, прозревая что-то в грядущем.

Но отрывая от нее глаз, Публий сделал шаг, запнулся за высокий порог — и растянулся на каменной плите. Старший Красс, споткнувшись о него, свалился сверху.

— Ничего, ничего, — пробормотал старший Красс, поднимаясь. — Ты не ушибся? — Он помог сыну встать.

— Локоть разбил.

— Пройдет. Лишь бы голова была цела.

— Голова-то цела... пока что. — И Публий сам испугался, зачем так сказал. «Нехорошо», — подумал он с тоской, внезапно ожегшей грудь изнутри...

* * *

Визу, у входа в храм, кто-то шумел.

— Что за люди? — Красс, недовольный, оторвал глаза от песней доски.

— Просители, — явился снизу Кассий. — Иудеи, сирийцы. Старейшины здешних городов. Пришли с жалобой на нашего друга, — кивнул он холодно в сторону Едиота.

Едиот сделал невинно-изумленное лицо.

— С жалобой, — глухо повторил Красс, не вникая в суть слов: мозг его доверху был заполнен расчетами. — Гони их, — сказал равнодушно Красс. Он еще не успел пересчитать все достояние богини Деркетю.

Кроме того, портные сейчас принесут Крассу плащ, перешитый из покрывала богини. Ему не терпелось его примерить.

— Нет, их надо выслушать! — повысил голос Кассий. Советнику претия все, что здесь творилось и говорилось.

— Это почему же? — очнулся Красс.

— Мы уйдем за Евфрат, — они останутся у нас за спиной, — сурово, с нажимом, чтобы дошло, объяснял ему Кассий.

— Да-а. — Красс со вздохом отложил дощечку и стило. —

Зови.

— О повелитель! — вскричал Едиот. — Наши евреи и сирийцы — беспокойный, лживый народ. Неужели ты допустишь, чтобы эти подлецы, чернь, при тебе поносили меня, благородного человека, самого верного из твоих слуг? — Губы и пейсы у него тряслись от негодования.

— Спрячься там, — Красс показал на черную завесу, за которой, позади богини, грудой лежало на полу все здесь награбленное. Нет, непременно, хоть мелочь какую, да украдет. — Лучше сюда, — он ткнул пальцем в глубокую темную нишу сбоку. — Оттуда тебе все будет видно и слышно...

Почтенные старцы согнулись в глубоком поклоне. Они поднесли «императору» дар: отрез драгоценной пурпурной ткани и головной толстый обруч червошного золота с лучами-глами, торчащими во все стороны.

Трудно понять, кто из них иудей, кто сириец: все одинаково глазасты, носаты и бородаты, и одежда у всех почти одинакова. И язык один: арамейский.

Правда, у одних с висков свисают локоны — пейсы, у других этих локонов нет. И вся разница. Разве что вероучение у тех и других отдельное, свое...

Наташ бесстрастно переводил:

— Припадаем к стопам императора. Взываем к правосудию и законности. Ибо давно их лишены и терпим невероятные бедствия. Откупщики налогов и ростовщики закабалели страну. Они принуждают частных лиц продавать красивых дочерей и сыновей, а города — храмовые приношения, картины и кумиры. Всех должников ждет один конец — рабство. Но то, что им приходится терпеть перед этим, и того хуже: их держат в оковах, в тюрьмах гноят, пытаются «кобыле».

И самый жестокий из откупщиков — Едиот, которого ты соизволил обласкать своим вниманием. Знай: из того, что выжимает из нас в пользу Рима, треть он берет себе...

«Император» слушал их рассеянно. Неподвижный и строгий, он восседал у ног Атергатис и смотрел на просителей пустыми глазами: его внутренний взгляд был устремлен назад, к груди сокровищ за черной тяжелой завесой.

И только услышав, сколько наживает откупщик Едиот при сборе налогов в пользу Рима, Красс оживился. Негодяй. Ты вернешь нам все. Собрать налоги мы и сами умеем...

— Хорошо. Благодарю за сообщение. Ступайте вниз, пойдите в гостинице, в пей тепло. Я разберусь с этим делом и дам надлежащий ответ.

— О великий! Да благословят тебя боги. Дозволь напомнить, как Лукулл в провинции Азия в короткий срок сумел избавить несчастных от притеснителей. Он начал с того, что запретил брать за ссуду более двенадцати процентов годовых, — ты знаешь, закон не признает процентов выше этой пормы. Римский закон. Далее, он ограничил общую сумму процентов размером самой ссуды. Третье и самое важное его постановление: займодавец имеет право лишь на четвертую часть доходов должника. В лице Едиота мы имеем откупщика и ростовщика одновременно...

Здесь умеют считать не хуже Красса.

— Хорошо, ступайте!— рассердился Красс.

Опять Лукулл! Проклятый чревоугодник! Красс с удовольствием растерзал бы этих неспособных просителей. Сколько можно терпеть? Все тычут ему в глаза то Лукуллом, то Помпеем, то Цезарем...

Старейшины удалились. Красс за бороду выволок Едиота из пиши.

— Что скажешь, грабитель? Так-то ты соблюдаешь римские законы?

В Едиоте вскипела восточная кровь. Он железной рукой стиснул Крассову руку, и тот, скривившись от боли, отпустил его бороду.

— Римские законы!— Едиот, пригладив бороду, ухмыльнулся Крассу с наглостью сообщника.— Волк прибегает к законам, когда уже стар и беззуб. Молодым он не помнит о них. Разве я не для Рима стараюсь? Не ваши ли преторы-наместники побуждают меня вымогать налоги всеми средствами? И не ваши легионеры помогают бить и грабить бедных евреев и сирийцев?— Он перестал ухмыляться и злобно оскалил зубы.— Им тоже кое-что перепадает, солдатам и преторам, не сомневайся! Все мы грабители. Я — самый искусный. Нехорошо,— сказал он оскорбленно.— Кто опора тебе здесь, на Востоке, я или это отребье, из-за которого ты дерешь мне, человеку почтенного возраста, бороду, как мальчишке вихры? Ты здесь чужой, ты их не знаешь, я знаю.

— Но...

— Я, не сходя с места, могу тебе заработать деньги на содержание трех легионов!— не дал говорить Крассу распалившийся Едиот.— Ты затеваешь большую войну за Евфратом. Так? Тебе нужно много солдат и много денег. Так?— Он жег «императора» веселыми горячими глазами, явно намеренный сейчас его ошеломить. И ошеломил: — Объяви набор войск по всей Палестине и Сирии. Понятно, никто не захочет идти на войну. Что ж, освободи их от этой повинности. За хороший выкуп. Скажем, по сто драхм с головы. Вот тебе и деньги. Хе-хе! — засмеялся он, довольный своим превосходством над завосчивым римлянином.

— Что же мне,— пожал плечами присмиревший Красс,— ездить по всей Палестине и Сирии, из одного паршивого городка в другой, и самому выколачивать палкой из каждого по сто драхм?

— Зачем ездить?— изумился негоциант его тупоумию.— Зачем? Кто велит тебе ездить? Ох уж эти римляне. Здесь, в твоих руках, почтенные старцы из всех городов. Схвати их, раздень донага и привяжи к столбу, в грязи, на ледя-

ном ветру. А прислужников отпусти по домам с наказом, чтобы сограждане как можно быстрее доставили выкуп. Живо наскребут сколько нужно. Я так и делаю, когда взимаю долги. Летом заставляю стоять на солнцепеке без воды, с непокрытой головой. Грубо? Зато хорошо действует. Безотказно, можно сказать...

Красс долго молчал, вобрав голову в плечи. Как много упущено. Ах, сколько возможностей! У него пересохли губы, он произнес с печалью:

— Ты человек... необыкновенный.

— Я твой верный слуга.

— Вернусь из похода, — получишь римское гражданство и должность претора.

— Премного благодарен! Да наградит тебя Яхве всякими благами.

— Яхве? — усмехнулся Красс. Он уже оправился от потрясения. — Надеюсь...

...Через шесть недель он выгружал сокровища храма Яхве, состоящие из различных пожертвованных: благодарственных, умиловительных и так далее.

Иудейская вера строга, она требует жертв на каждом шагу. Прикоснулся, даже случайно, к чему-либо нечистому — неси в храм очистительную жертву. Так что здесь накопилось много добра. Красс выгреб все — не только деньги, немало денег, но и роскошные украшения, утварь — массивную, золотую.

И взметнулся к небу плач на Сионе...

Когда стемнело, Натан постучался к хозяину, в его пустую воющую келью. Сегодня Натан более тих и спокоен, чем всегда. Но в больших его черных глазах появилось выражение, которого Едиот раньше в них не замечал: строгость. Это выражение пасторожило Едиота.

— Я больше не служу тебе, дядя, — тихо сказал Натан.

— Это почему же? — разинул рот Едиот.

— Потому, что ты негодяй и предатель. Не смей кричать! Я вооружен. — Он распахнул просторную одежду и показал большой кривой кинжал, засунутый за кушак.

Едиот так и застыл с разинутым ртом.

Натан встал перед ним, как судья.

— Ты служишь Крассу. По какому праву этот грубый, недалекий человек хозяйничает в наших краях, как у себя в Риме?

— По праву силы, — хрипло ответил торгаш.

— На всякую силу найдется другая, покрепче и постраш-

нес. Я ухажу за Евфрат. Не как чей-то раб... — сквозь зубы сказал Натан, и торгош отшатнулся: неужто... — а как человек свободный.

— Эти мне грамотен! Все-то они помнят, все-то они знают. Выучил на голову свою! — взревел Едиот. — Будь проклят час, когда я отправил тебя в Эдессу, в богомерзкую ту академию! Ради сестры...

— Не на свою — на мою голову ты выучил меня, — все так же тихо, даже тише, чем обычно, сказал Натан, и у дяди седые курчавые волосы на заледеневшей жирной груди раскрутились от страха и встали щетиной. — Чтобы взять за нее подороже. Разве я не слышал, как торговался ты с Крассом? Быстро спелась. Потому что вы одной породы. Ты — пудейский Красс, он же — римский Едиот. И сестру свою, мою бедную мать, ты за деньги продал богачу. И несчастную Рахиль...

— Я внес за них искупительную жертву в храм Яхве! — Едиот ударил в грудь кулаком, и густые волосы на ней вновь свернулись в крупные кольца.

— Э! Где тот храм и где теперь та жертва...

Едиот вскочил и загородился креслом:

— Я сейчас вызову слуг, велю тебя избить, связать и выдать Крассу!

— Зови!

Едиот трижды хлопнул в ладоши. Ввалился Елпазар, большой, как медведь, за ним еще четверо.

— Бейте его, вяжите! — показал Едиот рукой на племянника.

— Не будем бить, — прогудел Елпазар, — не будем вязать. Ибо все мы думаем как он. И уходим вместе с ним. Вот тебя мы свяжем, и рот кляпом заткнем, чтоб не вопил...

Заметалось пламя светильника, заметались тени на стенах. Слуги живо скрутили хозяина, заперли дверь на женскую половину — угомонить расшумевшихся домочадцев.

— Стукнуть? — Елпазар занес над головой Едиота огромный кулак. Он просительно взглянул в тихие очи Натана.

— Не надо, — вздохнул Натан. — Все-таки дядя.

...Темной холодной ночью, захватив крепчайшую веревку и обходя стороною римские посты, они крадучись вышли к городской стене. Никто не заметил, как они спустились. Их было шестеро, молодых, полных решимости и гнева.

Они долго смотрели, прозревая сквозь тьму грядущее, с каменистой дороги на смутную громаду Иерусалима, став-

шего для них чужим и опасным. Прощай, Иерусалим, «Город мира», в котором никогда не было мира! Еще никто не знал, когда взметнется над этими стенами пламя восстания. Но все знали, что оно взметнется. Оно уже взметнулось — в их сердцах.

— Что же делать с такими, как Еднот? — с горечью спрашивал Елиазар. — Жаль, не позволил ты стукнуть его.

— Погоди, стукнем. Так стукнем, что красная пыль пойдет. Он обречен...

* * *

С каждым днем зимний холод отступал все далее к северу, освобождая место теплу и легионам Красса, снявшимся с зимних квартир. Красс самолично собирал налоги и забирал все ценное в городах по пути.

Возле Алеппо к нему явился некий человек с диковинным жезлом в руке:

— Мардохмаг че аз Селохпя шахр!

Красс на слух уловил: язык вездешний. Другой язык. И сам прибывший не так губаст, как местные жители, — лицо у него суше и строже, в нем есть даже что-то римское. У Красса екнуло сердце.

— Что говорит? — обратился Красс к Едноту, — с тех пор, как сбежали Эксатр и Натан, старый еврей неотлучно находился при Крассе.

— Люди из Селевкии, — перевел Еднот. — Послы парфянские...

Рослые, в длинных одеждах из тонкой шерсти, высоких барашковых шапках, с высокими жезлами в руках, послы степенно остановились у походной кожаной палатки Красса. Удивительные бороды у них — огромные и барашково-курчавые, будто такие же шапки подвешены к подбородкам заломленными верхами вниз.

Еще более удвительно: эти мужественные люди набелены и нарумянены, как женщины. В ответ на недоуменный взгляд Красса Еднот пожал плечами:

— Для представительности. Чтобы произвести благоприятное впечатление. Послы как-никак. Их дело — говорить.

Военный трибун Петроний не сводил с послов изумленных глаз. Вот, значит, каковы они, хваленые эти парфяне! И римскому войску придется сражаться с такими женоподобными людьми? Не стоит вынимать мечей, достаточно бичей...

— Чего они хотят?— угрюмо спросил «император».

— Их бы следовало, по местным обычаям, сперва накормить и напоить, и уж затем расспрашивать,— осторожно заметил Кассий.

— К дьяволу!— вспыхнул «император».— Я здесь диктую обычай.— И вновь обратился к Едноту:— Зачем они пришли?

Еднот что-то сказал. Выступил старший посол, самый красивый и важный.

— Вагиз мое имя.

Он улыбнулся Крассу и преподнес ему легкую кипу драгоценных смушек — черных, белых, золотистых, голубых.

«Все ахнут, когда я появлюсь на Форуме в таких диковинных мехах»,— подумал Красс.

И голос у посла — теплый и мягкий, как нежный барашковый мех.

— Мой «фраматар» — повелитель Хуруд Второй Аршакид желает знать: почему у самых границ его великой державы скопилось так много римских легионов? И почему Марк Лициний Красс на восточной стороне Евфрата захватил города, принадлежащие Хуруду?

В синем веселом небе медленно плыли белые облака, оно то хмурилось, то светлело. И лица людей на земле то хмурились, то светлели. По голос Вагиза и смысл его слов оставались одинаково ясными:

— Не означает ли это войну? Если да, то в чем ее причина? И по чьей воле она затевается: по решению римского народа, или Красс поднимает оружие на парфян ради собственной выгоды?

«Народ?— усмехнулся Красс.— Что за глупое слово! В Риме тоже на каждом шагу слышишь: «народ, народ»...— Со злобой он вспомнил Атея.— Народ — это навоз для полей Истории! Их высший пахарь — я».

— Ведь если войско,— продолжал степенный Вагиз,— послано римским народом, то проконсул должен понять, что война будет жестокой и непримиримой.

«Проконсул? Болван. Не мог, хотя бы из посольской учтивости, назвать новым титулом. Варвар,— что с него возьмешь?..»

— ...Если же проконсул, как слышно,— глаза Вагиза смеялись,— предпринимает ее по одному своему усмотрению, то благородный царь Хуруд, снисходя к преклонному возрасту Красса, отпускает его с миром домой вместе с теми солдатами, которые там, за Евфратом, находятся скорее под стражей, чем на сторожевой службе...

— Наша цель — мир, — резко сказал «император». — Но он невозможен, пока есть Парфия.

— Это почему же?

— Потому что она... есть. Она вытесняет Рим из областей, которые необходимы для его процветания.

— Но мы тоже можем сказать, что Рим мешает нашему процветанию и потому подлежит уничтожению. Однако не говорим.

Раздался пемыслимо дикий рев. Никакой хищный зверь не выпускает таких жутких, безумных, утробно стонущих, хриплых, остро визгливых и обреченно тяжелых звуков.

Разве что человек.

И то лишь в состоянии буйного помешательства или в кошмарном сне.

Мимо палатки, яростно вскинув голову и роняя с отвислых губ крупные клочья пены, промчался огромный верблюд-самец. Стройные и нежные молодые верблюдицы в посылском караване, остановившемся поодаль, беспокоило заметались. Весна. В эту пору верблюд страшен. Самый опытный вожатый не решается к нему подойти, — он может кусать, затоптать...

Все молчат. Все с нетерпением ждут, что скажет Красс. Ибо от того, что он скажет, зависит, быть может, судьба всего Востока.

Но Красс не думает о ней: он давно решил для себя судьбу Востока. Он думает о том, как достойно ответить послу, — так ответить, чтобы о его словах вспоминали и через тысячу лет...

И Красс нашелся.

— На все твои дерзкие вопросы, варвар, — произнес высокмерно Красс, — я отвечу... в Селевкии.

Верблюд схватил длинными желтыми зубами юную верблюдицу за холку. Она, как волится в любовных играх, лягнула его и, призывно оглядываясь, трусцой побежала в степь...

Посол засмеялся, издевательски и вместе с тем — с пыльной горечью, и протянул к «императору» голую, узкую и смуглую ладонь:

— Скорее тут вырастут волосы, Красс, чем ты увидишь Селевкию.

— Какой ответ! Ах, какой ответ! — Петроний даже прослезился от умиления. — Я запишу. Он достоин самого Александра...

Военный трибун, как давеча — бешеный верблюд, носился с пеной на губах по лагерю и каждому встречному,

даже простому солдату, рассказывал, как паходчиво и остроумно Красс сразил тремя словами панова дерзкого парфянского посла: «Отвечу в Селевкии...»

О последовавших затем словах Вагиза не упоминалось. «Нужно сделать его легатом,— думал довольный Красс.— Но чуть позже. Успеется».

Ему не терпелось стянуть легионы к Зевгме, к месту, удобному для переправы.

...Ночью Петропий с какими-то стариками в остроконечных колпаках долго глазел на ясное звездное небо. И что ему там понадобилось? До сих пор его взор был прикован к земле.

Утром он явился возбужденный.

— Я держал ночью совет с персидскими звездочетами,— «ахтармаранами» их зовут. Они определили — планета Марс благосклонна к тебе. И внушили мне боги мысль: пельзя ли переименовать планету Марс в планету Красс? По созвучию подходит. Марс — Красс. К тому же ты родом из древнего римского племени марсов, не так ли? Их святилище стояло когда-то на Палатине. И разве сам ты не бог войны? Все сходится наилучшим образом...

— После, после.— Отвислые губы Красса расплылись в сладостной улыбке.— Когда я вернусь из похода. Нужно такую честь заслужить,— проявил он скромность.

«Я назначу его легатом»,— решил окончательно Красс.

Но Петропий никогда не станет легатом. И за планетой Марс останется ее старое название. Юная и хитрая верблюдница-судьба, уведя в каменистую степь, обманет старого верблюда...

* * *

В благодатном Мехридаткерте встают еще раньше, чем в Риме.

Едва за расшитой золотыми звездами черно-синей шелковой завесой ночи шевельнулся и назрел рассвет и завеса от него стала сереть, а звезды тускнеть, Сурхан, накинув на голые плечи старую шубу, вышел в сад.

Здесь все пока что черное. Сурхан провел большой ладонью по ветке граната и ощутил терпкую влагу. Он отер ею лицо и грудь.

Голова — как медный котел с песком. Тягостна ссылка, пусть она и почетна. Считается почетной. Слоняйся без дела по стенам, у частых бойниц, пьянствуй от скуки, убажжай наложниц.

Тьфу! Что из того, что ты способный военачальник? Умей делать хоть что-то лучше других — ты уже всем соперник и враг. Давай-ка, друг мой любезный Сурхан, махнем рукой на все, взбунтуем вольных саков своих, сожжем дотла проклятый этот «священный» город парфянских царей и уйдем назад, на Яксарт...

Над головой, в темной кроне шелковицы, раздалось резкое:

— Врре-ешы! — И затем — мелодичный флейтовый свист: — Фью-тью! Лью-пью! Пою...

В звонкой песне — недоумение, будто кого-то ищут, зовут, но не могут найти.

Это иволга! Он тут же замер, чтобы ее не спугнуть. Осторожная, скрытная птица. Не лезет назойливо к человеку, как воробей, горлица или скворец, держится особняком. Будто сознает красоту своего голоса и ярко-желтого, с черным, оперения.

«Не знаю, детка! Может, и вру. Сам себе. «Фью-тью» у нас, и вправду, каждый вечер. И «лью-пью» и «пою».

Что мы тут можем?

При мне всего-то три сотни верных людей, соплеменников-телохранителей. И остается нам прилежно стеречь, — пока нас самих стерегут, — заповедный город гордых парфян, носящий имя былого царя Мехридата...»

По узкой дорожке между кустами ивжира, гранатов и роз, под черными шелковицами, он осторожно выбрался к плакучей иве на берегу водоема.

Три длинных таких водоема тянулись дугой вдоль сада, огибавшего дворец, — за ними высилась восточная часть крепостной стены, наиболее мощная в «запретном» городе. Стена закрывала воду от рассвета, она в трех каменных бассейнах казалась черной. Вода поступает сюда по навизанным одна на другую «кубурам» — трубам из обожженной глины — из студеных горных ключей.

Сурхан долго стоял в нерешительности. Огромный, прямой, неподвижный, он казался в сумраке статуей, сошедшей, чтобы пройтись, из ниши в парадном Квадратном зале дворца.

Но в саду уже светлеет, поверхность воды тускло блеснула. Надо все ж совершить омовение, чтобы встретить солнце чистым, с освеженной душой.

Сурхан резко сбросил шубу, спустился по мраморным ступеням, попробовал воду босой ногой. Ах! Он с диким воплем рухнул в ледяную купель. Хорошо! Всегда так бы-

васт: вначале боишься холодной воды, затем из нее не хочется вылезать.

Он растер молодое крепкое тело белой грубой тканью, обернул полотенцем вокруг головы, как тюрбан. Супул поги в чувяки из сыромятной кожи, падел шубу в рукава, запахнул ее. Овечий мех грел и ласкал стылую кожу.

Мимо сонных казарм, примыкающих к юго-восточному отрезку крепостной стены, Сурхан прошел, не торопясь, к Южному, главному бастиону, вошел на него по внутренней каменной лестнице.

Кушание в ледяной воде взбудрило Сурхана телесно, но состояние духа оставалось мрачным.

Холод, правда, загнал тревогу глубоко внутрь. Но, спустившись там, она стала еще горше. И уныло кричала одинокой иволгой.

Перед ним тихо возник воин с копьем.

— Ты, Фарнук? — пригляделся Сурхан.

— Я.

— Все спокойно?

Фарнук не ответил. Неужный вопрос. Глупый! Если бы не было все спокойно, уже бы всю крепость шатали шум, топот и гвалт.

Он сердился на Сурхана. Весна. В степях сейчас зеленый рай. Голубое раздолье. Фарнуку нужно доехать, в родное кочевье, к табулам коней знаменитой писейской породы: Он даже отсюда слышит, как хрустит галучая трава на зубах лошадей, высоких, выносливых, быстрых, хорошо приспособленных к передвижению в пустынных местах.

А начальник не отпускает. У него неладит с царем. Из-за гор ползут всякие слухи, и Сурхан со дня на день ждет вестей от Хуруда.

И пропадай от тоски в «заповедном» городе Мехридаткерте, запретном для простых смертных. Фарнук тоже не князь, зато лучший стрелок в сакском войске Сурхана и верный его помощник в трудных делах.

Сурхан угрюмо взглянул на синий, нависший над городом горный Дахский хребет, что зовут еще Копет-Датом, повернулся и двинулся молча по юго-восточной части стены, над казармами, к Восточному бастиону.

Крепость в плане пятиугольна, продолговата, с юга широка, к северу сужается и паноминует в общем колчан для стрел.

Это и есть колчан, если подумать: священный город первых парфянских царей, их усыпальница и поминальный

храм, хранитель Главного огня и парфянского воинственного духа.

Фарпук без слов последовал за ним.

Между Южным, главным бастионом, и Восточным — семь близко расположенных друг к другу прямоугольных башен, выступающих за фасадную линию стены. Всего же башен в Мехридаткерте — сорок три.

Неприступна крепость. Трудно взять ее. И убежать отсюда трудно, если ворота припрут снаружи...

Возведен Мехридаткерт на естественном холме высотой до десяти и больше локтей, да сами стены — локтей по тридцать, так что на эту громаду не то что лезть с оружием в руках — страшно смотреть. Стена в толщину достигает шестнадцати локтей, и на ней, наверху, могут свободно разъехаться две боевые колесницы.

Рассвело. Потеплело. Сурхан распахнул свою шубу.

Взгляни на него сейчас какой-нибудь Красс, он ни за что не признал бы в молодом этом, рослом «варваре» второго, после царя, человека в Парфянской державе. Степняк. Наедине с собой и рядом с подобными себе он не выносит скованности.

Хмур и печален Сурхан.

Иволга надрывалась:

— Гррр-я-зью... обольют! Убьют...

Сурхан с тоской взглянул на восток, на все ярче разгорающееся белое утро, и Фарпук увидел его чеканный медный профиль: хищный нос, круто вскинутые брови, твердый сухой подбородок.

Орел-человек! Царь Хуруд перед ним — старый лис, облезлый, вонючий. Орлы таких брезгают бить. Молодой — тридцати лет Сурхану, но глубиной ума никто не сравнится с ним в парфянской войске. А также ростом, красотой и силой.

Одна беда: как всякий честный, сильный человек, он излишне доверчив и простодушен, порой — даже наивен...

По восточной стене, прямой и длинной, они вышли к северному отрезку оборонительных сооружений, самому короткому, — здесь два угловых бастиона почти примыкали один к другому.

Под ними, внутри крепости, виднелось квадратное в плане сооружение: просторный двор с примыкающими к нему с четырех сторон помещениями.

Сурхан там бывал.

Наружу обращены глухие мрачные стены высотой в де-

сять локтей. Со двора здание более приветливо: вдоль всех четырех сторон здесь тянется колоннада.

Это хранилище разнообразных ценных предметов, сопровождавших в загробный мир погребенных в Мехридаткерте ранних парфявских царей.

Правда, сами сокровища Сурхану увидеть не довелось. По мере заполнения залы, по три на каждой стороне, наглухо замуровывались и отрезались от внешнего мира. Достояние мертвых... Живым, при всем их любопытстве, совсем ни к чему на него смотреть.

Тем паче что оно, любопытство, не всегда бескорыстно: ограблением древних захоронений люди занимались не только в Египте.

Хранители сокровищницы, старые парфяне, слыхали от дедов, что скрыто в глухих помещениях: оружие первых царей — мечи, боевые секиры, стрелы, щиты; ткап и мебель, изделия из камня, дерева и стекла; всевозможные бусы, подвески и амулеты, зеркала, серебро.

Говорили также, что тут спрятаны мраморные статуи богов и богинь.

Одну такую статую Сурхан видел своими глазами, — в комнате, которую еще не успели закрыть: молодую женщину, обнаженную до пояса, со слегка склоненной головой. Она откинула вправо руку, а левой отжимает крупные, будто мокрые, пряди волос.

Афродита, выходящая из пены морской.

Но лицо у нее восточное: линия бровей тяжела, глаза глубоко посажены, рисупок крупноватого носа и небольшого крепкого рта отличает ее от греческих статуй. Значит, она создана здесь.

Прямо напротив входа, ведущего с улицы во двор, сохранился также круглый алтарь, — он расписан гирляндами алых цветов, перевитых печальными черными лентами. Тоска и уныние. Жизнь и смерть, красота и уродство всегда вместе. Иногда не уловишь разницу между ними.

Сурхана, могучего, с ясной головой, с кипящей кровью, сделали, по существу, кладбищенским сторожем.

Не коренной парфянин, он не испытывал душевного трепета перед святынями Мехридаткерта. Они не вызывали у него, скажем, слез умиления. Зато он испытывал к ним нечто большее: уважение.

К этой каменистой, но баснословно плодородной земле и к древнему пароду, который уже, говорят, пять или шесть тысяч лет возделывает эту каменистую землю. К его мастер-

ству. К победам и поражениям вождей терпеливого этого народа. К истории этой необыкновенной страны.

Любовь от сердца — всего лишь привычка к месту, знакомому с детства. Настроение. А настроение меняется. Любовь от ума, уважение — убеждение. Оно прочнее. И преданность убеждения крепче преданности настроения.

Так казалось Сурхану.

Если отсюда идти прямо на север, то через много дней, опаленный солнцем, выйдешь через пески к Хорезму. Далеко на востоке — реки Ох и Марг, еще далее — Рапха, и затем, за Согдианой, заветная Яоша, или, как называют ее римляне, — Яксарт. На западе, за горами и долинами, гремучий Каспий. С юга близко примыкают горы.

«Парта» значит «ребро», «бок», «край». И парфяне, так же как и персы, — «жители окраины». По отношению к Мидии, где была заложена первая иранская государственность. И по отношению к Хорезму, Согдиане и Бактрии, где издавна существовали большие города и каналы.

Граница между Ираном и Тураном.

Сурхан взглянул налево от себя. За обширным пригородом, утопающим в садах и в утреннем дыму летних кухонь, за участками черных вскопанных полей уже хорошо видна на холме громада глинобитных стен.

Это и есть собственно город, сама Ниса, бывшая столица Партавы — Парфянской державы. Она гораздо старше Мехридаткерта — ее, говорят, основали тысячу лет назад коренные древние насельники этих мест, земледельцы.

Лет двести назад здесь появились кочевники-парны с левого бережья реки Ох — Теджена. Они оставили старый быт кочевой, смешались с родственным им исконным местным населением и переняли его название — парны — и образовали здесь государство, провозгласив одного из своих вождей, Аршака, парфянским царем.

В ту же пору далеко на Востоке, за рекой Яксарт, происходили события, которые, казалось бы, не имели никакого отношения к молодому царству парфян, но, тем не менее, глубоко отразились на его дальнейшей судьбе. В истории ничего не проходит бесследно.

В просторные долины Семи рек, где обитали кочевые саки, говорившие на одном из иранских юго-восточных наречий, пришел из дальних желтых степей новый грозный народ — узкоглазый, скуластый, носящий имя «хунну».

Сакам, разбитым в жестоких боях, пришлось покинуть родные степи. Неудержимой волной саки хлынули в южные

области. Один осели в Бактрии, другие двинулись в Индию. Правое их крыло задело Инсу.

Парфяне воспользовались случаем и привлекли сакскую конницу к борьбе против греко-македонцев, чье иго уже подошло к концу. И с тех пор саки осели на благодатной этой земле и вошли в состав населения Парфии как второй по значению народ.

Их в чем не уступают исконным парфянам: ни в труде, ни в знаниях. А кое в чем и превосходят их, — например, отвагой и стойкостью в бою. Они здесь уже восемь десятилетий. Уже тоже, пожалуй, парфяне. Если не считать небольших различий в языке да в образе жизни: парфяне — пахарь, саки — скотоводы.

У сакских вождей — два важных наследственных права: возлагать двадему на избранных вновь парфянских царей и командовать конницей на войне. Им доверяют даже, как видите, охрану парфянских святынь...

Человек образованный, отлично владеющий древним языком «Авесты» и греческим, хорошо знает Сурхат обо всех этих делах. И хорошо ему думать, что он, начитанный, умный, с головой, не забитой предрассудками, знает о них.

Ведь иной даже не помнит, как звали деда родного. Что иной? Почти каждый. Особенно горожане, торговцы и чиновники. Будто они от самих себя родились, а не получили кровь свою сквозь непрерывную цепь бесчисленного множества поколений. Степной же народ чтит прародителей, помнит их до двенадцатого колена.

Завершая обычный утренний обход, Сурхат и Фарук достигли по длинной западной стене Юго-западного бастиона, под которым находились единственные ворота, ведущие в Мехридаткерт.

Внизу, на крутой дороге, обойдя Мехридаткерт, заворачивал к воротам большой караван. Верблюды несли на боках огромные «хумы» — корчаги, завернутые в толстый войлок, чтобы, стукнувшись, не разбились.

— Эй! — зычно крикнул сверху Фарук, — Кто, откуда?

— Артабанукал! — громко назвали внизу имение, откуда прибыл караван.

Имение это принадлежало храму заупокойного культа раннепарфянского государя Артабана.

— Випо, зерно?

— Випо.

— Доставщик?

— Фрабахтак.

— Впусти, проводи, — зевнул Сурхан. — Я пойду к себе. Если что — прибежишь.

— Прибегу.

С пронзительным свирепым скрипом раскрылись тяжелые, из толстых отесанных бревен, в крупных железных бляхах-заклепках, темные от времени ворота. Их не смазывали умышленно, чтобы пугающе-яростный скрип сразу вызывал у прибывающих в крепость людей страх и напряжение.

Фарнук провел караван под западной стеной на площадь между дворцом и сокровищницей, справа от которой, под восточной стеной, находились винные склады. Сквозь решетчатые узкие окна дворца, мимо которого медленно брел, звеня бубенцами, утренний караван, таинственно сверкали девичьи глазки, слышался веселый шепот...

Сейчас будет самое скучное. Работники, кряхтя, сипмут «хумы» с спустившихся на землю верблюдов, снесут их в подвал, уже наполовину заставленный сосудами. На каждой корчаге здесь привязан черепок с надписью черной тушью, сколько вина в сосуде, откуда оно, кем и когда доставлено:

«В хуме этом из Рашпудатакана, от Тиридата, начальника конницы, — 16 марп. Внесено за год 172-й. Привез Варахрагв, доставщик»...

«В хуме этом с виноградника Аппадакан, что в Сегабиче, вина — 18 марп. Внесено за год 182-й. Сдал Ариясахт, доставщик, родом из Барзмесана»...

И так далее: «в этом хуме старое вино», «в этом хуме новое вино», «в этом хуме скисшее», «приготовлено для подогрева», «перелито отсюда в другой хум столько-то», «оставлено кравчим столько-то марп».

На большом черепке, что лежит на полке, особая запись:

«В Мехридаткерте, в винном складе, называемом повым, вина и укуса хумов 160, пустых 8... Всего хумов в девяти подвалах — 500».

Годы на черепках — «Аршакидской эры», которой уже — 184.

Много вина, — можно наполнить все три бассейна в саду. И ни капли из него не прольешь, не утаишь, не унесешь, — учет ведется строгий. Но пусть им занимается винное ведомство! Фарнук поручил «мадубара», доставщика вина, «диперпату», начальнику писцов, и удалился.

Тревога Сурхана, его нетерпеливое ожидание каких-то важных событий передались рядовому войну-саку, — кто зна-

ет, может, в итоге этих событий решится судьба всего сакского войска. В том числе и Фарнука...

Ну что за времена! Скажем прямо — проклятые. Ни днем, ни ночью нет мира в душе.

Если даже пока что все тихо вокруг, не обольщайся, жди с болью — сейчас загремит. Ты никогда не уверен в завтрашнем дне. Хотя от жизни тебе пужно не так уж много: почевать в пустыне у костра, быть возле жены и ребятшек, пасти и холить коней.

Кому это мешает?

Все изменилось, когда у ворот появился взмыленный всадник с красным флажком на пике.

— Гонец от царя царей!

— Война, — вздохнул Сурхап, пробежав глазами отбеленный свиток из тонкой ослиной кожи.

Он, уже в широченных шароварах и коротком расшитом кафтане, отстранил Феризат, черноглазую смешливую девушку.

Расчесав ему густые рыжеватые кудри и притерев, помидийски, гладкие щеки румянами, она подобралась с гребнем к его небольшим, до углов твердых губ, золотистым усам.

В отличие от прочих саков, которые, чтобы казаться страшнее, напускали волосы на лоб, Сурхан разделял их пробором. Сейчас он отстранил девушку петерпельным жестом...

Феризат обиженно насупилась. Он сделал знак другой девице, синеглазой, нежко тренькавшей на легкой арфе, чтобы умолкла.

Гонца увели покормить, дать ему отдохнуть. Сурхап с Фарнуком остались вдвоем.

— С кем? — спросил угрюмо Фарнук.

— Фромены идут. — Каждый народ называл римлян по своему. — Ведет их свирепый Красс.

— И что ему нужно от нас, этому петуху Хоразу? — Так было легче Фарнуку произнести незнакомое, каркающе-трескучее имя фромепы.

— Это, брат, не петух. Стервятник. Я кое-что знаю о нем. Чего он хочет? — Сурхан усмехнулся. — Он хочет добратся до «хумхоны», где ты давеча был, и выпить все вино царя Хуруда...

— Пусть пьет, — пожал плечами Фарнук. — Не мое вино. Я его не пробовал.

— На, попробуй. — Сурхан наполнил темным вином ри-

топ — рог, оправленный в серебро.— Согрел.— Водой вино здесь не разбавляли.— Рог можешь взять себе.

Фарнук выпил,— внутри загорелось. Он уставился на тонкий рельефный узор на ободке ритона. Очень хитрый узор, очень затейливый.

— Хуруд мне не царь,— сухо сказал Фарнук.— Он сюда и глаз не кажет. У него все дела в западных областях. Это царь вавилонский, персидский, какой угодно, только не сакский.

— И мне он не царь,— тихо сказал Сурхан.— Я сам пройдоху сделал царем. Без меня Хуруд никогда им не стал бы. Помнишь брата его, соперника, Мехридата Третьего, которого я разгромил под Селохней?

— Помню. Знаешь... человек, который вместе с братом из-за короны убил родного отца, а затем и брата своего... не заслуживает доверия.— Сорокалетний Фарнук считал себя вправе наставлять Сурхана как младшего.— Это человек опасный. Он и тебя убьет когда-нибудь.

— Убьет,— вздохнул Сурхан.— Может, подыдем своих и уйдем назад, за Яксарт, на старую родину? Чуть потесним наших друзей, веселых «хунну»,— всем хватает места. У Семи рек еще немало саков. Правда, с хуннами перемешались. Но это не страшно. Как-никак свой, степной народ.

— Их потеснишь,— усмехнулся криво Фарнук.— Погоди, они и сюда доберутся.

— Доберутся,— кивнул согласно Сурхан.

— Нет, в этом деле я тебе не помощник!— Фарнук отбросил ритон.— Я родился и вырос здесь, другой родины не знаю.

Сурхан сжал губы, озадаченно покачал головой. Да-а... Саков теперь не оторвешь от этой земли — вторая родина. Не первая, но последняя... Другой, это верно, нет и не будет. Ни для Фарнука. Ни для Сурхана.

— А Хуруд?..

— Хуруд?— вскинулся сак Фарнук.— Выдай его с потрохами Хоразу! Хораз ему снимет башку,— ты станешь нашим царем. Парфянским царем. И все дела. Другой бы так и поступил.

— Другой бы — да.— Сурхан облокотился о столик, запустил руку в густые, с медным отливом, вьющиеся волосы — и загубил пробор, с такой любовью сделанный рабыней Феризат.— Другой бы! Но я-то честный человек. Может, потому и считает парфянская знать меня чудачком. Не ко двору им Сурхан. Знаешь, что здесь начнется, если я поступлю, как ты советуешь? У Хуруда есть сын Пакор,

он наследник. И еще два с половиной десятка или более сыновей. А вельможи-парфяне? И родовая царнская знать? Грызния будет страшной, кровавой. Все забудут об опасности, грозящей из-за Евфрата. Мертвой хваткой все вцепятся друг в друга,— и Крассу останется, смеясь, одним ударом прикончить всех сверху...

Сурхан, взволнованный, перевел дыхание.

— Ты прямой человек, Фарнук. Как стрела в твоём колчане. У тебя нет сомнений. Подаром имя твоё — Счастли-
вый. А я нахватался из греческих книг излишне много ума и должен все взвесить перед тем, как на что-то решиться. Не только к голосу сердца — прислушаться также и к го-
лосу разума. Прежде всего — к нему.

— Дело, видишь ли, не во мне.— Он доверительно взял тяжелую руку собеседника.— И не в Хуруде. И, конечно, не в чистом его вине,— пусть все скиснет и превратится в ук-
сус, мне плевать на него! Дело в тебе, брат мой.

— Во мне?— удивился Фарнук.

— Да! В тебе. Я пошутил насчет вины, мол, Красс его выпьет. У Красса своего вина в избытке. К тому же он, я слышал, человек умеренный, пьет очень мало. Разбавляет холодной водичкой, просто чтоб жажду утолить за едой. Ему нужен ты. И тебе подобные крепкие люди. Для работы на рудниках, в темных, душных подземельях.

— Я... не смогу... в подземельях! — испугался Фарнук. Он даже рванул одежду на груди.— Степной человек, я привык к простору, свежему воздуху. На меня давят даже эти красивые стены,— кивнул он на яркую роспись высоких стен.

— То-то же. Как тебе проще сказать, поймешь ли?.. Есть свой близкий интерес, есть вышший. Речь идет о судьбе Востока. Сколько бед принес Востоку царь Искандер Зулькарнейн!—Он назвал Александра на местный лад.—Он спутал все пути, по которым каждый народ шел к своей цели. Сколько затрачено лет,— чуть ли не триста, чтобы каждый сбитый им с толку народ вновь обрел свою землю, свой язык и свой облик. И то не везде. Если Красс совершит, что задумал, история опять зайдет в тупик. И когда она выберется из него? Тут, у нас на Востоке, своих забот — сверх головы. И Красс нам вовсе ни к чему...

Сурхан с горечью сплюнул.

— Искандер — тот хоть стеснялся открыто называть нас дикарями. Он пытался поладить, сблизиться с нами. После того как наши предки хорошенько вложили ему на Яксарте. Красс же видит в нас только рабов...

Сурхан страстно вскинул ладони:

— Покой! Равновесие в мире. Вот что сейчас самое главное. Ради этого я готов стерпеть любую опалу. Даже смерть приму без колебаний. Ибо вижу здесь свое предназначение. Жизнь коротка, надо успеть сделать хоть что-нибудь путное. А вино, девицы и прочее — это так, чепуха, — можно сказать, глупости молодости.

Он налил полную чашу, но сделал всего один глоток.

— И теперь уже не важно, кто ты — сак, хуппу, царфянин, перс, еврей, индеец, араб. На каком языке говоришь и какой ты веры. «Мы все на Востоке соседи, — внушал мне когда-то один мой приятель. Где он, не знаю, его схватили фромены в нашем посольстве к Тиграну. — Живем под солнцем одним, одним воздухом дышим, едим один хлеб. Должны держаться друг за друга». Он часто говаривал это, умный был человек. Уразумел ты что-нибудь?

— Не все, но одно уразумел хорошо: Хоразу надо остановить и свернуть ему шею.

— Не так-то это легко! Но попробуем...

— Сделаем! Пойми, — повторил Фарнук вповато, — я... не смогу... в подземельях. Так уж устроен...

— И слава доброму богу Ахурамазде! Отдохнули — хватит, даже ожирели без дела. — Сурхан ощупал мускулы на правой руке и на левой. — Видно, крепко испугался Хуруд, — рассмеялся начальник саков. — раз уж направил гонца прямо ко мне, который находится под стражей, а не к начальнику войск в Нисе, который держит меня под почтительной стражей...

— Эх! Что нам до них? — Фарнук широко развел руками. — Главное, мы снова на воле.

— Рог все же возьми, — протянул Сурхан ритон соплеменнику. — Пригодится. Выпьешь из него за победу.

Фарнук благодарно кивнул и сунул рог за пазуху.

После долгого и нудного рассвета взошло наконец горячее солнце. Сурхан поклонился ему. После долгого и серого затишья в Мехридаткерте, будто пробившись сквозь тьму, заблестали один за другим лучи все новых ярких событий.

Едва ушел пустой караван, как в поле перед крепостью, откуда неведомо взявшись, закружились, взметая пыль, на косматых низкорослых лошадях не менее косматые всадники. Их было не менее трех сотен.

— Что за народ? — враждебно спросил Фарнук, разглядев скуластые желтые лица и усы — висячие, черные.

— Хунну, — усмехнулся Сурхан. — Мои друзья. Теперь и

твой, не вороти от них нос, брат любезный! Я еще три месяца назад отправил к ним человека. На всякий случай.— Он значительно взглянул Фарнуку в глаза.— Стрелки отменные, не хуже тебя...

— Ну и ладно,— проворчал побелевший Фарпук с неприязнью человека, чьи предки потерпели немалый урон от этого племени в шубах мехом наружу.— Друзья так друзья. Тебе виднее! Одно скажу: похоже, они никогда от нас не отвяжутся. Нас ведь тоже когда-то парфияне позвали на помощь против грка, царя Антиоха Сидета,— я не совсем уж дурак, кое-что знаю,— и до сих пор не могут отделаться.

— Посмотрим!— сердито сказал Сурхан.— Сейчас у нас другие заботы. В любом случае, хуншу — свой, восточный народ. Эти в нас видят не отвратительных варваров, а людей, равных себе. И даже чуть выше. Потому что мы отесались малость в здешних квижных краях...

Он доверительно положил руку на плечо соратника:

— Не хмурься! Все к лучшему.

— Умом понимаю,— вздохнул Фарпук сокрушенно,— а сердце противится.

Сурхан потемнел, отвернулся, пробормотал потерянно:

— Сердце, сердце. А у меня? Зачем мне все это? О боже! Кому я принадлежу? Разобраться — лишь самому себе. Но сердце... оно знает куда заведет, если не держать его в руках? Долг! Он важнее сердечных порывов...

— Да, умеи ты, Сурхан! Слишком умеи.

— Себе на беду,— усмехнулся Сурхан.

— Возьмешь на войну?— приласкалась к Сурхану девушка, что с утра возилась с его шевелюрой.

— Непременно!— зло крикнул Сурхан.— Двести повозок нагрузу вами и ярким вашим тряпьем. Только и дел у меня будет там, как нежить вас...

Феризат с обидой заплакала. Зарыдали и другие, они беспокойно заметались в глубине помещения. Та, что звенела струнами, синеглазая гречанка, наотмашь ударила легкой арфой о резной опорный столб. Феризат укусила господина за ухо.

— Возьму!— вскричал со смехом Сурхан.— Всех возьму!— Ах, мой иволги певучие...

И вправду, почему бы не взять? Уж здесь-то он может уступать велению сердца...

Но взял он одну Феризат.



ХУДЫЕ ЗНАМЕНΙΑ

*Кто же тот первый, скажи,
кто меч ужасающий выдумал?
Как он был дик и жесток
в гнев железном своем...
С ним человеческий род
узнал и набег, и убийство,—
К смерти зловецкий был путь
самый короткий открыт.
Или ни в чем
не повинен бедняга? Мы сами
Людям во зло обратили оружие —
пугало диких зверей?
Золота это соблазн...
Тибулл. Элегия*

...Фортунат взглянул на солнце, провел ладонью по надгробной стеле. Камень теплый. Кончалась зима. Но солнце уже никогда не согреет той, что лежит здесь, внизу, под ногами.

Хоронили ее, должно быть, сразу, наутро после несостоявшейся свадьбы. Никаких изображений высечь на мраморе не успели: даже виноградных листьев, не говоря уже о портрете, о прятке с веретеном или корзине. Даже обычной печальной надписи, кто ставит памятник и кому.

Сверху — одно, на скорую руку, слово: «Дике», ниже — ряды корявых, поспешно выбитых строк...

Легионер сбросил плащ, положил на могилу пучок голубых мелких цветов, которые он нарвал у входа на кладбище, на солнцепеке, и сел на соседний холмик.

В бывшем доме стратега Аполлония — опять попойка. Вина много. Еды много. Веселились всю зиму.

В дальних сирийских селениях с высокими конусообразными крышами убогих каменных хижин нахватали смуглых угрюмых девушек. Жутко смотреть, что с ними стало к весне! И с девушками, и с легионерами. Какой-то проныра — так он себя называл, — узкоглазый, толстый, завез в Зенодотию проклятое белое зелье, от которого человек дуреет, и научил солдат курить его.

И некому призвать их к порядку. Заглянет иногда начальник из Ихв или Карр, — того хуже. В тех городах, при местных жителях, добровольно признавших римскую власть, надо, хочешь не хочешь, вести себя относительно прилично. А тут все свои...

Стража на стенах и у ворот храпела в хмельной истоме. Ворота запирали только на ночь, днем всяк бродил где хотел.

А парфяне — где же парфяне? Ну и война! Может, грибуны, вроде Петрония, просто выдумали этот неведомый грозный народ, чтобы разжечь в легионерах задор боевой? Красс где-то считает добычу. У него нет забот о военных учениях, о подготовке к походу...

Как всегда, когда начиналась вакханалия, Фортунат ушел на «некрополь» — греческое кладбище за городской стеной. Вот уж где тихо, спокойно.

Сперва он долго стоял у оврага, над общей могилой погибших здесь римских солдат, без слез горевал по отцу. Отец никогда не плакал и не любил, если кто плакал при нем. Затем Фортунат отыскал между склепами скромную могилу. Он набрал на нее однажды в часы тоскливых скитаний и с тех пор приходил навестить.

Солнце грело ему голову, плечи. От ярких лучей слезились глаза. И сквозь слезы, уже который раз, Фортунат читал на могильном камне:

Будешь помнить?.. Припомни все,
Невозвратных утех часы, —
Как с тобой красотой
усплаждались мы...

Сядем вместе, бывало, вьем
Венки из фиалок и роз...

Он не знал, что это стихи Сафо. Но хорошо понимал их. И Фортунат плакал здесь, один, над никому, кроме него, не нужной, забытой могилкой.

— Он у нас чистоплюй! — издевался над ним Тит, когда Фортунат покидал их пьяное сборище. — Ха-ха! Мамин сыночек. Поэт...

Если ты не лезешь со всем свинным стадом в грязную лужу, ты уже не такой, как все. Ты чужой.

Он все думал свое. Вот был здесь город, живой. И каждый, как умел, занимался своим делом. Маленький город, в нем никто не помышлял о великих походах и завоеваниях. Никто никому не угрожал. С населенным местным греки давно уже поладили. Во всяком случае ни один из жителей Зеподотии никогда не бывал в Риме, не собирался стереть его с лица земли...

Так почему же Рим нахально явился в этот бедный город и стер с лица земли его жителей?

Фортунат не понимал. Молод еще, слишком мало он знает. Непонимание рождает отчуждение, отчуждение — злобу. Из злобы, не находящей ответа на ее вопросы, вырастает ненависть.

Ко всем и ко всему на свете...

* * *

Сурхан, со своим конным войском, чрезвычайно легким на подъем, явился в Мидию, крепость Газаку, где начальника саков ждал царь царей.

Последний раз они виделись осенью, когда Хуруд, рассердившись на Сурхана за одну его не совсем безобидную шутку, отправил строптивного сака в Мехридаткерт.

— Поживешь в тишине у молчаливых святынь, — может, они тебе внушат осторожность в речах...

А шутка была такой:

— Случись, не дай господь, в нашей стране повальный мор на мужчин, государь сам один сумел бы заменить всех усопших. И государство не осталось бы без детей... — Сурхан намекнул на бесчисленных, злых и прожорливых чад Аршакида, — лишь сыновей у него было тридцать. — Ведь у нас и сейчас, куда ни плюнь, попадешь в жадно раскрытую руку царского сына. Вскоре все население державы будет состоять из царевичей и царевен. Это бы ладно! Но

кому же тогда землю пахать, скот пасты и кормить ораву сладкоежек?

Да-а, хороша шутка...

Сурхан озабоченно хмурил густые, круго вспинутые брови. Какой же будет она, эта новая встреча?

— Родителю нездоровится,— предупредил бледный царевич Пакор.— Пусть достойный Сурен,— назвал он сака на парфянский лад,— не обременяет владыку слишком долгой и утомительной беседой...

— Воздержусь,— угрюмо кивнул Сурхан.— Я не охотник до пудных разговоров, ты знаешь.

Пакор, сам изможденный и белый, как хворый, ведя Сурхана с десятком его телохранителей в глубь помещений, то и дело вздрагивал, оглядывался, в страхе замирал перед поворотами и высылал слуг вперед, проверить, свободен ли путь.

Усы у него мелко тряслись, как у кролика.

«Что это с ним? — раздраженно думал Сурхан.— Вот еще один умственный педоносок будет нами править, если Хуруд вдруг возьмет да умрет...»

Не дай господь! Хуруд — тот хоть чем-то обязан Сурхану, с ним еще можно ладить...

Из ниши узкого окна над каменной лестницей, хлопнув крыльями, слетела горлица.

— Вай! — Пакор чуть не упал.

Сурхан озарился веселой догадкой: «Бойтся! Он бойтся Красса. Ведь это трус. Вот почему у него такой похоронный вид. Фромены уже мерещатся ему у крепостных ворот».

Они быстро ввалились все вместе в просторный зал, где вдоль стен, на коврах, уныло сидели сатрапы, начальники боевых отрядов, старосты окрестных селений.

Царь царей хворает...

Сурхан на ходу отвесил всем легкий поклон, в ответ на который, уже за спиной, услышал приветливо-равнодушное бормотание. На ходу отстегнул, сунул стражу свой меч. Он спешил. Телохранители остались в зале присутствия.

— Сурен! — со столом приподнялся на ложе рыхлый, оплывший Хуруд с завязанной головой.

В опочивальне темно, как и во всей этой мрачной крепости, и лицо его величества, продолговатое и бледное, как тыква, зеленеет в душевной тьме.

Может, от тонкой зеленой завесы на узком окне оно кажется зеленоватым.

— Как я ждал тебя! Глаза проглядел.

Царь, кряхтя, усмехаясь и морщась, потер поясницу.

Мел, прости, я бы рад встать навстречу тебе, да глупая боль не пускает. Смешно. Государь отстранил халдейского лекаря, который бережно поддерживал его под локоть, обнял и поцеловал Сурхана, услужливо наклонившегося к нему.

— Ну что? Все таишь обиду на меня, сын мой любезный?

Аршакид отер полой атласной туники мокрые губы. Еще недавно крепкий, подвижный и, со своим крупным посом, большими глазами и подбородком, даже мужественно красивый, он теперь как-то весь опух, обвис и ополз.

«Неужто и я в пятьдесят с чем-то лет стану такой же развалиной? — горько подумал Сурхан, тронутый его беспомощностью. — Если доживу до пятидесяти с чем-то лет...»

— Какие обиды, отец? — вздохнул Сурхан. — В такое время... — Он уже простил царя в своей душе. Человек пожилой, усталый. Мало ли на кого какая находит блажь. Сурхан и сам не из меда сделан...

— Да, ополчился на нас злой дух Анхро-Манью в образе нечестивого Красса!

Хуруд потянул Сурхана за его огромную руку и усадил на ложе возле себя. От ложа, застланного ярким шелковым покрывалом, пахло чем-то кислым, убогим, унижающим достоинство царя царей. И Сурхан, нагнувшись, отер измятым этим покрывалом слезы жалости к больному.

— Что будем делать? — спросил Хуруд пропикновенно. — Из-за Тигра пришел какой-то беглый человек. Он донес: Красс сводит к Фурату (Евфрату), к переправе у Зейгмы, все свои легионы.

Он сделал усилие, сел. Взял со столика чистую писчую доску, стило, изобразил извилистую линию — реку и обозначил слева возле нее город — кружок.

— Как велико фроменское войско? — склонился Сурхан к писчей доске, видя в ней пустынный берег и нестерпимый блеск воды под весенним солнцем.

Все время ему здесь приходится гнутья. А говорят, малые гнутя перед большими. Наоборот...

— Беглец говорит: тысяч сорок, если не больше.

— Ого! — Доска почернела в глазах Сурхана. — Что за беглец? — спросил он с досадой. — Как его зовут?

— У него нет имени, — зевнул Хуруд. — Безвестный бродяга с черной повязкой на лбу. Видно, клеймо под ней скрывает...

— Какой он из себя?

— Сероглазый.

— Да?— встрепенулся Сурхан.— Дозволь, я возьму его себе? Коль скоро он из тех мест, покажет пути-дороги.

— Возьми. Если не успел удрать.

— Он где-то здесь,— сказал Пакор.— Я утром видел его. Он вышел взглянуть на войско твое. Найти?

— Сам найду.— У Сурхана отчего-то потеплело на душе. Будто ему пообещали необыкновенную встречу.

— Итак...— Царь поправил доску на коленях, чтобы уложить ее поудобней.— Мы знаем, где Красс. Но куда он тронется оттуда? Может, вверх по Фурату, на север, в Армению.— Царь прочертил дрожащей рукой стрелку вверх и вправо. Она получилась неровной.— А может, на юг, на Селохию,— провел он вниз другую слабую стрелку.— Мы здесь,— проложил Хуруд еще одну извилистую линию — реку Тигр и подальше, справа от нее, обозначил вторым кружком Газаку.

— Как полагаешь, сын мой любезный,— царь осторожно погладил Сурхану тяжелую руку,— не пойти ли мне с главным войском в Армению?— Он указал на вощенной доске короткой четкой стрелой свой путь наперерез войску Красса.— Этим я обезврежу друга фроменов, Аргавазда,— о ничтожный сын великого отца!— и закрою Крассу северный ход. Ты же двинешься прямо отсюда за Тигр,— он пересек справа новой четкой стрелой вторую извилистую линию,— чтобы отвлечь противника на себя.

Царь сказал об этом, как о деле уже решенном. Видно, не раз и не два совещался в Газаке царь с другими военачальниками; они все вместе, заранее, без Сурхана, и придумали, как вести войну.

То-то Хуруд так гладко излагает их замысел.

Ну что ж, что без Сурхана! Некогда ждать, торопились. Враг у ворот. И много чего происходит в стране без него. План все равно толковый, не возражишь...

Ох! Фромены, армены... Похоже, всю тяжесть войны придется нести бедняге Сурхану.

— Ты, как зверь, нападешь на Красса сбоку,— продолжал усталый Хуруд,— измотаешь его в мелких бесчисленных стычках, расстроишь его ряды... и тогда отдохнувшее, бодрое главное войско наше, обойдя проклятых фроменов, ударит на них всей мощью.

Он резко процарапал, сдирая стилем воск до тонкого дерева, широкую дугу-стрелу в тыл противника. И выдохся на этом. Ни бодрости, ни мощи в его умирающем голосе.

— К твоей тысяче сакских храбрейших латников я добавлю девять тысяч легких конных стрелков и копейщиков.

С этими силами ты причинишь фроменам немалый урон. Связным между нами будет Силлак,— царь кивнул в темный угол.

Оттуда выступил маленький невзрачный человек и почтительно поклонился Сурхану. Сак скривился. О Силлаке говорили, что это «око и ухо царя», соглядатай.

Ну, ладно. Сурхан не скажет и не сделает ничего такого, о чем бы стоило донести царю.

— Согласен? Думай. Но думай быстро. Мне, как видишь, трудно сидеть, говорить и даже слушать...

Вот и все! Обошлось. Пока что.

— Лучше того, что придумал ты, государь, ничего не придумаешь,— улыбнулся благодарный Сурхан.— С какой стороны ни хотел бы нас достать паглый Красс — с юга, севера или еще откуда, я задержу его между Фуратом и Тигром. Но главному войску,— заметил он осторожно,— не следует медлить. Пусть оно, если того пожелает судьба, подоспеет в урочный час.

— Я подоспею.

— И еще, государь. Армянский царь Артавазд фроменам друг поневоле, силой ему навязали эту нелепую «дружбу». Большой удачей было бы для нас договориться с ним по-хорошему и получить от него тысяч десять-пятнадцать венцов смелых.

— Я постараюсь. Стой, куда ты? Сейчас подадут...

— Пусть царь царей простит, но ему известно, что в походе Сурхан не ест и не пьет отдельно от войска.

Сурхан опустился перед царем на колени, царь добродушно погладил Сурхана по склоненной голове. И саку вдруг показалось, что государь оцупывает ее, прикидывая тяжесть...

— Что ж, не медли, ступай, своевольный!— печально вздохнул царь Хуруд Второй.— Я велю поднять меня на носилках на крепостную стену и полюбуюсь сверху, как ты ведешь свое отважное войско...

— Идем, Силлак.— Забрав свой меч, Сурхан с тягостным недоумением поспешил прочь из душного, с гадким запахом, помещения наружу, в свежий воздух.

Носилок царю не понадобилось. Повеселевший, бодрый, как всегда, он с усмешкой снял с головы повязку и легко взшел с Пакором наверх, к зубцам крепостной стены.

— Отвязались,— сказал Пакор.— Не стал шуметь и доносить в вопросы.

— Да, молод Сурен, горяч.— Царь с улыбкой тронул седые усы.— Пусть и скачет навстречу своей судьбе! А мы

подождем в зеленых армянских долинах. Нам же к спеху, верно?

— Красс его проглотит, — вздохнул покорный Пакор.

— Пусть! Мы — Красса. Все равно не прогадаем.

— А если... Сурен разобьет глупого Красса?

— Тем лучше! Тогда мы проглотим беднягу Сурена...

Воины ждали начальника в поле. Они сидели на коротках, намотав на кулаки поводья нерасседланных коней. Ни шатров, ни костров, ни смеха, ни песен. Зубы стиснуты, в глазах угрюмость. Мало ли что... Вот времена! Чужих бойся — бойся и своих...

Разбили одну палатку — для предводителя, и над ней, на высоком древке, мысленно и выжидательно извивался на легком ветру шелковый желтый дракон.

Сурхан явился. Поле, покрытое тысячей «неразнимых» — воинов в чешуйчатых крепких доспехах, — всколыхнулось, зашевелилось. Вздох облегчения резким порывом весеннего теплого ветра прошел по войску. Взметнулся, как шорох травы, негромкий довольный говор и стих.

— Эй, Красный!

Навстречу Сурхану, который спрыгнул с коня у палатки, встал смуглый худой человек с черной повязкой на лбу.

— Ты?! — вскинул руки Сурхан. Он рванул человека с черной повязкой к себе, прижал к могучей груди. — Живой? Ох, как мне тебя не хватало! Ты откуда, где пропал? Почему на лбу повязка?

— Память о Риме. — Гость сдвинул черную ленту на волосы, и Сурхан прочитал багровую надпись: «Верни беглого Крассу».

— А! — Сурхан всплеснул руками, замотал головой. Взял беглеца за плечи, осторожно поцеловал в клеймо. — Я... он... — Сурхан прослезился. — Хорошо, он тебя увидит. Клянусь, я устрою ему встречу с тобой!

— Непременно, — тихо сказал беглый раб. — Непременно нам нужно встретиться с ним...

— Как ты попал к нему?

— Э! Долго рассказывать. Сперва накорми.

— После! — Сурхан с тревогой оглянулся на крепость. — Угощение оставим на после. Как и все разговоры. Сейчас нам нужно как можно скорее убраться отсюда. Отныне ты мой проводник и советник. Фарнук, дай ему лошадь!

— У тебя что-нибудь не так? — насторожился друг.

— А что в мире так? Все не так, как надо. — В его карих, с золотом, глазах черной тенью мелькнуло отчаяние.

Сурхад приложил ладони трубой ко рту. Над полем взлетел протяжный, тонкий и хриплый, пронзительный визг. Невыносимо долго, кружась, поднимаясь все выше к небу, звучал раздражающий вопль. Итицы шарахнулись в сторону и заметались над крепостью. Стучали кобытами, фыркали копы. У людей на глазах сверкнули слезы.

Нарастая все туже и глубже, перелился в визкий утробный стон, подобный весеннему крику пустынной рыси, по стократ сильнее и громче, и завершился глухим грозным ревом сакский военный клич.

И грозным весенним громом, беспощадным и диким, вбивающим в землю все живое, грянул ответный рев сакской вольной ковыли.

Человек с черной повязкой на лбу весь побелел, отчего повязка, казалось, отделилась от его лица и повисла в горячем воздухе. Он векнул руку ко лбу, к повязке, чтобы сдвинуть ее и отереть обратной стороной ладони с клейма едкий пот, да так и замер, будто что-то вспоминая.

* * *

Красе на пути к Зейгме уныло разглядывал и растирал распухший белый мизинец на правой руке.

Сустав постоянно и тупо поет, — к этому можно привыкнуть, но стоит задеть обо что-нибудь, как в пальце острым беззвучным визгом взметается злая боль.

Кольцо Анахиты вросло в него глубоко, неподвижно и жадно, не снимешь. Привязалось, проклятое! Камень в нем с каждым днем выцветает. Он уже грязно-бурый. Будто палец Красса, как паук, выныл из рубина алый сок. И все равно сам он весь белый...

Тряся в расшатанной повозке отвислыми губами, Красе поносил все на Востоке, жалуясь Публию, сопровождавшему отца верхом:

— Никакого порядка! Лень. Разброд. Бесхозяйственность. И солнце здесь слишком горячее...

— И воздух пыльный, а пыль, — подхватил, морщась, Публий, — ядовитая.

И так далее:

— Русла рек каменисты, дороги ухабисты...

— Вода мутновата, вино горьковато...

— Хлеб грубый, лук едкий...

— Мужчины лживы...

— Женщины похотливы...

К тому же еще — вши, грязь и вошь. Чума и холера.

Нет уж, куда хваленому Востоку до чистой и ухоженной Европы.

Они ненавидели местных жителей за слишком темную, по римским понятиям, кожу, и оба согласно не замечали, какой это ладный, на редкость красивый народ. Варвар не может быть красивым! Красив только «хomo романус».

Можно подумать, их кто-то силой заставил тащиться в эту несуразную страну...

Хуже всего: все, что видел здесь старший Красс, огдавало — как утро — резкой пахучей свежестью, — опасной в старческом возрасте, ненавистной ему поэзией.

В самой пустыне, зловеще-безмолвной до горизонта, уже тащится поэзия, странная, дикая. Голый простор знойных гор и равнин внушает человеку беспокойство и коварно зовет его куда-то вдаль.

Заунывные молитвы в каменных храмах, их башни немислимой высоты, дерзко взлетавшие к яркому синему небу, отрывают его от земли, кружат ему голову.

В широкой и легкой одежде, может быть, и прохладней в жару, зато человек в ней пзлissime раскован и занимает много места.

Украшения непозволительно прекрасны и богаты. В самом деле, как допустить, чтобы варвар, который сам по себе — ничто, вызывающе носил в ушах, на шее, на руках и ногах столько редкостных драгоценностей?

Их танцы своей бесстыдной откровенностью будоражат кровь, отвлекают от серьезных мыслей. А песни? В тягучих звонких переливах слышится что-то чужое и недоступное, что никак нельзя уловить и втиснуть в знакомый, привычный и потому безопасный ритм.

Он разрушит все это! Мир создан для дельных людей с холодным умом и спокойной кровью.

* * *

В Зенотии, на рыночной площади, в душный полдень внезапно загремел барабан.

Фортунат возился, вспотевший, у трех огромных котлов на тяжелых бронзовых треногах. Он варил бобовую похлебку с сушеным мясом и луком. Уже который день, угорев от крепкого вина, солдаты питались всухомятку, чем попало, пили много воды и совсем обессилели.

Он помешивал в кострах корявой палкой, ее обугленный конец дымился. Так, с большой суковатой палкой в руке, Фортунат отошел от костров и обогнул водоразборный пор-

тик, где у чана плескался хворый, с опухшим красным лицом, злой Тит.

Проклятое место эта площадь! Стало проклятым с недавних пор. Каждый раз он видел его по-новому.

Когда-то оно служило торжищем — средоточием изобилия, которым греки обменивались с коренным населением. Прошлой осенью здесь затевалась веселая свадьба, — чем она кончилась, известно. Зимой солдаты день и ночь жгли на площади костры, — от густого летучего дыма потемнели, не очистить, колонны и стены прилегающих зданий.

Между плитами, черными от тех костров, как знак не-отвратимого запустения, проросла весной колючая трава...

Зачем надо было здесь нарушать ладную, размеренную жизнь? Затем, чтобы Тит и ему подобные упевались чужим вином, обжирались чужими привасами? Во имя какой такой высокой цели?

...Теперь — эти трое.

— Кто их впустил? — Фортунат обернулся к Титу.

— Самы вошли, — ответил Тит виновато.

Он понимал, до чего докатился. Но уже ничего не мог с собой поделать. И потому уже ничего не мог поделать с теми тремя сотнями легионеров, которых оставили под его началом стеречь пустую Зенодотию.

Фортунат вновь взглянул на пришедших.

Смуглый подросток в круглой шапочке и длинной, до пят, рубахе, самозабвенно стучал ладонями в барабан — короткую и широкую, с красивым узором, трубу с тонкой кожей, туго натянутой на оба конца и закрепленной медными обручами. Барабан висел у него на животе.

Взрослый сириец, — судя по несобъятному балахону и «куфие», пестрому платку на голове, он был сирийцем, — тумашно глядел в пустоту и начищал, готовясь, широчайшим рукавом блестящую темную, с медными кольцами дудку.

К его ногам пугливо прижалась коза со странно маленькой головкой и необыкновенно длинной шерстью...

Сириец поднес дудку к губам, упрятым в курчавой бороде. И разлился над площадью чуть суховатый, деревянный, но все же чистый певучий звук:

— Хэй-ра...

— Тум, така-там! — отозвался громко барабан.

— Тук-так, так-така-тук! — отбила козочка такт передними копытцами.

Она резко вскинулась на задние ноги и, подметая копытами шерстью, особенно длинной сзади, пошла, припрыгивая...

по кругу, шаловливо, как на лугу, изгибаясь то влево, то вправо, бодая острыми рогами воздух, кружась, опускаясь и стуча копытцами. Но строго согласуя каждый рывок, лобое движение с неукоснительно четким ритмом.

— Хэй-ра! Тум, така-там...

— Тук-так, так-така-тук...

Зрелище было настолько диким, невероятным, и все же ярким, захватывающим, что Фортунат так и замер с палкой в руке.

Странное чувство проснулось в нем! Редкое для римского солдата, у которого первое правило: «Бей, руби! Защищайся». Совершенно нелепое, казалось бы, в наемнике чувство близости к этим незнакомым пришельцам. Чувство узнавания человека человеком.

Это, похоже, отец и сын. Это их коза, одна в хозяйстве, которую они, путем всяких трудных ухищрений, научили плясать под барабан и дудку. Чтобы она добывала на всех хлеб и горсть-другую флиников.

У них есть где-то дом. И в доме женщина с усталым лицом с нетерпением ждет мужа и сына. Придут ли? Война. У нее, может быть, такие же грубые, в ссадинах, руки, как у его матери...

Фортунат замотал головой. Наваждеще.

Из соседних строений, как ночные жабы на свет, поползли на музыку опухшие, взлохмаченные, небритые легионеры. Бродячих «мимов», — так называли в Риме не только сами представления на улицах, но и участников их, — окружила толпа сонно сопящих людей. Развлечение! Они давно не слышали музыки, — разве что глухое, неумелое бренчанье кого-нибудь из друзей на кифаре...

Дудка резко взвизгнула, барабан оглушительно ахнул в последний раз.

Коза распрямилась, сбросила шкуру — и оказалась красивой девочкой лет десяти.

Она, улыбаясь, вскинула руки с копытцами, вырезанными из дерева...

Солдаты взревели изумленно, умолкли — и неистово захлопали в ладоши.

Девочка в короткой желтой безрукавке и зеленых шароварах взяла из переметной сумы медное блюдо и, потупившись, с уже потускневшей, но обещающе странной, дразнящей, обязательной для «мимы» улыбкой на смуглых милых губах, пошла по широкому кругу.

Она была свежа и чиста, как умытый весенним дождем одуванчик; никому из этих обормотов даже в голову не при-

шло, как обычно, схватить ее и потащить куда-то. Нет, кое-кому. может быть, и пришло, да зачем снести? Не уйдет. Пусть еще потащует. Уже без шкуры.

На медном блюде в руках юной танцовщицы обильно звенело серебро драхм и сестерциев. Перед ее обманчиво-скромной улыбкой не устояла даже римская скудность.

Одна из сирпийских жепщи что-то крикнула артистам на своем языке. Ей захлопнули рот оплеухой.

Взрослый «мим», не считая, сгреб выручку в замшевый кошель и почему-то взглянул на Фортуната. Может быть, потому, что он один сохранил в расхлестанной этой толпе человеческий облик. И смущенно отвел глаза.

И в мозгу Фортуната устрашающе дико забилась догадка:

«Зачем ему считать монеты? Он не за этим явился! Он считает солдат...»

— А ну, прочь! — Фортунат замахнулся палкой. — Прочь отсюда.

Он сам не знал, что не желанье уберечь Тита и его компанию от какой-то неведомой, смутной опасности заставило его гнать скоморохов, а подспудная тревога за эту красивую девочку, стремление спасти ее от вполне настоящей угрозы.

Они живо подхватились и двинулись по главной уллице с колоннадой к прямоугольному просвету раскрытых ворот.

Старший что-то сказал.

Девочка, со свернутой козьей шкурой на плече, обернулась и с укором взглянула в глаза Фортунату. Будто звала его за собой. И быстро-быстро, обгоняя своих, засеменяла босыми загорелыми пятками...

Она ни в чем не виновата. Так же, как и он. Ее впутали в темное дело, как и его — в кровавую бессмыслицу войны. Вдвоем, взятые вместе, отдельно от других, они были бы чисты и безгрешны перед богами.

Но перед людьми — нет.

Им никто никогда не даст быть вместе. Потому что они — из разных миров.

Она у себя дома, в своей стране, и служит ей, как умеет. Девочка может дурачить его и, считая невинных вражеских солдат, имеет право учечь и его глупую голову. Для тех, кто за нею.

Он — чужак. Незваный и наглый заморский гость, которому, по всем человеческим правилам, его дурную голову следует отсечь...

— Вернуть, допросить! — закричал Фортунат. — Это ларутчики.

И сделать это его побудил скорее страх упустить ее, чем страшные последствия тайного задания, с которым она сюда явилась. И в то же время ему хотелось, чтобы ей удалось скорее уйти, уцелеть.

Сколько человеческих побуждений, рождаясь из определенных, но глубоко скрытых чувств, перерастает в поступках в свою противоположность. Всем известно, как любовь легко переходит в ненависть. И радостный смех — в горькие слезы. Особенно у женщин. И у мужчин, если душа у них раздвояна. Как у Фортуната.

Никто не сдвинулся с места. Ему назло. Он испортил им удовольствие.

— Эй, ты чего расшумелся? — оскорбился Тит. — Пока что я тут командую...

— Недолго! — хмуро бросил Фортунат. — Недолго осталось тебе тут командовать.

Недоуменно взглянул солдат на тяжелую палку в руке. Она, угасая, слабо дымилась, легкий сизый дымок таял в воздухе. Негодяй. Ты грозил бедной девочке этой кривой уродливой палкой.

Сейчас и она исчезнет, как легкий дымок! Навсегда.

Фортунат бросил палку, взял свой пилум, — просто так, по привычке, как пастух неизменный посох, без него рука пуста и не знаешь, куда ее деть, а меч всегда при нем, — и налегке, без щита, лат и шлема, кинулся наружу...

* * *

Подходил к концу апрель. Войско Красса подходило к Евфрату. Семь легионов римской пехоты, четыре тысячи всадников и столько же пехоты легкой — всего сорок пять тысяч человек черной тучей покрыли пустынный западный берег реки, из-за которой, с востока, поднималась им навстречу во все небо черная туча весенней грозы.

Она еще не гремела, не полыхала молнией. Но все больше и больше сгушалась, гигантской горой наваливаясь на испуганно притихшую землю и глуша своим грозным безмолвием всякий звук на ней.

Кассий один стоял в стороне от всех на склоне холма и растирал в руке сухую землю.

— О чем думаешь? — подошел к нему младший Красс.

— Удивительной силы земля, — протянул к нему Кас-

сий ладонь с рыхлой каштановой почвой. — На ней может расти все, что захочешь. Если дать воды.

— Да, — кивнул Публий с усмешкой. — Воткнешь стрелу — взойдет копьё. И оружейных мастеров не нужно: ходи по полю, выдергивай колья и раздавай новобранцам...

— Ты солдат, а не пахарь, — вздохнул Кассий.

— И горжусь этим! — строго сказал младший Красс.

— А я вот думаю, — Кассий с холма оглядел римское войско, густо облепившее серо-зеленый берег, — по своему обыкновению, оно уже возводило неприступный лагерь, — если бы это сконичше крепких, здоровых мужчин, отложивших колья и взявших в руки лопаты, насыпало вместо крутых валов плотину через реку, какой бы огромный здесь возник водоем, сколько этой доброй земли он бы мог оросить. И весь засушливый край, где мы сейчас копаемся без толку, превратился бы в рай...

Публий удивленно покосился на Кассия, помолчал, сказал неуверенно:

— Может быть. Когда-нибудь. Но сейчас об этом отцу моему не говори. Он тебя высмеет. Эй, что там такое? — вскинулся Публий. — Что за переполох?

Они побежали вниз по склону.

— Армяне, — сказал встречный солдат.

...Давным-давно, еще при гордых урартах, в разноязыкий состав их могучего государства входили племена «арме» и «хап», родственные далеким фракийцам и фригийцам. Их предки когда-то, в незапамятные времена, переселились с Балкан в Малую Азию.

Урарту пало под напором мидян и скифов. Но племена армян в близких им хаев лишь на короткое время получили независимость. Их покорили мидяне, затем и персы. Армения долго была одной из сатрапий великой державы Ахеменидов.

Державу Ахеменидов сокрушил Александр. На смену иранскому засилью пришло греко-македонское: селевкидское и понтийское.

Но уже при Селевкидах намечилось первое армянское государственное образование: часть армян, спустившихся после ухода персов с гор в Араратскую долину и смешавшихся здесь с остатками урартского населения, основала свое независимое царство — Араратское.

Антиох Третий, захватив это царство, объединил его с основной областью расселения армян возле озера Ван, которая и стала с тех пор называться Великой Арменией.

Ее правителем Антиох утвердил местного династа Арташе́са из «почтеннейших армян» — из рода Ервандуни, который еще при Ахеменидах поставлял наследственных правителей сатрапий.

Государство Селевкидов, чужеродное на Востоке, постепенно хирело и выдыхалось. Великая Армения, со столицей в Арташате на реке Аракс, наоборот, набиралась сил на своей коренной основе.

Внук Арташеса — Тигран Второй присоединил к новому царству все области, населенные хайско-армянской народностью, и сверх того — Северную Сирию, Финикию, Восточную Киликию, а также часть албанских и парфянских владений. Его держава раскинулась от Средиземного моря до Каспия, от берегов Куры до Палестины.

Царь перенес столицу в новый город Тигранокерт.

Армянская знать придерживалась зороастрийского вероучения и молилась Митре, иранскому богу солнца. Народ почитал Анахиту. При дворе Тиграна жили ученые греки — философы и писатели, в театрах исполнялись произведения греческих трагиков.

Но Великая Армения оказалась недолговечной. Жизнь ее нарушил вездесущий Рим. Он нанес сперва поражение тестю Тиграна, понтийскому царю Митридату Евпатору, а затем — и самому Тиграну.

Здесь и отличился неизвестный Лукулл.

Он преследовал разбитых армян до тех пор, пока они, в единодушном порыве, не разгромили его у переправы, через Евфрат. Лукуллу пришлось покинуть Азию.

На смену ему явился грозный Помпей.

Помпей осадил Арташат, царю Тиграну пришлось сдать победителю на милость. Помпей взял с него огромный выкуп и включил бывшего противника в число «друзей и союзников римского народа». Великая Армения превратилась в скромное Армянское царство под эгидой Рима.

Теперь им правит Артавазд, который и приехал в римский лагерь поклониться суровому Крассу...

«И вправду ли он друг Риму, союзник?» — гадал Марк Лициний Красс.

Не поймешь!

Тысячелетний опыт выживания среди враждебных и сильных соседей, в кровавой борьбе с которыми армяне не только сохранились вообще, но и сплотились в единый народ, волей-неволей выработал у них особый характер: осторожность, осмотрительность, сдержанную выжидатель-

ность и рассудительность, внутреннюю скрытность и внешнею невозмутимость.

За все время пребывания в гостях у Красса царь Артавазд ни разу не улыбнулся и не нахмурился. Тяжелые веки. Тяжелый нос. Тяжелый подбородок. И узкие губы.

Он пригласил к вечеру римских военачальников в свой лагерь.

Пылал огонь. Быки и бараны дымилась на вертелах. Служители несли из обоза тяжелые бурдюки с вином...

При свете огромных костров, под визгливые переливы дудок и четкий стук барабанов, выстроившись в длинный ряд и положив раскинутые руки друг другу на плечи, воины в меховых конических шапках, коротких узких кафтанах и высоких сапогах, дружно перебирая стройными ногами и вскидывая колени в лад однообразной музыке, танцевали старый горский танец.

Их лица бесстрастны, как на монетах. У всех одинаковы движения. Бесконечен и ровен ритм барабанов.

Равномерно наступает на зрителей и отступает от них тень танцующих воинов.

Так можно танцевать до утра.

Но именно это однообразие, бесконечное и неизменное повторение одних и тех же звуков, непрерывно воздействуя на слух, постепенно нагнетает воипственный дух и хлесткое чувство единства и взаимности.

Хоть сейчас в бой.

— Странный народ, — сказал «император» Едноту, сидевшему слева от него. Артавазд, сидевший справа, не слышал их под неумолчный грохот барабанов. Крассу претила непонятность армян. — По обличью как будто греки. Имена же у них персидские. А язык?

— Язык — свой, армянский. Его никто другой не понимает. И быт у них свой, — ответил еврей. — Особый народ. Имена же — от индийцев, персов, парфян: армяне долго находились под их влиянием. «Тигран», «Артавазд» и так далее. Арташес, например, от иранского «Артаксеркс», — был у них царь такой. А вообще-то да: они и есть, уж коль рассудить, нечто среднее, переходное между греками и персами. Как парфяне — между персами и скифами...

Артавазд привел с собой шесть тысяч всадников, так называемых «царских стражей и провожатых».

— Твой верный друг Артавазд, — сказал армянин «императору» с безразличной приветливостью, как будто речь шла о незначительных мелочах, — обещает тебе, о великий, еще десять тысяч конных латников и три тысячи пешех.

воинов. Если б великий дозволил, я, недостойный, осмелился бы дать ему некий скромный совет.

— Говори,— кивнул доброжелательно Красс, ободренный расположением армянского царя и его щедрой помощью.

Матерью Артавазда, как доложили Крассу, была гречанка, дочь понтийского царя Митридата Евпатора, получившая воспитание в духе эллинской культуры. Потому, должно быть, и говорил он на «койнэ» закругленно, плавно и гладко, как говорят образованные женщины, но с восточной уклончивостью.

— Если б император пожелал, он мог бы двинуться в Парфию через Армению. У нас он будет не только иметь в изобилии все необходимое для войска, но и совершит свой поход в безопасности, защищенный горами и непрерывной чередой крутых холмов. То есть местности, недоступной коннице — главной силе парфян...

Красс встrepенулся. Заманчиво! Верхняя Месопотамия уже у него в руках,— в Каррах, Ихвах и прочих городах находятся войска, оставленные прошлой осенью для сторожевой службы. Значит, не нужно тратить время на новый поход в ту область. Через Армению и далее, Атропатену, он без помех, обходным путем выйдет на Тигр, к парфянской столице Селевкии.

— Предложение дельное. Хорошо! Я подумаю.

Но вскоре, на этих же днях, случилось нечто, после чего им стало не до взаимных любезностей, и пути их резко разошлись. Навсегда.

* * *

...Он мог бы догнать их, метнуть острый пилум — и обезвредить старшего, у которого, конечно, под балахоном спрятан кинжал, а этих двух, малолетних, схватить, вернуть назад, допросить. То есть отдать на расправу Титу и его свирепым друзьям.

Мог бы! Другой. Не Фортунат.

Ради нее...

Дику хоть похоронили. Кто и где похоронит эту? Выкинут в темный овраг, на съедение грифам.

За что? Войну затевают злые старики, которым уже ненавистен весь мир и никого не жаль. Не могут ужиться — пусть возьмут костыли, выйдут в поле и перебьют друг друга. Почему, как война,— на ней больше, чем солдат, гибнет женщин, детей? Несправедливо.

...Они сбросили поклажу на осла, привязанного у ворот, и погнали его перед собой. Если пройдут по мосту через овраг и двинутся по дороге к реке, то никакие это не лазутчики, — в той стороне все уже римское. Если свернут у моста на юг...

Именно с юга ждали парфяк. Если они вообще существуют.

Но «мимы» свернули возле моста совсем в другую сторону. На север. И пошли, озираясь, под городской стеной, над оврагом, к тихому кладбищу, где любил бывать Фортунат.

Он следил за ними, прячась за выступами башен.

Они пустились бежать вдоль кладбищенской ограды. Фортунат, между тем, заскочил на некрополь, сквозь пролом в ограде высунул голову. Сирийцы скрывались в темной ореховой роще. И больше не появлялись. Ждут кого-то? Или двинулись дальше, прикрываясь деревьями?

...Фортунат уловил далекий, тихий и вкрадчивый стук. Он долго не мог понять, что это такое. Хотя в общем-то звук был ему уже давно знаком. Догадался: коньга стучат! Они редко здесь стучали, — лишь тогда, когда в Зенодотию наезжало начальство. Потому и отвык от них.

По осторожной дробности стука определял: едут четверо или пятеро, и едут не торопясь. Он встал на упавший камень, посмотрел через ограду. На дороге, ведущей от Зенодотии к речке, нет никого. Нет никого и на восточных холмах, из-за которых из Карр прибывают обычно важные гости.

Где же всадники? Фортунат огляделся вокруг — и увидел их совсем близко, у себя за спиной, возле рощи, где укрылись сирийцы. Он заметил на конниках клобуки, сердце тяжело заныло: враг!

Всадники спешились в роще, привязали, прячась в ее черной тени, рослых коней.

Какое-то время они совещались.

Знал Фортунат, что им сказали лазутчики! Гарнизон невелик и беспечен. Городок, по существу, беззащитен. Берг его голыми руками. Эх, распустились мы здесь...

Один, в коротком серо-зеленом кафтане, в широченных шароварах и мягкой обуви, побежал, пригнувшись, от куста к кусту и добрался до кладбищенской ограды.

Фортунат мгновенно упал под могильный камень и сам будто окаменел. Вражеский воин залез на ограду, оглядел «мертвый город». Фортунату казалось, он слышит шорох, даже дыхание недруга. Воин махнул рукой своим и прыгнул по ту сторону полуразрушенной каменной стены.

«Парфяне, парфяне! Где парфяне?»

Вот, получайте. Дождались...

С холмов к ореховой роще уже спускался крупный копейный отряд.

Первые шестеро пырнули в овраг. По оврагу они подбегут к мосту, от которого до ворот — копьём достать. Перебегут площадку, перережут сонных часовых...

У одного в руке, как успел заметить Фортунат, дымилась фпгиль. Да, это не девочки с двусмысленными улыбочками. Тут все ясно. Как блеск длинных кинжалов в их руках. А Фортунат — налегке, без щита и без лат.

Но зато у него есть плум и меч.

Он кинулся к мосту. Все зло, которое в нем накопилось в последнее время, будто вскипело, расплавилось и заструилось по жилам горячим жидким свинцом. И хлынув к рукам, сделало их тяжелыми, как огромные ядра для баллисты.

Фортунат опередит их. Он их встретит!

«Я вам покажу. Я вам докажу! Титу, Крассу — всем, кого ненавижу...»

Ведь известно, человек подвельный очень часто срывает зло не на тех, на ком следует...

— К оружию! — взревел Фортунат, как, бывало, Корнелий Секст.

Нет, те, в городе, не услышат его. У них — послеобеденный отдых...

Фортунат метнул копьё в первого, кто вылез из оврага. И бросился с мечом на остальных. Ах, отец! Спасибо тебе. Как хорошо ты выучил сына владеть мечом...

Справа от него, на кладбищенской дороге, загремели копыта парфянской конницы.

...Танцуй, сестричка. Ого, какой нахрапистый. Дзинь! Кинжал отлетел. Фортунат нанес точный колющий удар. А-а, вы тоже без лат! Легкая конница. Ладно. Второй. Звяк! И третий. Танцуй над трупом моим! Веселись... Ты молодчина. Ах! Пропорол козочка волчью шкуру острыми рожками...

* * *

Красс вызвал к себе легата Октавия:

— Снаряди за Евфрат две-три манипулы, узнать положение в тех городах...

— До недавних пор, как мне известно, там было все хорошо.

— До недавних пор! — вспыхнул Красс. — А сейчас?

Октавий внимательно взглянул в глаза «императору». Все не так в этой глупой войне. Все не так! Не война — игра. Из городов, завоеванных осе~~ль~~^{ью}, не надо было возвращаться в Сирнию. С них и начать бы весенний поход.

— Случись что-нибудь, они известили бы нас, — пожал плечами Октавий.

— Все равно! Армяне идут, пойдем мы с ними или переберемся на левый берег.

— Хорошо. Я пошлю людей...

Но нужда в этом тут же отпала. За палаткой «императора» вдруг сотворился перенолох. Красс вышел взглянуть, что случилось, — и дряблые губы его отвисли ниже обычного.

...В толпе сбавившихся легионеров, сытых, здоровых, стоял, опираясь на обломок копья, центурион по имени Тит. Фортунат лежал на носилках, — два его истерзанных товарища, не в силах больше держать, опустили, верней — уронили их на землю. Фортунат застонал, весь перевязанный, бледный.

Позади, держась друг за друга, шатаясь, понуро топталось еще человек двенадцать-тринадцать. Оки походили на рабов, только что вылезших из рудника. Живого места на них не сыскать. Черные рты. Черные рапы. Лишь глаза у всех от ужаса белые.

— Караульный отряд. Зенодотия... — Тит рухнул перед Крассом. — Нас было триста. Вот. — Он еле повернул голову, чтобы кивнуть на товарищей. — Кое-как.. до Евфрата.. лодку нашли...

Он больше не мог говорить.

— Дайте ему вина! Чистого, крепкого, не разбавляйте.

Тит и пить не мог. Ему силой влили вино в раскаленный рот. Вино как будто даже зашипело на сухих занекшихся губах.

Воин, словно проснувшись от жуткого сна, жалко взглянул снизу вверх — и протянул «императору» руку. Красс безотчетно взял эту слабую руку, помог Титу встать.

Тит обернулся к реке.

Он долго смотрел на дальний берег. Что он вспоминал? Губы его тряслись, как и у Красса, готового услышать самое худшее.

Но Тит ничего не сказал. Он задергался весь, взмахнул зарыдал — и упал на грудь «императора», как бы спасался на ней от пережитых мучений.

Красс брезгливо отбросил его. Центурион, застонав, растянулся на измятой зеленой траве.

— Всех... в лазарет,— скорчился Красс от острой боли в правой руке. Проклятое кольцо!

...Первым, как самый крепкий из всех, воспрял, пройдя через руки лекарей, духом и телом Тит. Да и у остальных было больше ссадин, царапин, порезов на коже, чем серьезных ран. Лишь Фортунат еще не вставал.

Но он уже очнулся:

— Мы где?

— У своих!— Тит склонился к нему, влил в рот вина с холодной свежей водой.

Ах, как ее не хватало, свежей холодной воды, на серозеленых жарких холмах!

На речке, где часть солдат утонула в мутных волнах, застаться не сумели,— неприятель бил их с берега стрелами. Пить пришлось из дождевых луж в глубоких лощинах.

— У своих, друг Фортунат! На большой реке...

— Разве мы... не погибли... все там, у ворот?

— Отбился! И пробился — сквозь ад. Не все, конечно. Парфяне преследовали нас, многих убили по дороге.— Тит напоил Фортуната крепким и острым жидким мясным отваром с чесноком и красным стручковым перцем.— Тебе нужно скорее встать. Мы еще вернемся в Зенодотию.

— Вернемся,— улыбнулся Фортунат.— Почему же ты,— спросил он удивленно,— не бросил меня?

— Как?— вскричал центурион.— Ты наш спаситель. Герой. Мы тащили тебя по дороге к дурацкой той речке, и через нее,— в ней теперь вода бушует, как море. И далее, по крутым холмам. Мы рубились над тобой с врагами! Я никогда не забуду...

Тит заплакал. Что-то в последнее время он стал слезлив. От долгих зимних пооек, что ли, еще не совсем очнулся. Или его настолько уж потрясли события того недавнего дня у стен Зенодотии? Нет, скорее всего, от пьянства надорвался,— в переделках всяких бывал, крови не боится.

Отерев глаза, он тихо молвил:

— Красс будет тебя расспрашивать...

Фортунат скривился:

— Я ему ничего не скажу.

Красс, с толпой приближенных, сам явился в обоз — допросить уцелевших солдат из Зенодотии.

Тит был скуп на слова:

— Нам говорили, самое трудное в войне с парфянами — их догнать. Нет, оказалось, самое трудное — убежать от них...

Другие солдаты вторили ему:

— Их целые скопища...

— Их стрелы невидимы. Раньше, чем заметишь лучника, тебя пронзает насквозь...

— Их копья пробивают любой щит и панцирь.

— А панцири таковы, что выдерживают любой удар...

Октавий и Кассий переглянулись. Их мужество таяло. Пусть солдаты с перепугу передают события в преувеличенно страшном виде, все равно за этим таится что-то грозное, смертельно опасное...

Артавазд, как всегда, бесстрастен.

Петроний хотел было, как всегда, припомнить применительно к случаю какой-нибудь эпизод из походов Александра, но Красс взмахом густых бровей заставил его молчать.

Военный трибун больно скривился, обжегшись горячей каплей неизвергнутых слов. Грубость, предельная скупость черт его лица точно соответствовала складу ума. Но она же, сочетаясь с кислым прищуром глаз и неопределенной улыбкой, выражала и злобную хитрость, которая заменяет людям бездарным тонкий ум.

— А что в других городах? — сурово спросил Красс у Тита. Солдаты явно что-то скрывают и, сговорившись, избегают подробностей.

— К нам пристала на холмах горстка людей из Ихв и Никефория, но парфяне, догнав, перебили их. Вместе с целой центурей наших...

— А ты что скажешь? — обратился Красс к Фортунату.

— Он еще слаб, потерял много крови, — ответил за друга Тит.

— Что ж, придется его оставить в Зейгме.

— Нет! Он быстро оправится. Он железный. Мы возьмем его с собой. Я буду сам ухаживать за ним. Мы все, — кивнул Тит на товарищей. — Пусть император знает, — сказал честно Тит, — этот парень более достоин быть центурионом, чем я. Если б не он, мы сейчас все лежали б в овраге у Зенодотии. И я, в его пользу, слагаю с себя высокое звание...

— Вот как, — пробормотал «император». Он не забыл, как велел сечь Фортуната. Ну что же, значит, урок пошел ему на пользу. Красс всегда прав. — Это тебе и ответ на

твое предложение, — повернулся Красс к Артавазду. — Я, как видишь, не могу идти в Армению. Я должен вывезти своих людей, оставшихся в тех городах. Как ты заметил, — показал он подбородком на Тита и Фортуната, — римляне не бросают товарищей, попавших в беду...

Восемь тысяч! Восемь тысяч его солдат в данный миг, обливаясь кровью, отбиваются от свирепых парфян. Пусть часть их погибнет, — из остальных можно будет сколотить пяти-шеститысячный прочный легион. Ударный, полноценный легион из людей, уже испытавших на себе силу парфянских стрел и применившихся к неприятельской тактике.

Он по привычке перевел их стоимость на деньги. Скажем, по сто драхм за голову, — это уже пятьсот-шестьсот тысяч драхм...

Нет, Красс не может допустить такого убытка.

— Ты пойдешь с нами, — приказал Красс царю Артавазду.

— Увы, — вздохнул армянский царь и развернул тугой свиток с какими-то закорючками, непонятными Крассу. — Из Арташата. Царь Хуруд вторгся в Армению. Твой покорный слуга должен срочно отбыть с войском домой. Лишь уладив дела в своей стране, он сможет вернуться под высокую руку императора...

В его темно-карих глазах нет ничего, кроме обычной почтительности. Но в их глубине Крассу почудилось нечто коварное. Может быть, оттого, что надежда на армянское войско вдруг оказалась пустой.

Пригодилось бы это войско! Каждый солдат теперь па счету. Тем более, что две когорты, тысячу двести легионеров, пришлось оставить при храме Деркетю, где Красс, по настоянию Кассия, войскового казначея, сложил все сокровища, добытые им на Востоке.

— Ладно, — кивнул Красс потерянно. — Ты прикроешь нас от нападения, с вашей, северной стороны.

Октавий и Кассий переглянулись.

— Все! — воскликнул Кассий. — Игра в войну кончилась. Началась настоящая война...

Нет, до настоящей войны было еще далеко! Игра продолжалась. Но вел ее уже не Марк Лициний Красс...

Неба не стало. Оно сплошь превратилось в гигантскую тучу — пизкую, черную, сквозь которую, откуда-то сверху, пугающе мерцал глухой багровый свет. Над желтой рекой, в неподвижной мгле, туманно-расплывчатой полосой висело ее отражение.

В сухой душной мгле глухо стучали топоры, хрипели пилы. Войско наводило переправу. Темно и глухо было у всех на душе. Один Красс не поддавался унынию. Началось! Он чуть не подпрыгивал от возбуждения. И как всегда в минуты возбуждения, голос его звенел и приобретал особую красоту:

— Старайтесь, дети! Старайтесь. За этой рекой вас ждет все золото мира...

Солдаты уже заканчивали работу. Легкая конница готовилась первой вступить на понтонный мост и разведать обстановку на левом берегу. Красс присмотрел на той стороне большой, заметный издали холм со скалистой верхушкой и крутыми гладкими склонами, покрытыми снизу густым кустарником.

— На этом холме мы построим лагерь. Удобное место! И оттуда — в Карры...

— Карры! — кричали вороны на скалах и на редких прибрежных деревьях. — Карры, Карры! Кра-асс...

Река здесь, у Зейгмы, не очень широка. Но сейчас она переполнена мутной весенней водой; течение в ней, обычно медленное, сделалось грозно-стремительным. Пришлось потратить немало усилий, чтобы соорудить между двумя крутыми берегами лодочный мост: Плоскодонные суда — «пюнто», бревна, доски для настила и прочий строительный лес войско привезло с собой в обозах.

Тяжек солдатский труд: все это надо разгрузить, снести к воде, сбить и скрепить, а после переправы разобрать и вновь сложить на прочные повозки, запряженные быками. Впереди еще немало рек, в том числе и великих: Тигр, Окс, Яксарт. А сколько их дальше!.. Хватит ли жизни увидеть их все? Чтобы достичь Яксарта и вернуться через Индию назад, Александру понадобилось десять лет.

Фортупат, все еще бледный, но уже немного приободрившийся, стоял на берегу, опираясь на палку, и смотрел на густую желтую воду.

В ней больше песка и глины, чем влаги. Ил оседает во время разлива, который длится, как говорят, с середины марта по сентябрь, на обширных полях. Вот почему земля в этих краях так плодородна. Приобрести пять югеров этой жирной земли — и ты до конца своих дней не будешь знать нужды....

Но Крассу мало пяти жалких югеров. И пятисот. И пяти тысяч. Ему нужен весь Восток. Он хочет дойти до тех пределов, где начинается Великий шелковый путь.

— Сколько лет уйдет на это? — уныло сказал бедный Тит.

Он теперь поменялся местами. Не только званием, но и настроением: Тит смик, Фортунат распрямился.

— Ну, как ты — сможешь? — спросил участливо Красс, подойдя к Фортунату.

— Смогу, — хмуро ответил молодой центурион. — Теперь я все смогу! Я, — сказал он, тронутый вниманием Красса, — преодолел здесь какую-то преграду...

Он прикоснулся к груди.

— Слава Юпитеру! — улыбнулся Красс. — Со всеми повобрапцами это бывает.

Да, наверно. Так случилось, может, с отцом. И с Титом. Все должно быть, смолоду мечутся в поисках правды. Которой не было никогда и не будет.

Правда — в деньгах! Чем ты богаче, тем больше ты прав перед всеми.

Потаскуха из харчевни — и та не станет с тобой разговаривать, если у тебя нет драхмы...

Человеку нужно, чтобы рядом с ним всегда находился отец. Фортунат искательно протянул к «императору» руку. И Красс, отмякший вынче душой по случаю грядущих великих событий, с чувством пожал ее. Левоу рукой. Правой он уже не владел.

Проклятое кольцо. Действительность для Красса постепенно сужалась к этой золотой дурацкой безделушке.

Старик от медлительной жизни тучнел с каждым днем. Все у него отекало и обвисало: брюхо, лицо, кожа на руках и ногах. Палец, уже голубой, а не белый, растолстел и расплылся; кольцо утонуло в нем, — чтобы его разглядеть, нужно большим пальцем левой руки разглядить складку на мизинце правой.

Распилить? Непременно заденешь кожу. Но Красс боится боли....

Особенно бесил его камень. Он уже желто-розовый, галевый. Необъяснимо! Рубины не выцветают. Почему же этот ведет себя так странно? Почему?

Небо, как бы в ответ на его болезненный вопрос, всыхнуло неистово ярким, до боли в глазах, алым пламенем, перевернулось и с грохотом, пригнувшим к земле все живое, ударило Красса по темени.

Он упал.

От громового удара неимоверной силы — река, от самых ее далеких истоков, как бы встала, вздрогнув, с каменистого ложа и со всеми изгибами, крутыми поворотами и множеством крупных и мелких притоков, ослепительной желтой молнией повисла над головой.

Рядом с ней огненным чертским взметнулася другая. И все закричали от ужаса, увидев, как на холме за Евфратом, где Красс собирался разбить новый лагерь, с треском разлетелись камни на вершине и запылали на склонах кустарник.

Все реки, о которых размышлял перед тем Фортунат: желтые, красные, синие, белые,— подымались на дыбы и, дрожа, запечатлевались в небе, как на писчей доске, собственными извилистыми огненными изображениями.

— Это они! — вопил, как безумный, Тит. Он тоже упал от грома. — Это их стрелы! — Он схватил Фортунату колесни. — Прости! Я виноват. За мои грехи...

— Встань! — стараясь перекричать центурион небесный грохот. — Еще неизвестно, за чьи грехи...

От яростно полыхающих молний, казалось, в небе вырос диковинный огненный лес; затем оно превратилось в одну исполненскую шаровую молнию. Все на земле засветилось. По волосам людей, по гривам коней с треском побежали сиреневые искры.

Лошадь Красса в блестящей сбруе шарахнулась в сторону, увлекла за собой возничего — и вместе с колесницей исчезла в бурных волнах.

Огромный, дико грохочущий смерч, внезапно возникший на том берегу, зловеще кружась, как дракон, спустился к воде, всосал, визжа, понтонный мост и, утробно крикнув, выплюнул обломки...

И сразу все стихло. Буря кончилась так же внезапно, как и началась. В Риме тоже случаются бури. Но если тучи там проливаются благодатным обильным дождем, то здесь они оседают вниз сухой горячей пылью...

Никто в римском войске не сомневался, что буря была знамением свыше. Легионеры с надеждой следили за Крассом: может, он тоже это поймет и прикажет повернуть назад?

Но Красс приказал, задыхаясь:

— Восстановить переправу!

Его не напугать небесным блеском и треском...

Солдаты с неохотой взялись за топоры. Если б за все перед богами пришлось отвечать одному лишь Крассу, тогда бы ладно...

Вода сосуще хлопала меж бревен. С востока дул тугой ровный ветер. Первый орел, когда его подняли на древке, повернулся клювом назад. Видно, от ветра. Но солдатам, приступившим к переправе, казалось, что повернулся он сам собой.

Немало выпало в те дни худых примет.

Солдаты после переправы не хотели строить лагерь на злополучном холме, пораженном молнией. Но Красс был непреклонен:

— Мы на вражеском берегу! Это самое удобное место...

Пока легионеры окапывались, повара готовили обед. И надо же случиться такому: при раздаче еды в первую очередь предложили... чечевицу и соль. У римлян это знак траура. Их ставят перед умершими.

Желая взбодрить приунывших солдат, Красс произнес перед ними краткую речь и смугил еще больше:

— Мост я везу разрушить, чтобы никто не вернулся назад...

Он хотел, видно, сказать, что настолько уверен в удаче и римское войско уйдет так далеко вперед, что жалкий мост ему просто уже не понадобится.

Но фраза получилась двусмысленной. «Императору» было надо было, осознав всю ее неуместность, объяснить ее смысл оробевшим солдатам. Красс этим пренебрег. «Со свойственной ему самоуверенностью», — подумал недовольный Кассий. Он не знал, что причиной путаницы в словах начальника служило иное.

У Красса нестерпимо разболелась рука. Мост, легионы, парфяне, предстоящий поход и все остальное из его сознания вытеснил хворый собственный палец, который уже начинал сиветь...

Легионеры вовсе пали духом.

Военный трибун Петроний, поразмыслив, дал жрецам, находившимся при войске, знатный совет: принести богам очистительную жертву. И все сразу встанет на место.

Но ничего хорошего из этой затеи тоже не вышло. Когда, выбрав белого быка, жрецы закололи его и старший из них протянул Крассу, одетому в белую тунику, внутренности животного, в синем пальце полководца синей молнией полыхнула боль.

Он вскрикнул — и уронил кишки и прочее наземь.

Все опечалились. Красс виновато улыбнулся:

— Такова уж старость! Но меч я свой не уроню...

Не сбудется! Уронит.

Петроний принес горшок подогретого оливкового масла. И вдвоем с Крассом они принялись колдовать над его пальцем. В палатку велели никого не пускать, — Красс не желал, чтобы кто-либо, кроме Петрония, узнал о его тайном недуге.

Этот цедуг непременно припишут, в ущерб достоинству Красса, проклятию богини Деркетто, которую он ограбил.

Красс долго держал палец в горячем масле, чтобы он напичкался мягким жиром: может быть, соскользнет зловредное кольцо?

Нет, не хочет! Их руки бесполезно ерзали по кольцу. Видимо, оно уже вросло краями в мышечную ткань. Как вырастает в зажившую рану наконечник вражеской стрелы, глубоко засевший и не выпутый сразу.

— Редкий случай, — обескураженно разводил руками Петропий, считавший себя хорошим врачом.

Он предусмотрительно захватил с собой лечебник с перечнем средств, которыми, по примеру знаменитого Катона Старшего, лечился сам и пользовал домашних, включая рабов.

— «От зубной боли, — раскручивал свиток Петропий, — хорошо помогает отвар горляшки». Нет, не то.

— Боль не легче зубной. — Красс осторожно, от плеча, помахал пеловко согнутой рукой.

— «Венок из темно-красных левкоев отрезвляет пьяного и прогоняет тяжесть в голове».

— Что ты городишь?

— «Отваром красной свеклы... следует мыть голову при парше, и это средство очень действенное. Если в ушах стоит звон, сок капают в них, и звон проходит».

— Что за ерундой ты пичкаешь меня? — вскипел Красс. — Я вот сейчас хвачу тебя кулаком по глупой башке — в пей звон пойдет! — В последнее время он становился все раздражительнее.

«Не хватишь, — злорадно подумал Петропий. — Больше не хватишь! — Он не забыл, как его ударил Красс в палатке у Зенодотии. — Кулак-то, подгнил. Но левый еще цел! — спохватился военный трибун. — Он и левым может так хватить, что не звон, а грохот пойдет».

— Сейчас, сейчас. Пусть император соизволит потерпеть, сказал он уклончиво-витиевато, на местный лад. — «Глисты выгоняют... настойкой гранат на терпком красном вине». Хм. А, вот оно! «Возьми горшок, влей туда шесть секстариев воды и положи копыто от окорока...»

— Не оливное? — съехидничал Красс.

— «И два кочешка капусты, две свеклы вместе с ботвой, росток папоротника, немного ртутиевой травы, два фунта мидий, рыбу головача, скорпиона, шесть улиток...»

— Только дохлой змеи не хватает, — проворчал «император». — И двух фунтов дерьма.

— «Все это увари до трех секстариев жидкости. Масла не добавляй. Возьми секстарий этой жидкости, долей один киаф коского вина, передохни...» Тыфу! Это, оказывается, от засорения желудка.

— Убирайся!

Огорченный Петроний поспешно свернул лечебник.

— Нет, постой,— задержал его Красс. Он сам кое-что понимал в медицине.— Вели принести сырой репы, истолченной с солью. Правда, это — от болезни ног, но все же. И еще...— Он тяжело вздохнул.— Возьми у лекаря, грека Дорифора... пучок полевого шалфея.

— То есть буквицы?— удивился Петроний.— Но ведь она — от колдовства?

Чтобы Красс, в медный асс не ставивший всякую «поэзию»...

— Вот именно,— хмуро отвел глаза «император». — На шею себе повешу.

«Да, видно, крепко допекло его кольцо богини Деркето», — усмехнулся мысленно Петроний.

Два смешных старика. Кто бы подумал со стороны, что эти два глупых, смешных старика готовы обречь десятки тысяч людей на гибель, а сотни тысяч — на рабство?

* * *

Положение караульных войск, оставленных в месопотамских городах в прошлом году, оказалось не столь уж плачевным, как думал Красс. Да, конечно, случались налеты, обстрелы, иногда доходило до рукопашных стычек в открытом поле, но гарнизоны в общем держались неплохо.

А после того, как основные римские силы переправились на восточный берег, парфяне и вовсе прекратили осаду тех городов, сели на быстрых коней и улетучились.

Паузки из местных жителей, сходя в разведку, доносили, что местность совершенно безлюдна, но замечены следы множества лошадей, как бы совершивших крутой поворот и уходящих от преследования.

— Сразу учуяли, что им теперь несдобровать,— горделиво заметил Петроний на военном совете.— Когда на тропу выходит лев, шакалы прячутся в кустах,— привел он к месту восточную поговорку.

Лишь Зенодотия в руках неприятеля.

— Злосчастливая Зенодотия,— сказал задумчиво Кассий,

видно, желая внести на ее счет какое-то предложение, но горячий Публий не дал ему говорить:

— Взять и срыть до основания!

Он не бывал в этом городе, ибо приехал после событий, случившихся там, но ему, конечно, о них рассказали.

— Зачем? — возразил Петроний. — Зенодотия — особый город. С него начинается путь нашей славы. («Или бесславия», — подумал с горечью Кассий). В нем благородный твой родитель получил высокое звание императора. Зенодотию следует сохранить на века! Но, конечно, переименовав название. Назовем ее Красней.

...Опротивел он квестору Кассию! Люди делают дело, по крайней мере хотят его делать, а этот мешает им, посится возле, как дым у костра. Чем больше дыма, тем в костре меньше пламени.

— Неужели, — сурово одернул Кассий ретивого военного трибуна, — ты не пашел в этих краях города, более достойного имени Красса, чем жалкая крепость на безымянной речке? Когда мы возьмем весь Восток, — сказал он с горькой иронией, — тогда и переименуем несчетное множество Александрий, Селевкий и Антихий, которыми три хвастливых царя сплошь утыкали Азию. «Крассия на Тигре», «Крассия Парфянская», «Крассия-Согдиана». Неплохо звучит?

Легат Октавий усмехнулся. Это заметил Публий. Он вспыхнул, уловив в словах Кассия и в усмешке Октавия некий выпад против его отца. Публий выжидательно обернулся к «императору». Что скажет родитель?

— Вот именно! — строго промолвил Красс. Предложение Петрония, хоть и очень приятное, сейчас неуместно. Это понял Красс по выражению глаз квестора Кассия. Действительно! Мы играем в войну или воюем?

— Но это — после, когда мы возьмем весь Восток, — продолжал терпеливо Кассий. — И установим повсюду римскую власть. Зенодотия нам пужна для других, более близких целей. Да, мы займем ее! И превратим в опорную крепость. Пока не узнаем о неприятеле что-нибудь достоверное. «Сели на быстрых коней и улетучились». Куда улетучились? И надолго ли: на три дня, навсегда? Откуда, с какой стороны могут нагрянуть? Сколько их?

Публий согласно кивнул. «Я смелый воин, но не стратег», — подумал он, завидуя Кассию.

— Когда мы получим о неприятеле точные сведения, мы сможем двинуться вдоль реки на Селевкию.

— Почему вдоль реки? — спросил с любопытством Публий.

Осторожен Кассий. Умен. Он достоин уважения. Публий готов последовать за ним. Но главное, что скажет родитель.

— Рядом с нами, по реке, будут идти суда с продовольствием и всем необходимым снаряжением, — пояснил Кассий, довольный его понятливостью. Сразу уловил, что суть в реке. — Кроме того, река защитит нас от внезапного обхода с флангов, и мы будем всегда готовы встретить противника лицом к лицу и вступить с ним в бой на равных условиях.

— Лучше б всего нам как можно скорее встретиться с ним лицом к лицу, — проворчал «император», еще не зная всей рискованности своих жутких слов. — Селевкия далеко...

— Согдиана, о которой мы мечтаем, и государство Хань, где начинается Великий шелковый путь, еще дальше, — заметил Кассий.

— Это так, — устало кивнул старший Красс. — Я согласен переждать. Разослать повсюду осведомителей!

Вопреки худым приметам, Крассу на восточном берегу везло: осведомитель явился сам. Сперва — в образе трех смуглых всадников на верблюдах, на бугре против римского лагеря. По одежде — арабы. Один из них махал зеленой ветвью.

— Послы? Приведите.

Они пали ниц перед Крассом.

— Абгар Второй, правитель Осроены, друг римского народа, просит тебя, о великий, допустить его к своей особе.

Они сказали это на своем гортанном языке. Едиот перевел.

Красс взглянул на Петрония. Военный трибун был здесь раньше вместе с Помпеем, может, знает, что за птица Абгар?

— Знаю! — воскликнул Петроний. — Помпей ценил его.

— А ты? — обратился Красс к Едиоту.

— Я всех знаю.

— Что скажешь? — квестору Кассию.

— Не выношу чернолицых, — нахмурился Кассий. — Скользкий народ. Их надо держать поодаль.

Старший Красс был того же мнения. И младший. Но тут особый случай.

— Ты осторожен, Кассий, это хорошо,— заметил Публий.— Но ведь он, какой ни есть, а союзник. Помпей... разбирается в людях.

— Абгар оказал ему немало добрых услуг,— подтвердил Петроний.— Не кто иной, как Абгар, сопровождал его в Иудею. Это паш человек! Лучшего проводника нам не найти.

— Зовите...

Абгар, среднего роста, стройный, изящный, откинул на плечи края белоснежного платка, закрепленного на голове зеленым шелковым жгутом. Крючковатый нос, курчавая борода. Глаза — длинные, черные, в них веселый блеск. Видно, хорошо ему жилось в своей знаменитой столице Эдессе.

В ноги Крассу кидаться не стал. Поклонился с достоинством,— все-таки царь. Стоит, молчит, улыбается. Легкий ветер, шурша плотным шелком, развеивает просторные полы его длинной, до пят, одежды.

— Чего он ждет?

— Когда ему вымоют ноги,— ответил еврей.

— Это еще зачем?— Красс удивленно взглянул на смуглые ступни араба с золочеными ремешками сандалий. Чистые ноги, лишь слегка запылились.

— Обычай. Он — гость.

Абгар, конечно, не знал латинского и не понимал, о чем они говорят. Он доверчиво ждал, улыбаясь, переводя ясный взгляд с одного на другого.

— И кто должен мыть ему ноги?— похолодел Марк Лициний Красс, хоть и был он в огненно-красном плаще.

— Хозяин.

Походное кресло заскрипело тревожно и туго под Крассом. Чтобы римский патриций... как раб... какому-то варвару?

— Я... не могу!

Красс выразительно почесал сквозь повязку правую руку. От сырой репы с солью ему как будто полегчало. Чешется — значит, заживает.

— Ты здесь хозяин, ты и мой,— нашелся Публий.

— Ох! Век бы мне быть таким хозяином,— вздохнул Еднот.— Ну что ж, я вымою. Раз уж таков обычай.

Он сделал знак рабам. Те принесли складное кресло и медный таз с прохладной отстоявшейся речной водой.

Абгар сбросил сандалии, сел, опустил ноги в таз. Улыбка — ярче не бывает. Жизнерадостный человек...

— Я не слышал в последнее время,— вдруг сказал он

по-гречески, — о каких-либо крупных сражениях. — Царь кивнул на Крассову повязку. — В каком бою, если нам дозволено знать, император повредил свою могучую десницу?

Ну, вот. Поговори с таким! Азиат, коварный и ехидный...

— Чепуха. — Красс небрежно махнул перевязанной рукой. От неосторожного движения в ней всплеснулась уже притихшая было звонкая боль. — Укусила, — хрипло солгал «император», — в палатке ночью... какая-то нечисть.

— На Востоке на каждом шагу нужна осторожность, — заметил Абгар доброжелательно. — Невзрачный паучок, — он показал кончик мизинца, — всего-то величиной с горошину... от него человек хворает и умирает. Что, Еднот, — обратился Абгар снисходительно к негоцианту, который нехотя ополаскивал ему узкие ступни. — Как твой племянник? Натаном, помнится, зовут его? Он учился у нас в Эдессе...

— Тоже малость недомогает, — ответил еврей, не поднимая глаз. — Я оставил его в Иерусалиме.

— Даст бог, поправится, — встал Абгар и сунул ноги в сандалии. — Какое войско! — окунул он лагерь восхищенным взглядом. Поставил ногу на кресло, нагнулся, обернул золотым ремешком, завязал. — Мне бы такое... Сколько солдат, закаленных в боях! — встрепетулся Абгар. Но тут же опять наклонился и взялся за ремешок на другой ноге. — Я бы знал, что делать... — Он походил на белую птицу, которая хочет быстрее взлететь, но никак не может выдернуть ноги из силка и, то и дело озираясь, рвет его клювом. Крассу ремешки завязывал Петроний. Царь, как заметили все, их завязывал сам. — Все! — Он, довольный, притопнул толстыми подошвами с красной каймой. — И какой полководец, мудрый и дельный, стоит во главе этого войска! — Абгар протянул руку к старому Крассу. — Счастье служить такому. — Он вытер слезы. — Одного ему не хватает: быстроты, — вздохнул сокрушенно Абгар. — Восток медлителен, да, но знай: когда медлит гепард, он копит силу для стремительного разгона и броска...

Позади него вздымалось блеклое небо сухих степей, и он казался пророком, зовущим народ в долину с прозрачным ручьем под сенью фигов и смоковниц.

— Чего ты ждешь? Перед тобой — всего лишь горсть жалких степных разбойников. У Сурена и войск-то путных — одна тысяча. Остальные — сброд, не умеющий воевать. Мечутся с криком, без толку, взад и вперед на своих лошаденках, наобум пускают стрелы. Разве гора боится мышей, с писком снующих у ее подножья?

Речь его обладала силой убеждения. Это не Артавазд!

Абгар своим громким голосом, ярким блеском глаз и зубов, резкими взмахами рук взбудоражил весь лагерь. Легионеры сошлись поглядеть на диво. Может, отныне оно будет решать их судьбу.

Красс, оглушенный, спросил:

— Где противник?

— Сурен затаился где-то за Белиссой. Он ждет, когда к нему подоспеет с главным войском Хуруд. Знай, император: когда ломнешся в чужой двор, надо сперва убить собаку, и затем уж браться за хозяина. Вместе они сильнее.— Сам бывалый разбойник, Абгар засмеялся, довольный сравнением. И именно это сравнение, до предела откровенное, и заговорщицкий смех лукавого араба как раз и вызвали у Красса к нему чувство близости и доверия. Абгар знал, с кем имеет дело.— Сурен — собака Хуруда. Мы быстро найдем его! Я привел пятьсот пронырливых всадников, зорких жителей, следопытов. У них волчий нюх.

— И чего ты хочешь за службу?— спросил с неприязнью Кассий. Не может варвар служить кому-то без выгоды.

— Не так уж много!— улыбнулся Абгар.— Я хочу, под сенью великого Рима, спокойно править своей Осроеной. И чтобы право наследовать царскую власть Рим особым указом закрепил за моими потомками.

Красс, считавший себя далеким от всяческих суеверий, все же верил всегда в удачу. Относя ее, конечно, не на счет какого-то там дурацкого везения; он приписывал, нельзя сказать — без основания, ее своему холодному уму, терпеливости и дальновидности.

И вот она, удача! Он подозревал: помощники исподтишка смеются над ним, не веря в его полководческие способности. И сказал, чтобы им досадить:

— Будет указ.— Он встал.— Веди! Я иду за тобой.

Главное: не ударить лицом в грязь перед Римом, который есть средоточие Вселенной, не так ли? Все остальное в мире — лишь приложение к нему.

* * *

«Солитудо»...

Безлюдье. Нехватка. Одиночество и беззащитность. Много понятий оно выражает, это латинское звучное слово. Понятий злых и печальных. Но пустыня — из всех наиболее емкое.

...Усталое небо. Не поймешь, какого цвета. Небо долж-

но быть синим, голубым, но здесь его голубизна разбавлена солнцем и пылью, и потому оно кажется желтым. О близне облаков нет и речи, ибо нет их самих. Ни белых, ни черных, ни серых. Если где-то у горизонта и возникнет на краткое время легкое облачко, то цвет у него — оранжевый или сирпевый. Солитудо, солитудо...

Трудно поверить, что в мае солнце может жечь так беспощадно.

В мае, который в Риме — самый звонкий, зеленый и радостный месяц. Когда девушки, выгнав коз на лужок, рвут с задумчивой песней цветы, вяют венки и вздыхают о женихах.

Солнце в этих краях льет на землю горячую жидкую медь. Кожа сгорает от него до мяса. И голова до ослепших глаз наполняется дымящейся расплавленной медью.

— Хорошо! Тепло, — смеется Абгар, отирая медное лицо. — Ветерок дует свежий...

Ветерком он называет раскаленный воздух, который, испепеляя все под собой, течет и течет неустанно откуда-то с юго-востока. Может быть, из самой гешны огненной.

Ни куста нигде, ни травинки, даже чахлой, сухой.

Ни горного склона хоть с какой-нибудь, пусть колючей, но отдаленно похожей на лес высокой растительностью.

Ни горького колодца, ни черного шатра.

Повсюду — белесый известняк, блестящий под солнцем в виде угрюмых обрушенных скал, разбросанных глыб, обширных россыпей.

Круглые камни, выщербленные зноем и холодом, кажутся человеческими черепами. Равнина представляется древним ратным полем, сплошь выложенным костями, разбитыми в острый щебень. А черепа и кости людей и животных у бледной тропы, выбеленные солнцем, за три шага неразличимо сливаются с продолговатыми и круглыми камнями и щебнем с режущими краями...

Солитудо!

Местами на светлой равнине горбатой спиной допотопного ящера, зарывшегося в прах, выступала песчаная дюна. Иногда дюны сползались вместе, и, приткнувшись друг к другу и выставив гребни, как бы неслышно совещались и враждебно глядели на пришельцев. Порой обступали войско со всех сторон и, выжидательно насупившись, следили за ним.

Тропа терялась под их громоздкими тушами, и если бы не арабы, ее бы вовек не отыскать в этом жарком песчано-каменном хаосе.

Днем равнина славлялась с безумным солнцем в один ослепительный белый шар, и белые шары всю ночь горели в глазах уставших воинов. Ночью она вымерзала и при луне походила на студеное море в гиперборейской Стране мрака, где снег покрыт искрищейся коркой и льдины, налезши одна на другую, застыли и зловеще онемели.

И злым духом пустыни, ее мстительным порождением, носился повсюду, сверкая белой шелковой одеждой, веселый и неутомимый Абгар:

— Солдаты, вперед за добычей и славой!

Арабы ехали впереди войска. Из них каждый имел при себе бурдюк с водой. Вечерами они на тропе сметали горстью верблюжий помет, оставшийся от давних караванов, и разжигали скудные, но жаркие костры. Ели финики, маккая их в топленое масло.

Когда в бурдюках иссякала влага, арабы, выложив углубления в скалах кожей, пропитанными жиром, чтобы не протекали, и набросав камней, собирали в них странно обильную здесь ночную росу. К утру у всех набиралось по полмеха воды. Они у себя дома. Эти не пропадут в пустыне.

Верблюды же напились впрок у Евфрата.

Но легионеры изнемогали от жары и жажды. Свою воду они неразумно выпили всю в первый же день, и теперь получали по чашке теплой — из обоза. Воду берегли для лошадей. Добывать питье из воздуха римляне не умели, да и не хватит в пустыне росы на всех. Приходилось лизать по утрам мокрые камни...

Ночью их дожимал до зубовного скрежета дикий холод. И негде согреться, не из чего разжечь огонь. Питались люди всухомятку. Но шершавый сухарь застревал без воды в шершавой глотке, и все отказывались даже от этой еды.

Солдаты опустились до того, что стали шарить у друзей в мешках и уносить их плащи, чтобы ночью им было теплее под своим и чужим.

«И это римское войско? — разводил руками Фортунат. У него, несмотря на его новое звание, тоже стащили плащ. — Как оно сможет завоевать весь мир, чтобы очистить от грязи, как об этом толкует Петропий, если само гниет изнутри?»

Дисциплина, которой всегда славились легионеры, упала. Затевать же обыск, публичную порку — не время...

Семь легионов, прикрытые спереди легкой пехотой и конницей, тащились по гиблой дороге, растянувшись на двадцать верст, — колонна из тысячи человек занимает тысячу локтей пространства, и каждый нес, увязав, на спине

все свое боевое снаряжение. Чтобы оно находилось под рукой, ведь противник где-то рядом. Оружие наравилось, спины разведки вонючий пот.

По примеру арабов солдаты оборачивали голову обрывками туник, — а раньше, бывало, смеялись: мужчины в платках...

Подошвы сандалий измочалились на каменной дороге, и по ней позади войска тянулся красный след от израильтянских ног. К нему роями слетались вездесущие мухи — в чаде ада, войско Вельзевула...

Каждый день случался переполох: одного ужалил скорпион, на другого напала змея, кто-то устал, перетренившись. Из когорты в когорту уже бродил темный слух об измене.

В тяжелый день, когда войско пребывало в расстроенных чувствах, а Красс, напротив, предвкушая скорую расправу с парфянами, испытывал особый душевный подъем, римляне нагнали в пустыне посланцы армянина Артавазда.

Царь писал, как он страдает в борьбе с Хурудом; лишней возможности направить подмогу Крассу, он советует ему либо повернуть и, соединившись с армянами, сообща нанести удар Хуруду, либо идти дальше, но при этом всегда становиться лагерем на высотах, избегая мест, удобных для вражеской конницы.

Опять та же уклончивость, осторожная необязательность: либо — либо...

— Предатель! — возмутился Красс, которому, на пороге победы, Артавазд с его лихими армянами был, собственно, уже не нужен. — Передайте вашему ничтожному царьку, что мне сейчас недосуг заниматься Арменцией. Я приду туда позже и накажу его за измену...

Армяне, глубоко оскорбившись, уехали.

Нет, с друзьями и союзниками так нельзя разговаривать! Это чревато...

Кассий вознегодовал и на сей раз, но с Крассом, который его уже видеть не мог, спорить не стал.

Зато обрушился на Абгара:

— Какой злой дух, сквернейший из людей, привел тебя к нам? Каким колдовством соблазнил ты Красса, ввергнув столько солдат в проклятое пекло? Чем увлек ты его на дорогу, на которой место главарю степных бродячих разбойников, но не римскому полководцу?

...А так разве можно разговаривать с друзьями и союзниками?

— Чем плоха эта дорога?— удивился Абгар.— Или ты думал: здесь Кампания, что так тоскуешь по воде прозрачных ключей, по рощам тенистым, гостиницам, баням? Это пустыня! Солитудо по-вашему. Знали, куда идете. Поэтому — терпите. Мы-то тершим.

— Вы!— вскричал Кассий, чье возмущение не только не улеглось от опасной искренности араба, но распалилось еще горячее.— Вы — можете! Ибо сродни вашим ослам и верблюдам...

— Скоты, одним словом,— улыбнулся арабский царь. Он не вздрогнул, не вскрикнул. Не закрипел зубами. — Знаем. Это мы знаем! Уже десять лет...

Он больше в тот день не шумел, не метался. Успокоился сразу и решительно, уверившись в чем-то неизбежном.

— Твой первый советник Кассий,— явился вечером Абгар к «императору»,— недоволен мной. «Проклятое пекло», «обманул»... Подозревает меня в черных замыслах. Эх, император! На Востоке, знаешь, немало райских долин. Но чтобы достичь их, надо сперва одолеть пустыню. Так же, как ты,— заметил Абгар проникательно и располагающе, — на пути к своей прекрасной мечте одолеваешь в умах приближенных пустыню непонимания.

— Что за речь!— восхитился Петроний, находившийся, как всегда, при особе главного военачальника.

— Я могу уехать, если мешаю,— вздохнул Абгар. — Выбирайтесь сами. Я все-таки царь! В Эдессе за оскорбление царского величества отрезают язык.

Красс, у которого Абгар оставался теперь единственной верной надеждой, поспешил успокоить его:

— Он и меня подозревает в чем-то недостойном! Уж такой человек. Зоркий до слепоты. Я накажу Кассия.

— А стоит ли?— Абгар проникновенно взглянул Крассу в глаза.— Через несколько дней ты разгромишь Сурена и тем докажешь всем свою правоту — и мою. Победа — лучшее из доказательств. Но мы уже подступаем к Белиссу!— спохватился Абгар.— Как бы нам не угодить в засаду. Если б великий дозволил, я бы послал своих верных арабов разведать обстановку на реке.

— Ступай,— дозволил «император». И добавил с теплотой:— Друг наш...

Давно, за четыре с половиной столетия до Красса, персидский царь Дарий I Гистасп решил покорить вольных саков, обитавших за Раяхой.

С огромным войском явился он в их страну. Кочевники скрылись в песках. Пастух Ширак, изрезав лицо ножом, перебежал к врагу и выдал себя за человека, обиженного соплеменниками. Он обещал, им в отместку, показать короткую дорогу к месту, где затаилось сакское войско. Дарий поверил ему.

Ширак завел персидское полчище в гиблую даль, где сакки, внезапно появившись, разгромили пришельцев...

Но Красс не знал восточной истории. Потому, что знать не хотел. Какая может быть история у отсталых, диких азиатцев?

А ее надо бы знать.

Обозленный, резкий, явился Абгар на стоянку своего отряда.

— Где эти беглые? Зовите ко мне их предводителя...

К нему в палатку, хромя, пришел человек, закутанный платком до черных глаз.

— Ты чего хромаешь?— удивился царь Осроены.

— Дядя бродит по лагерю, все вынюхивает, нельзя ли чем еще поживиться...— Натан откинул платок с лица. Он возмужал, окреп. После купеческих душных подвалов жизнь на ветру и на солнце, в дороге, пошла ему на пользу.— Боюсь, узнает по фигуре и походке...

— Да, он глаза, и сметлив. Вот что! Час настал. Бери своих друзей, садитесь на верблюдов и мчитесь к Белиссе. Доедете быстро. Хороший скаковой верблюд не уступит коню. Скажи Сурхану: «Абгар сделал выбор! Он не хочет всю жизнь ходить у римлян в скотах. Войско измотано. Артавазд не поможет Крассу. Абгар свое сделал — ты делай свое». Понятно?

— Вполне.

— Деньги, есть у тебя?

— Нету денег.

— Возьми,— протянул ему Абгар полную горсть золотых монет.

— Зачем? — недовольно нахмурился Натан. — Не за деньги служу.

— Но как же...

— Мы у себя дома. Не дадут с голоду умереть.

...В тот же день, уже к вечеру, Натан встретился в шатре предводителя саков с человеком с черной повязкой на лбу.

— Как твой дядя? — усмехнулся беглый раб.

— Богатеет. Вошел при Крассе в большую силу.

— Не станет Красса — не станет Едиота.

— Э! Такой всегда пойдет покровителя.

— Если уцелсеет.

— Он уцелсеет. Есть новость! Артавазд не поможет Крассу,— сообщил молодой еврей Сурхану.

— Хе, новость. Я привез весть похлеце, — сказал беглый раб Натану, удивленному тем, как отнесся Сурхан к его донесению.— Хуруд не поможет Сурхану! Вот это новость. Я только что от него. Об особо горячих боях между Хурудом и Артаваздом не слышно. Скорей всего, они снюхались. Один сидит в одной уютной долине и выжидает, другой выжидает в другой.

Натан возмущился:

— Что за люди? Они — как мой дядя. Ни до того, что уже было, ни до того, что будет, что может случиться, как отразится его тот или иной поступок на прочих, иных, многих людях и на стране,— ему дела нет. Личь бы сейчас, сей миг урвать свое! Человечки меккой души и скудного разума. Что же теперь?

— Придется, как видно, Сурхану одному управляться с Крассом.

— И управлюсь,— лепиво зевнул рыжий сак, опираясь о локоть. — Мне что? Я умею. Одни горбатый и девять прямых,— кто из них калека? Горбатый. Один прямой и девять горбатов,— кто среди этих калека? Прямой. Верно, Фарнук? Вот я и есть такой. Жаль,— сказал он с усмешкой,— детей нет у меня. Сколько помню себя, всегда на коне. Всю жизнь сражаюсь за счастье парфянских царей. Дом — в палатке, гарем — в повозке. Может, и были дети, да потерялись в походах. Умру — кому все останется?

Натан спросил с грустью:

— С чего ты — о смерти?

— Ну как же! Не на свадьбе мы — на войне. Вставайте. Стан обойдем, посмотрим, послушаем...

Обычно каждый отряд, особенно вспомогательный, на стоянках держится отдельно, говорит на своем языке и поет у костров свои песни.

Но сегодня все тянулись друг к другу, перемешались, как на базаре, в шумной веселой толпе: саки, парфяне, хунну, персы, арабы, атропателы и греки, армяне, евреи, индийцы. Гремит барабан, заливается дудка. И все говорят на одном языке — на парфянском и поют одну боевую песню.

Завтра — бой! Но ни страха нет, ни уныния. Этих надо прельщать добычей и славой, возбуждать их мужество посулами. Просто все они знают, что такое Рим. И все,

как Фарнук, не хотят копать под землей для Красса Руду.

— Хорошо, — хмуро сказал Сурхан.

...Позже, накрывшись шубой, они лежали с Феризат в повозке и смотрели на звездное небо. Знакомое небо, свое, с привычной россыпью созвездий.

— Как у нас в горах, — вздохнула Феризат. — И воздух такой же, чистый и мягкий. Но, конечно, в каменной лачуге, в которой я родилась, другой был воздух, — сказала она со вздохом. — Зимой козы и овцы почевали с нами. Мы в глубине помещения, они у порога. Дым от костра, вонь мочи и катышек. Так бы я и зачахла в этой лачуге, если бы ты, мой золотой, не увидел меня на охоте, проездом. — Она прижалась к нему крепче, обняла за шею. — Никогда не забуду, как ты кудал меня в горячей воде. Своими руками смывал мою грязь. Я раньше в холодном ручье умывалась, не знала горячей воды. И красоты своей не знала...

— Ты с чего вдруг разговорилась? — спросил Сурхан угрюмо.

— Боюсь! — Она заплакала.

— Чего?

— Завтра бой.

— Ну и что? Не тебе воевать.

— И тебе бы не надо! Ради кого? Хуруд тебе такой же враг, как и этот страшный Красс.

— Я... не ради Хуруда. — С теми, кто мог его понять, он час назад шутил, зубоскалил; с той, с кем надо шутить, зубоскалить, заговорил серьезно: — Долг, разумеешь? Долг!

— Разумею. Это когда у кого-то взял займы и надо отдать.

— Нет! Я о высшем долге. Когда, не взяв ни у кого ничего, все равно надо отдать. Все. Даже жизнь. Делать, что следует делать. По совести.

— А! — Она помолчала, стараясь вникнуть в смысл его слов. И засмеялась: — Не разумею. Я все к чему? — Феризат приложилась влажными губами к его горячему уху. — Я...

Она положила руку Сурхана на свой живот.

— Да?! — вскричал Сурхан и вскочил. — Тогда — тем более! Тем более... Полежи. Я сейчас...

Первым навстречу ему попался человек с черной повязкой на лбу.

— Чего ты хочешь больше всего? Проси! У меня радость.

Беглый раб отлично знал, чего он хочет. Заветное желание? И, не медля, поймал Сурхана на слове:

— Голову Красса.

* * *

...В то утро все валялось у римлян из рук. Знамена будто в землю вросли,— немалых усилий стоило их поднять. И Красс, выходя из палатки, пакинул не пурпурный плащ, как надлежит полководцу, а черный.

Хорошо, что Петроний и Публий сразу заметили это. Пришлось вернуться в палатку. «Недобрый знак», — мелькнула мысль.

— Что со мной происходит? — пробормотал Красс потерянно.

— Солнце слепит. — Сын, подавая ему пужный плащ, вдруг увидел, как устал, обрюзг, изнемог родитель. — У меня самого глаза слезятся с утра. — Он тихо вздохнул.

Ради чего старик мучит себя? Ради денег? Сын баснословно богатого человека, которому никак не грозило разорение, Публий не понимал трудной ценности денег. Они есть и будут всегда, сколько захочешь. Ради славы римской? Вот это понятно!

Публий весь кипел. Положим, он отличился в Галлии. Но Галлия — всего лишь провинция, не больше Сирии, и слава, связанная с нею, — слава местного значения. Покорить весь Восток! Необъятный, таинственный. В анналах запишут: «Два Красса, старший и младший...»

Это — цель!

Публий уже и сам не знал, отчего вздрагивает сердце: от жалости к отцу или от острого ощущения горячей и трепетной близости невероятных событий. Ради этой цели стоит терпеть лишения. И Публий пойдет с отцом до последней черты...

— Черный и красный? — взвесил Красс в руках тяжелые плащи.

Он сравнил их и не увидел между ними большой разницы в цвете! В мозгу засветилась догадка... Он уцепился за нее:

— Развяжи мне руку, Петропий. А ты, — отослал он сына, — ступай выстраивать войско к походу.

Старик не хотелось показывать Публию уродливую ру-

ну. Кто знает, какой вид она приобрела после вчерашней перевязки.

Сквозь повязку слышно — дурно пахнет...

Публий послушно отправился к войску. Петроний прилежно развязал Крассу руку. Нечто опухшее, скользкое. Бледное, с темным пятном.

— Чем это пахнет?

— Репой. От горячего пота упарилась.

— А,— успокоился Красс.— Какого цвета палец? Погляди...

— Синий с лиловым. Фиолетовый.

— А... Постой.— Он уже не доверял и Петропию, его зрешю. Кольцо могло и ему примелькаться.— Позови Абгара.

Вот уж этот не ошибется.

Абгар явился тихий, серьезный, немного грустный. Как и подобает человеку, который обруган без вины. Он молчал, желая, прежде чем что-то сказать, выяснить, что от него хотят услышать.

Красс хорошенько ополоснул руку, вытер ее. Поднес кольцо к глазам. Камень какой-то мутный, неопределенно цвета.

— Взгляни-ка на этот рубин, — сказал он сдержанно и оттянул большим пальцем левой руки кожу на мизинце правой.— С ним происходит... что-то неладное.

— Что именно?— удивился Абгар.

— Цвет как будто меняет...

Абгар наклонился, взглянул. Поморщил нос от прелого запаха репы, который крепко ввелся в кожу.

— Рубин?— Он пожал плечами.— Не всякий красный камень — рубин. («Красный»?!)— Красс чуть не застонал.) Это турмалин. А с турмалином случается всякое. Удивительный камень.

— Турмалин?— взревел одурело Красс.— Как? Откуда? Первый раз слышу о таком...

— Остров Ланка... К югу от Хпидустана. На языке народа, живущего там, турмалин значит «притягивающий». Ибо, нагретый, тянет к себе пепел, пыль и песок. Загадочный камень. У него много диковинных свойств. Может быть,— усмехнулся печально Абгар,— он и притянул к тебе эту пустыню?— Араб кивнул через плечо.— Хотя нет, постой.— Он вновь наклонился к руке «императора».— Этот, пожалуй, не с Ланки. Турмалин с Ланки — розовый. Есть синий, зеленый, желтый, черный, бесцветный. А твой — вишнево-красный. («Вишнево-красный?!») — возо-

пил беззвучно патриций.) Значит, он из-за скифских степей, с Рифейских гор...

Только и всего? Ха-ха!

Нет никакой загадки в проклятом кольце! Просто Красс из-за слепящего солнца перестал различать цвета...

Несмотря на всю свою рассудительность, а может быть — именно вследствие ее, старый Красс не выносил ничего непонятного, что нарушало четкий строй его холодных мыслей и что он враздвбно называл «поэзией».

Другие верили вслепую. Они не искали объяснений. Есть злые духи, есть добрые. Первых надо ублажать, чтобы от них было меньше вреда, вторых — чтить, чтобы от них было больше добра. И никаких сомнений.

Красс же от неизвестного приходил в полное расстройство. И был потому, сам не зная, суевернее всех в своем суеверном войске.

...Теперь же, когда непонятное получило объяснение, до смешного простое, Красс вновь обрел уверенность в себе. Он повеселел, даже чуть не запел! Как будто узнать, что у тебя неверное зрение, невесть какое благо.

Значит, нет никакого волшебства?

Тогда нет никакой Анахиты?

И нет мести, грозящей Крассу с ее стороны. Надо признать, страх этой жуткой мести, воплотившейся в таинственном кольце, уже много дней и ночей не давал бедняге Крассу спокойно есть, пить и спать.

Если нет самой Анахиты, то, значит, нет и жизни, которую она символизирует. Той жизни. Их жизни. Чужой. Нет для тех, кто поклоняется богине, которой нет. Не будет! Уже завтра...

— Я не зря говорю: камень из-за скифских степей. Суевенсак, а саки — ветвь скифов, — заметил Абгар осторожно. — Скифские степи — скифские стрелы, — добавил он с расстановкой, давая понять, какого рода предметы способен притянуть к владельцу его вишнево-красный камень...

— Пропали он пропадом, рассыпья он в пыль, твой пеленый, глупый гурмалли, откуда б его ни завезли! — вскричал яростно Красс. — Хоть с Олимпа! — И на сей раз он не увидел за мелочью главного. — В кость вросло проклятое кольцо. Снимешь — добавлю к твоей Осроене еще и Софену с Коммагеной.

— Да? — улыбнулся Абгар. — Это замапчиво! Это замапчиво, — протянул он задумчиво и взял руку Красса, чтобы получше рассмотреть кольцо. — Ах, Софена, Коммаге-

на, — запел он тонким голоском, — как прикопчить нам Су-репа? Мой ювелир может так искусно его распилить, что даже не царапнет кожу...

И вдруг побелел, как его белоснежное одеяние, и завопил диким голосом:

— А-а-а!

Он увидел надпись на кольце. Абгар отбросил от себя руку Красса, отскочил к выходу из палатки. Губы его тряслись.

— ...Ведь это кольцо богини Деркето?! Нет, нет. Увольте меня. Я боюсь. — Он пошарил вокруг себя, как слепой. — Никто не посмеет его пилить! Его можно снять только вместе с пальцем! Только вместе с головой!!!

Абгар просительно протянул к «императору» дрожащие ладони:

— Зачем ты взял его, о великий? Разве мало у тебя сокровищ? Жизнь сама по себе сокровище, такое бесценное, что к ней бы и не нужно больше ничего, кроме куска хлеба, какой-нибудь хламиды на плечах да крыши над головой. Дышать, смотреть на траву зеленую, цветы и деревья, пить из ручьев прозрачную чистую воду. Какое богатство нужно еще человеку? Умрешь — и этого не будет. В раю все ходят голые...

Он встал перед ним, прямой и строгий, как пророк, как грозный судья.

— Знай: тех, кто любит жизнь и принимает ее с благословением такой, как есть, жизнь тоже любит и долго не покидает. Но тех, кто взжит на весь мир, жалуясь на нее, она тоже не жалуется.

Абгар сорвал с себя дорогой белый хитон, бросил под ноги Крассу. И сказал, уходя:

— Много мы видели таких, которые хватали жизнь за глотку...

Снаружи, постепенно затихая, долго доносились хриплые арабские заклинания.

— Что это с нашим другом? — испугался военный трибун.

— Друг... — усмехнулся Красс. — Какой друг? Варвар — он варвар и есть.

Теперь, вновь обретя себя, Красс уже не нуждался в местных царях: ни в армянских, ни в арабских. Он сам царь царей! Кольцо? Красс найдет ювелира. Лучшего на Востоке. После победы...

Прибежал взволнованный Публий:

— Абгар уехал!

— Как уехал?— не понял старший Красс.

Из золотистой мглы далекого храма ему с насмешкой улыбнулась Анахита.

— Вмиг собрал всех своих, вскочили на верблюдов — и растворились в пустыне! Даже шатры и пожитки оставили на стоянке.

— Не испросив моего согласия?— вскипел старший Красс.

Он ринулся наружу. Далеко в белой пустыне оседала белая пыль.

— Догнать! Вернуть! Отправь за ними тысячу, нет тысячу двести легких всадников!— приказал он свирепо сыну.— Пусть отныне все знают в этой стране, что никто ничего не смеет делать по своему усмотрению.

Кассий безучастно наблюдал за суматохой, поднявшейся в лагере. Вам безразлично, что я думаю? Мне безразлично, что вы делаете...

Анахита — улыбалась. Правда, уже не с насмешкой, а с ненавистью леденящей. Но она пока что улыбалась.



ПЯТАЯ ЧАСТЬ

ЭТОТ СТРАШНЫЙ ГРОМ...

*Когда возмущен и разгневан
Митра, солнечный бог,—
Стрелы тех, кто любит его,
Из луков добротных, тугих
Бьют без промаха в цель!
Когда разъярен,
то безжалостен
Митра слепящий...*

Авеста

...Из тех легких всадников, которых Публий по приказу отца отправил догнать и вернуть Абгара, осталось в живых не больше трехсот. Обливаясь потом и кровью, они могли сказать лишь одно:

— Засада, их много.

Все встревожились. Красс, совершенно ошеломленный, стал пспех строить легионы в боевой порядок. Кассий дал ему последний совет: растянуть, в предупреждение обходов, пеший строй по равнине на возможно большее расстояние. Конницу же распределить по обоим крылам.

Красс сперва так и сделал. Но затем, вспомнив наказ Ар-

тавазда — при виде парфянской конницы держаться компактно, сомкнул ряды и перестроил в глубокое каре, по двенадцать когорт со всех четырех сторон. Конницу тоже разделил на четыре части, придав каждой по отряду, так что из-за ее малочисленности на каждую когарту пришлось в среднем по восемьдесят всадников. Но все же пехота не осталась без прикрытия.

Один из флангов он поручил Кассию, другой — сыпу Публию, сам же встал в середине.

Хорошо обученное войско быстро и четко выполнило его указания. Всякий знал, куда повернуться, сколько сделать шагов; все продумано и отлажено до мелочей в могучей римской военной машине. Тут ничего худого не скажешь.

Но уже то, что десятки тысяч взрослых людей, сильных и крепких мужчин, взметая белую пыль, послушно и увлеченно, как в детской игре, топтались по голой равнине, безукоризненно исполняя все, что от них требовалось в каждый отдельный миг, по не понимая общего смысла своих действий, таило в себе трагическую ошибку.

Детям — им можно играть, можно и шумно, это дети, ничего страшнее легких царапин и ссадин от их забав не происходит. Игры у взрослых кончаются большой кровью...

А Красс взирал на все это с удовлетворением, сощуриив опухшие глаза.

В строгом порядке римское войско вышло к Беллесе. Паводок в пей уже спал, река была невелика и не обильна водой.

Но в эту сушь и жару, после трудного, в беспчислимых тяготах пути по раскаленной пустыне солдаты обрадовались невзрачной Беллесе не меньше, чем десятки тысяч греческих пaeмников, вернувшихся с Востока и увидевших после долгих мытарств знакомое море:

— Таллата, таллата!

Они в испуге озирались назад: неужто все кончилось? И счастливо вздыхали: о боги!

Можно подумать, на той стороне уже начиналась Гиркания, где, как писал Диодор, «на одной кисти винограда столько ягод, что хватает на меру вина. Фиговые деревья дают до десяти медимнов плодов. Во время жатвы количества падающих зерен достаточно для нового посева и не требуется дополнительного труда для получения столь же обильного урожая. Там имеется дерево, подобное дубу, из листьев которого сочится мед, и жители употребляют его в пищу».

Не надо работать! Лежи в холодке под раскидистым де-

ревом — и сам сладкий мед будет капать тебе в разинутый рот. И масло — под рукой. Стоит лишь землю копнуть, из нее забьет «ключом чистое светлое масло, ни вкусом, ни запахом не отличающееся от оливкового, своим же блеском и густотой совершенно походящее на него»...

Чем же рай?

Помощники Красса сошлись на краткий совет. Кассий молчит. Едино как никогда озабочен. Он держится теперь поближе к строгому Кассию. Хотя грозный квестор терпеть его не может, как и всех местных жителей. Петроний, Октавий, другие легаты предложили:

— Здесь и надлежит остановиться на отдых. И разведать, насколько это возможно, число врагов и боевое их построение. И с рассветом двинуться против них...

Красс обратил усталый взор к сыну Публию. Он доверял теперь лишь ему одному.

Публий кипел больше, чем всегда, да и всадникам его не терпелось себя проявить. В самом деле, что это за война? Ни встреч с врагом лицом к лицу, ни жарких сражений. Где-то в стороне происходят без них мелкие стычки. Забава, а не война.

— Зачем откладывать на завтра победу, которую можно одержать сегодня? Вперед — и в бой!

— Хорошо, — согласился с ним Красс без долгих раздумий. Теперь уже некогда думать! Надо действовать. Его самого не удержишь, как барана на горные кручи, влекло на восточный берег. Будто их там ждал не бой, исход которого знает лишь бог, а по крайней мере овалция. — Кто хочет, пусть ест и пьет, оставаясь в строю.

И повел солдат через Белиссу. Не ровным шагом, с передышками, как это положено перед битвой, а быстро, чуть не бегом, без остановок и отдыха. Кто успел на переправе, нагнувшись, зачерпнуть флягой воды, тот и напился. У кого что было в сумке — черствый хлеб, кусок сыра, сушеное мясо, тот и поел на ходу.

Они перешли через Белиссу на середине пути из Карр, что стояли выше по течению, до Ихн, что ниже. За Белиссой, увы, равнина была такой же пыльной и голой, как и та, что осталась у них позади...

И вот наконец неприятель! Он, против их ожидания, не показался легионерам ни многочисленным, ни грозным. Это и есть хваленые парфяне? Серое скопище жалких, испуганных всадников, готовых броситься врассыпную от одного лишь рева римской буцины.

Так им сперва показалось...

Но грянул гром!

Десять тысяч могучих рук ударили в десять тысяч тяжелых бубнов, увешанных медными погремками...

Раскололось небо. Вся равнина огласилась глухим, падающим трепет гулом. Низкий и устрашающий звук, будто смешанный с звериным ревом, грозно креп и нарастал; грохотало небо, и этот ужасный грохот отдавался в земле тяжким стоном.

Он обрушился на потрясенных римских солдат, сквозь уши грубо вломился в их души и произвел в них полное смятение. Оглохшие и растерянные, они утратили способность к здравому суждению.

И когда чудовищный грохот достиг таких пределов, что казалось: страшнее уже ничего больше быть не может, что небо сейчас упадет на землю и люди все лягут вповалку без дыхания — он внезапно прекратился...

Всего на несколько мгновений!

Затем всю округу разорвал на куски, на убогие клочья, на жалкие птиц десяти тысячный яростный вопль, от которого у римлян даже бляхи похолодели.

Все было в этом неистовом вопле! Гневное рыканье львов и урчание горных медведей. Упылый волчий вой и детский плач шакалов.

И разбойный свист ветра, который, остыв у белых снежных вершин, катится вниз по сверкающим ледникам, падает в темный хаос каменных узких ущелий, быстро течет по зеленым долинам и, выдув тепло из глинистых жилищ, стремится в степь, уже горячий. Где обдувает колючие ветви редких растений и любовно оглаживает полосатые шкуры замерзших в экстазе пустынных ящеров-варанов.

Вопль самой древней земли, встревожившейся за себя и за своих детей...

Парфяне разом сбросили с доспехов серые покровы и предстали перед неприятелем пламени подобные: в шлемах и латах из ослепительной маргианской стали, кони — в латах медных и железных.

Будто само жгучее солнце Востока, опрокинув серую тучу, неумолимо сверкнуло в очи римских солдат. И впереди сакской конницы оказался сам Сурхан, огромный и страшный...

Парфяне, выставив длинные пики, беспорядочной шумной толпой, с визгом и свистом, как у них водится, налетели на римское войско, чтобы расстроить первые ряды и потеснить их.

Но это оказалось все равно, что горстью камушков, рассыпающихся на лету, пробить гранитную плиту.

Густоту и глубину нерушимо сомкнутого строя, его плотность и стойкость они распознали быстро, наткнувшись на крепчайшую ограду из больших щитов, меж которых им навстречу торчали железные острия...

Казалось, их отбросил сам воздух римского войска. Тугой и горячий от многих тысяч дыханий, от потного смрада. Это был прочный, незыблемый остров чужой и враждебной жизни, попавший в море просторных пустынь.

И гривастая вольная конница, разбившись о него, откатилась мутной, беспыльной волной.

С криками ужаса и смятения рассеялись парфяне кто куда. Но между криками ужаса они почему-то усмехались. Иные же — открыто хохотали.

— С чего вдруг на них смех напал? — удивился Красс.

— Со страху, пожалуй, — сказал Петровий. — Такое бывает.

— Да? Что ж, сейчас они заплачут. — И Красс приказал когортам легкой пехоты броситься за бестолково мечущимися всадниками.

Вот так. Может быть, и обойдемся одной лишь легкой пехотой. Жаль, конечно, если главным силам не придется показать себя в бою. Но такова уж эта глупая война. Все равно он всех хорошо наградит после битвы.

«Виктория — gloria», — вдруг сложилось у него в голове. Рука, — с тех пор, как он узнал тайну кольца, — перестала болеть. Красс больше ее не завязывал. «Победа — слава». Вот не думал, что способен на что-либо подобное! Красс усмехнулся. И вновь произнес с удовольствием мысленно: «Виктория — gloria»...

Он не заметил, что парфяне мечутся по белой равнине на рослых своих, послушных, хорошо обученных лошадях вовсе не так уж бестолково, что они мало-помалу окружают каре.

...Не успели отряды вспомогательной легкой пехоты пробежать двух сотен шагов, как на них, огромной стаей кровавожадных железных гарний, пала туча вражеских стрел.

От криков и стонов, казалось, вздрогнула степь...

Войска такого рода набирались в провинциях или в государствах, союзных Риму. Вооружение их состояло из легких луков, копий, кинжалов, пращей. Щитов и панцирей, считай, у них нет, — разве что командиры о себе позаботились.

Но острые клювы стрел одинаково легко рвали и чело-

веческую кожу, и бычьую кожу нагрудников, у кого они имелись. Длинные стрелы летели с поразительной скоростью. И ломали, попав в цель, древки копий и кости.

Бедняги кизулись назад!

Легионеры, выпустив их перед тем из-за своих рядов, не думали, видно, что они отступят так скоро. И успели, сдвинувшись, замкнуть проходы в рядах. Чтобы туда не ворвались парфяне.

Убегая от летучей смерти, войны из сразу поредевшей легкой пехоты, потеряв от ужаса голову, навалились на своих тяжеловооруженных товарищей, спеша растолкать их и укрыться за ними.

Ужас у этих не был притворным. Они не усмехались. Хотел лишь один, сошедший с ума от боли.

Пропуская бегущих, топчась и раздвигаясь как попало, легионеры сломали строй. В беспорядке и сумятице квадратный остров дрогнул. И волны острейших стрел, обрушиваясь одна за другой, стали размывать его твердый и, казалось бы, несокрушимый берег.

Римская конница — жалкая горсть при каждой когорте — не смела даже отойти от своих. А тех, кто с отвагой вырывался вперед, враги, окружив, тут же уничтожали.

Парфяне рассредоточились. Они уже метали стрелы со всех сторон.

Конники круто гибли загорелыми руками тугие тяжелые луки, придавая стреле огромную силу удара, и спускали тетиву, почти не целясь.

Тут и захочешь — не промахнешься. Так скученно, тесно стояли фромены.

Оставаясь в строю, они получали рану за раной и обливались кровью. Даже повязку наложить нет возможности, — негде сесть, некуда подвинуться...

Нелепый бой! Не бой, а расправа, избивание. Легионеры скрежетали зубами — не так от боли, как от обиды и унижения.

Погибнуть, не вынув из ножен мечей...

Не раз центурионы бросали ряды солдат вперед. Но парфяне, смеясь, скакали прочь. И даже убегая, обернувшись, пускали назад свои злые стрелы.

Они свято соблюдали старый скифский прием: отступая — разить. Но Красс ничего не желал об этом знать. У каких-то варваров какие-то там боевые приемы?..

Но попробуй договори их, пеший, весь в тяжелых доспехах.

А дальнобойных луков и стрел у гордых римлян не во-

дится. «Оружие, достойное варваров». Что ж, варварам от этого ничуть не хуже...

— Терпение, терпение! — подбадривал спикших людей Петропий. — Сейчас у них выйдет запас проклятых их стрел, и парфяне исчезнут. Или вздумают схватиться врукопашную, и тут мы им покажем.

Уж такое дело у трибунов. Солдат, завлеченный своим полководцем в ловушку, умирает жалкой бессмысленной смертью, а военный трибун-краснобай утешает его:

— Мужайся! Все равно мы их одолеем...

Но железный ливень стрел не иссякал...

Ему не видно конца.

Он становился даже сильнее.

Невероятно! Сколько стрел может взять с собой конный лучник? Скажем, три колчана, четыре. Пусть хоть шесть! Все равно при такой густоте стрельбы ненадолго хватит этого запаса.

— Тут что-то не так, — пал духом Красс.

«Виктория — gloria»...

Одного из слуг Едиота обрядили в арабскую хламиду и пустили взглянуть, что происходит впереди. Верный был человек. Не удрал. В Иерусалиме, в доме Едиота, у него осталась мать.

Самуил, незамеченный в общей суматохе, потихоньку выбрался в степь, обошел парфянское войско сзади. Он приметил длинный холм, с одной стороны крутой, с другой пологий. И увидел он, что всадники, выйдя из боя, зачем-то спешат за холм, из-за которого им навстречу скачут другие...

Прячась за барханами, Самуил обогнул загадочный холм — и ахнул!

Дым... Палатки... В просторной долине расположился на отдых огромный, в тысячу верблюдов, караван. И каждый верблюд, точно хворостом, нагружен большими вязанками стрел.

Пока одни стреляли, другие набивали опустевшие колчаны. Горопливо пили воду, снова мчались к римскому лагерю. И задорно перекликались с теми, кто ехал к холму.

— Стрел у них хватит на много дней, — вернувшись, доложил Самуил Крассу.

Итак, свидание состоялось!

«Виктория — gloria»...

Красс воззвал через посланца к сыну:

— Выручай!

Теперь вся надежда — на Публия, на его галльскую конницу.

К тому времени Публий руки изгрыз от нетерпения. Получив от отца тревожную весть, он вспыхнул, словно порох. Настал его звездный час!

Взяв тысячу триста отборных всадников, в том числе тысячу галлов, пятьсот пеших лучников и ближайшние во-семь когорт легионеров, он быстро повел их обходным путем в атаку.

Парфяне отхлынули. Ага! Это вам не босой пеший сброд с палками, заостренными под копые или согнутыми в виде лука.

— Враги дрогнули! — вскричал молодой пылкий Красс. — Настигнем их, не дадим уйти далеко.

Несмотря на то, что кровь ударила ему в голову, он не забывал об отце. То есть именно ради отца и взбудоражил Публий себя до неистовства. Пока Публий будет гнать парфян, старший Красс получит передышку. И успеет перестроить легионы соответственно изменившейся обстановке.

Вместе с Публием мчались Цепзория и Мегабакх. Последний славился мужеством и силой. Цепзория же был удостоен сенаторского звания и отличался как оратор. Друзья и сверстники Публия, они возбужденно кричали:

— Бегут?

— Бегут хваленые парфяне!

Пехота не отставала от конницы. Рвение и радости! Вот она, победа, — в сотне шагов от них...

Тит, поспешая, вздыхал облегченно:

— Ох! Вырвались мы наконец из клетки железной! В которую сами себя загнали. Теперь мы им покажем...

— Если не угодим в другую, — ворчал Фортунат, отирая пот.

— Теперь уж нет! Теперь...

Уведя отряд Публия за собой далеко от главных войск, парфяне остановились и повернулись к нему. Сюда же устремились другие, в еще большем числе. Теперь потолкуем...

— Погодите! — задержал Публий свой отряд. — Стойте на месте. Пусть увидят, что нас не так уж много. Подманним их на рукопашную, — усмехнулся он мстительно.

У него рука тяжело и сладко ныла. От неудержимого желания, с бешеной силой стиснув рукоять меча, с хрустом, вонзить массивный острый клинок в живое тело врага. Блаженство! Его знает лишь солдат...

У старшего Красса рука, между тем, от волнения, что ли, вновь разболелась. Он, угрюмо растирая ее, ждал вестей.

И наконец услышал желанное:

— Неприятель обращен в бегство! Публий преследует его...

Красс и сам заметил: напор парфян, оставшихся здесь, против главных римских сил, значительно ослаб. Он ободрился, сделал знак трубачам. Протрубили сбор. Красс отвел когорты на возвышенность.

Дисциплина, конечно, хорошее дело! И все же...

Квестор Кассий с грустью смотрел, как огромное скопище людей, будто стадо баранов, повинующихся рожку пастуха, покорно бредет с равнины на холм. Целебое зрелище. В нем сокрыто нечто преступное.

Что же сын? Опустив руку, Красс нетерпеливо помахивал ею. Но кровь приливала от этого к опухшему пальцу, давила на него и тем усиливала боль.

Почему он молчит? Старик, морщась, согнул руку и принялся водить ею взад и вперед, вниз и вверх, будто пилил. Себя по животу. И по сердцу.

Может быть, порученцев Публия перехватывают по дороге парфяне? О боже! Может быть, он сейчас... Красс застонал, приложил руку к груди и, поддерживая другой, стал баюкать ее, как ребенка...

Парфяне, которых теснил храбрый Публий, не спешили вязаться в рукопашный бой. Они поставили против него лишь своих броненосных конников, остальных же пустили скакать вокруг.

Здесь Публий впервые увидел страшных всадников с плоскими лицами и узкими черными глазами.

— Что за чудо?— удивился Публий.

— Хунну,— ответил кто-то знающий.

Эти не вопили, не визжали. Спокойно и деловито, не торопясь, они достали из колчанов оперенные длинные стрелы, вставили их в свои огромные луки, натянули их до предела и по знаку—возгласу предводителя разом спустили тетиву.

Невероятной силы удар смел половину отряда римской легкой пехоты...

Затем началось нечто педообразимое. Взрывая копытами равнину, парфянские кони подняли такое огромное облако пыли, что фромены не могли ни ясно видеть, ни свободно говорить.

Они сталкивались друг с другом на большом пространстве и умирали не легкой и не скорой смертью. Корчась от нестерпимой боли, солдаты катались по земле, с визгом крутились на ней, как псы, угодившие под колесо. Они ломали стрелы в ранах и, пытаясь вытащить зубчатые острия, засевающие в жилах, терзали и рвали сами себя.

— Вперед! — надрывался Публий.

Но войны с криком и стоном показывали ему свои руки и ноги, пaskвозь пробитые парфянскими стрелами...

— За мной, друзья! Мы опрокинем их, — ободрял Публий конницу.

И стремительно ринулся с ней на броненосный парфянский строй, схватился с врагом врукопашную. Неукротимый человек! Он не думал о смерти. Он верил в победу.

Но рукопашная, на которую Публий возлагал все надежды, ничего не дала.

Короткие легкие дротики галлов не могли пробить сыромятную толстую кожу и железо парфянских панцирей. Зато длинные тяжелые пики парфян глубоко пропикали в плохо защищенные или просто обнаженные тела храбрых галлов.

А храбрость их не вызвала сомнений!

Галлы хватались за вражеские копья и, сходясь вплотную с парфянами, стесненными в движениях тяжестью доспехов, сбрасывали их с коней. Иные, срыгнув, подлезали под неприятельских лошадей и поражали их в живот. От боли лошади вздымались на дыбы и обрушивались сверху на своих и чужих.

Галлов изводила жажда, изнурил непривычный для них жестокий зной. Чего тут больше пролилось, в этом трудном бою, — крови, пота, бог весть. К тому же и лошадей своих они почти всех потеряли, когда напоролась на парфянские копья.

Им поневоле пришлось отступить к тяжелой пехоте. Ведя под руки Публия, который изнемогал от рап.

Поблизости находился большой песчаный холм. Фромены, отбиваясь, отошли к нему и закрепились, образовав плотный круг. Внутри круга они поместили коней, затем сомкнули щиты в несколько ярусов. Песчаный холм заметно осел, расползся под ними. Но не так, чтобы сровняться с полем битвы. И превратился для римлян в ловушку. Позиция, которая им представлялась удобной для обороны, оказалась, наоборот, губительной.

Если на ровном месте первый ряд прикрывает собой ряды задние, то на холме, на склонах его, возвышаясь один

над другим, все ряды одинаково очутились под ливнем стрел. И всем одинаково пришлось оплакивать свое бессилие и конец свой бесславный...

При младшем Крассе находились два грека из Карр, Иероним и Пикомах. Они убеждали Публия тайно оставить обреченное войско и бежать вместе с ними в Ихны — ближайший город, верный Риму.

— Сколько людей гибнет по моей вине! — сказал с черной горечью Публий. — Нет такой страшной смерти, которая заставила бы меня их покинуть. Бегите. Прощайте...

Он до последнего вздоха сохранил свою книжную речь. Правую руку младшего Красса повредило стрелой, и Публий утратил способность ею владеть. Он приказал оруженосцу ударить его мечом и, расстегнув панцирь, подставил ему правый бок. Тот, где печень.

— Родитель. Ах, родитель! Да спасут тебя светлые боги...

Друг его Цепзорин умер подобным же образом.

Мегабакх сам покончил с собой.

Так поступили и другие вернейшие сподвижники Публия.

Парфяне, медленно поднимаясь по склонам холма, дёбывали копьями тех, кто еще продолжал сопротивляться.

— Все! Отвоевались. — Тит бросил пилум, сел на взрытый ногами песок на вершине холма, возле коней, закрыл руками лицо и застонал. — Теперь нас зарежут! — вскинул он к Фортунату мокрые глаза.

Фортунат не отвечал. Он стоял остолбенело с мечом в руке и не слышал его.

— Эй! — Фарнук толкнул Фортуната, который, слепой и глухой, тупо уставился куда-то в пыльную даль равнины. Будто голос далекой матери вдруг долетел до него. — Ты чего, со страху одурел? Отдай свою игрушку, она уже тебе ни к чему. — Сак с трудом вывернул меч из одеревенелой руки неудавшегося центуриона.

Так встретились два «Счастливец».

Фортунат, пожалуй, даже не понимал, что с ним делают, что происходит с ними со всеми. Должно быть, угадав его состояние, сак Фарнук и не убил молодого фромена. Хотя тот и не бросил свой меч...

Из пяти тысяч восьмисот людей Публия в живых осталось не более пятисот.

— Все, бедолага! — крикнул Фарнук. — Кончились ваши страдания. Спускайтесь вниз. Не бойтесь, — таких геро-

ев мы не загоним в рудник. Будете служить нашему славному царю Хуруду Второму Аршакиду...

Фарнук склонился над трупом Публия.

— Допрыгался? Эх! Молодой, сильный, красивый...— Он вынул из ножен кинжал и не спеша отрезал Публию голову.— И куда тебя несло? Где Рим, а где Беллеса.— Фарнук отер с лезвия кровь, спрятал кинжал и плотно насадил голову младшего Красса на пик.— Та-ак. Сын — готов! Теперь очередь за папашей...

Старший Красс с беспокойством ждал сына. Когда он с удачей вернется к отцу. Он все баюкал руку, все баюкал ее у груди...

Один из многих посыльных Публия сумел наконец проскользнуть к главному войску:

— Публий пропал, если ему не будет скорой и сильной помощи!

Старик похолодел... Тревога за сына и за исход всего дела, густо и жарко хлынув от сердца, тяжело ударила в мозг.

— Вперед, на помощь!— крикнул он дребезжащим бесцветным голосом.

Но в это время вновь загрели страшно и грозно литавры. Распевая победные песни, крича, к римскому войску опять хлынуло скопище буйных парфян.

— Э!— Кто-то из них поднял на пике голову Публия.— Чей это сын, какого он роду? Кто знает его родителя? Ни с чем не сообразно, чтобы от Марка Лициния Красса, наилучшего из людей, произошел такой благородный и блистающий доблестью сын...

Нет! Красс не верил. Не мог поверить...

— Римляне, меня одного касается это горе.— Растерянный, немощный, дряхлый, он побрел, спотыкаясь, вдоль рядов. Остановился перед молодым легионером, положил ему на плечо здоровую левую руку. Заглянул просительно в глаза.— Мое горе! Не так ли? Мое... Пусть он погиб,— не принимал Красс за правду то, что сам говорил о сыне! Такой правды не может быть. Это все условно.— Но слава Рима и его судьба не сокрушены. Они в ваших руках. Не смущайтесь тем, что случилось: тому, кто стремится к великому, надлежит при случае и потерпеть.

Так утешал он себя и других, смутно надеясь на невозможное. Никогда еще голос его не звучал так трагично и обреченно, с такой проникающей задушевностью и... безвыходностью...

Он погладил по щеке другого солдата. Озираясь, развел руками.

— Разве Лукулл без кровопролития низверг Тиграна? И Сципион — Антиоха? Тысячу кораблей потеряли предки наши в Сицилии. И множество полководцев — в самой Италии, когда отбивались от Ганнибала. — В голосе Красса, глубоком и мягком, теплой струйкой зазвенели слезы. — Но ведь это не помешало им затем одолеть победителей...

Старый Красс принал к плечу одного из легатов, Эгнатия, и заплакал:

— Если у вас есть хоть сколько-нибудь жалости к старику, потерявшему лучшего сына на свете, — докажите это гневом своим против врагов!

Он оставил Эгнатия, сел на камень, упав лицом в ладони.

Долго сидел он так, сокрушенный и тихий, между тем как боевой клич парфян, стусившихся вокруг его легионов, все нарастал, отчетливый, смелый.

Назревал новый бой.

Красс встал, серьезный и строгий, как патриарх в кругу семейства.

— Покарайте их за свирепость! Отнимите у них радость удачи! Издайте свой клич боевой, чтобы кровь у злобных парфян застыла в жилах...

Но не жажда возмездия охватила всех римлян от обращенной к войску слезливо-трогательной речи полководца, а «трепет и ужас», как пишет Плутарх. И клич получился неровный, разрозненный, жалкий. Скорее — слабый крик несходящего кровью о помощи...

И тогда Красс поверил в смерть сына. Но он не хотел верить в нее!

— Нет! — Он схватил чей-то щит, вскинул правую руку и обрушил кулак на выступ-умбон. — Нет и нет!

Он с размаху бил и бил больной рукой по железу, будто рубил его топором.

Чтоб заглушить этой болью другую, более страшную.

Чтоб расплющить пенужную руку, пскромсать, измочалить ее.

Чтоб разбить вместе с нею кольцо-чудовище, раздробить проклятый вишнево-красный камень...

Вишнево-красной кровью обогрился весь щит. Красс упал без сознания. Все остальное происходило уже без его участия.

Отряды легкой парфянской конницы вновь обрушили на легионы густые лавины острых, раскаленных на солнце, зубренных стрел. Конные латники, действуя пиками, стеснили римлян на малом пространстве. Иные из солдат с решимостью обреченности, вырывались вперед и бросались с сбижаемым мечом на врага, — и парфяне, как куропаток на вертел, насаживали их на стальные тяжелые копья.

На соседнем холме, словно дразня римлян, под грохот бубнов, свист флейт извивались в победном танце парфянки.

— Возмутительно! — вознегодовал военный трибуи Петроний.

— Может быть, так и надо, — угрюмо вздохнул квестор Кассий. — Иного зрелища мы не достойны. Раз уж превратили благородный Рим в балаган, где кривляются, самим себе на потеху, то вшивый Сулла, то шаршивый Красс.

Страшный день подходил к концу. От заката пустыня сделалась алой. Будто всю ее омыло римской кровью.

Ночью лук со стрелами бесполезен.

— Даруем Крассу одну ночь, чтобы оплакать сына! — крикнули парфяне, уходя. — Пусть утром он сам придет к Сурхану. Иначе его приведут силой. — И с громом копыт исчезли в темноте.

Согласно степному обычаю саки расположились на ночлег за холмами, подальше от противника, чтобы он не смог захватить их врасплох.

Сурхан и человек с черной повязкой на лбу сидели отдельно от всех, вдвоем у костра из сухого верблюжьего помета.

Предводитель саков сосредоточенно шевелил тремя пальцами правой руки — большим, указательным, средним, что-то в них разминая.

— Мозоли натер тетивой. Столько пришлось сегодня стрелять. Нехорошо, — вздохнул Сурхан.

— Что?

— Нехорошо все это! Я, должно быть, по природе своей не воин. Я, как и ты, поэт.

— А я по природе своей не поэт, а воин, — усмехнулся человек с черной повязкой на лбу. — Судьба!

Оба невесело рассмеялись, печально умолкли.

Если даже у парфян от этой ночи на душе сумрачно, скверно, то какой же она была для римлян? Никто не думал о том, чтобы помочь страдающим от ран, умирающим.

Всякий оплакивал лишь самого себя. Никакого исхода! Все равно, дождутся ли римляне утра или сейчас уйдут в беспредельность равнины....

Слишком много раненых. Если нести их, они будут помехой при поспешном отходе. Оставить,— криком своим дадут знать парфянам о бегстве товарищей.

Все знали: Красс — виновник их бед и несчастий. Но солдаты, сокрушенные духом, хотели увидеть его, как дети отца, пусть сурового, несправедливого, вновь услышать его голос.

Однако старик, глухо закутавшись в плащ, лежал в темноте и молчал. Легат Октавий и Кассий пытались поднять, ободрить полководца, но он грубо обругал их и опять затих...

Тогда те двое, по своему почину, созвали совет центурионов и прочих начальников. Во мраке ночном, придвинувшись друг к другу и шепчась, они казались шайкой злоумышленников. Никто не хотел оставаться на месте. Без сигналов трубных, без бодрых команд, в тоскливой тишине поднялось римское войско в последний поход.

В черной пустыне звучал лишь густой странный шорох — вкрадчивый шорох многих тысяч подошв — да изредка резко звякало оружие.

Но раненые сразу догадались, в чем дело.

— Нас бросают! — завопил кто-то из них.

Лагерь тревожно загудел. Те, что были без чувств, очнувшись, вылезали из-под груды трупов. Те, кто мог шевелить рукой, стучали мечами о щиты. Остальные просто кричали — бессмысленно, злобно и страшно.

Когорты, успевшие сойти на равнину, вообразили, что зади на них внезапно напали враги. Очертя голову, легионеры ринулись в темноте кто куда, рассыпались так, что уже никакой начальник не мог их собрать.

Шум в римском лагере долетел до парфян.

— Бегут, — сказал человек с черной повязкой на лбу.

Сурхан безразлично махнул рукой. Пусть. Куда они убегут?

Пустыня озарилась орапжевым светом восходящей луны. Когда она поднялась высоко, равнина сделалась холодно-белой, и при ее белом свете вереницы белых фигур на белой равнине мнились тенями умерших, бредущими в преисподней к переправе через мрачный Ахорог.

Эгнатий, на плече у которого днем рыдал старый Красс, казался осматрительней всех. Глубокой ночью он

привел к стенам Карр триста всадников и на лагинском языке окликнул стражу. Караульные отозвались.

— Передайте Копонию, что между Крассом и парфянами произошло большое сражение.

Ничего не прибавив к этому и не сказав, кто он такой, Эгнатий поскакал дальше к Зейгме.

Дурная слава, которую он мог заслужить, покинув своего полководца, его не пугала. Пусть! Зато Еднот отвалил ему тысячу золотых. И пообещал дать еще столько же, если Эгнатий доставит его в сохранности на западный берег Евфрата.

Это куда лучше, чем с доброй славой умереть вместе с дурнем Крассом.

Еднот моллился Яхве. Он спешил. Ставка на Красса не оправдала его больших надежд. Но оставались еще Помпей и Цезарь! О Яхве! Один лишь ты, о великий, знаешь, что ждет нас впереди...

Копоний, начальник гарнизона в Каррах, сообразил, что дело худо, вышел с солдатами навстречу отступавшему войску и проводил Красса и Кассия в город.

* * *

И снова вошло утро. Такое же золотое, как вчера. Но вчера оно начиналось с надежды, а нынче у римлян ее уже не было. Никакой надежды у них не оставалось. Даже на спасение, не говоря уже о победе. О ней и говорить теперь смешно. Более того, кощунственно.

Едва светлый Митра, гневный, слепящий, взглянул своим огненным оком на брошенный римский лагерь, его окружили парфяне.

Кое-кто из раненых, стиснув меч или копье, пытался броситься им навстречу, но парфяне быстро перебили их. Все четыре тысячи, которые здесь оставались. Брать немощных в плен, возиться с ними, лечить, кормить и поить парфянам было недосуг.

Они торопились. Ибо главный враг, Марк Лициний Красс, уцелел и, по слухам, с лучшей частью войска, направился к Зейгме, а толпа, что стеклась почью в Карры— жалкий сброд, недостойный внимания.

Многих, блуждавших по равнине, истребили, догнав на конях.

Легат Варгунтий с четырьмя когортами оторвался ночью от войска и сбился с дороги. Утром враги окружили его на

каком-то холме. Повторилось то, что произошло вчера с отрядом Публяя.

Лишь свежы-германцы, хлебнув, как водилось у них, настоя из гриба-мухомора, впали в неистовство и, рыча, прорубили боевыми топорами широкий проход сквозь парфяпскую копницу.

Их осталось двадцать.

— Ох-хо-хо! — двинулся Фарнук на краснолицых синеглазых воинов. — Не трогайте их. Пусть уйдут спокойно в Харран. Заслужили.

«Одержимые» удалились, положив топоры на плечи, шатаясь, смеясь и хрипло ругаясь по-своему. Один из них задрал рыжую голову и завернул протяжным фальцетом альпийскую руладу.

* * *

— Эй! — крикнул кто-то у городских ворот. — Позовите Кассия.

— Я здесь! — Он находился как раз на степе, размышляя, как быть дальше.

О длительной обороне и думать печего. В городе негде повернуться, так много людей набилось в него, а продовольствия до жути мало. На поддержку греческих жителей Карр тоже не приходится рассчитывать, — по состоянию римских войск они поняли, что Красс потерпел сокрушительное поражение.

Единственный выход — бегство. Но как уйдешь, если все дороги отрезаны? Днем, при свете солнца, это невозможно...

Кассий чуть не спрыгнул со стены, когда взгляделся во всадника, который крутился внизу, у ворот...

— Сальве, друг Кассий! — помахал рукой Абгар. Он, видно, запомнил это приветствие, пока находился при «императоре». Но, может быть, вообще отлично знал латинский язык. Однако, по своему обыкновению, о том помалкивал. — Слушай, Кассий. Ты человек разумный. Пожалуй, самый разумный во всем римском войске. Передай Крассу, если он в городе: Сурен готов заключить перемирие. Он даст вам спокойно покинуть Месопотамию, если вы сложите оружие. Это лучше, чем доводить дело до последней крайности. И для вас, и для нас. Согласен? Пусть император выйдет на переговоры.

— Где и когда состоится свидание?

— Хоть сейчас! Здесь, у ворот.

— Красс... хворает, — сказал квестор Кассий, подумав.

Поспешность в этом сомнительном деле совсем ни к чему. Надо выгадать хотя бы день, чтобы осмотреться и все как следует решить.— Он сегодня не сможет встретиться с вашим предводителем.

— Понятно!— засмеялся лукавый араб.— Как тут не захворать. Не той ли болезнью, которой заболел Александр на Яксарте? Тогда — завтра утром, здесь, у ворот. Сальве! Будь здоров. — И Абгар, довольный, ускакал.

Озадаченный Кассий сошел со стены. Красс отдыхал у Андромаха, одного из виднейших и богатейших жителей Карр. Проходя через каменный двор, Кассий увидел в тени под стеной пятерых в арабской одежде, печально сидевших на корточках.

Теперь все арабское вызывало в нем подозрение.

Он подошел взглянуть на них. Арабы встали, склонились в низком поклоне. Один показался ему чем-то знакомым. Кассий где-то видел этого юношу. Может, в отряде Абгара, когда тот сопровождал римское войско в пустыне?

Впрочем, кто знает. Все они на одно лицо. Кассий мог перепутать. Но беспокойство его возросло.

— Не узнал,— прошептал Натап, едва Кассий оставил их. — Он видел меня в храме Деркетю.

Их осталось пятеро. Элиазар вчера погиб в жестоком бою. Мир его праху...

— Что за люди у тебя во дворе?— строго спросил квестор Кассий, войдя к Андромаху, который, присев возле Красса в светлой просторной комнате, оведал ему лицо опалом.

— Мои слуги.— Андромах вскинул к нему большие глаза.— Проводники. Верные люди.

— Но они же арабы?

— И что?— пожал Андромах могучими плечами.— Мы здесь все вместе живем. Перемешались.

— Я не доверяю им!— Кассий устало опустился в легкое кресло.— Я никому здесь не доверяю.

— Даже мне?— оскорбился грек Андромах, тучный, огромный.— Но разве не я в прошлом году открыл перед вами ворота Карр? И не я помогал вам все это время? Обижаетесь.

— Не о тебе речи! Сурен предлагает переговоры,— обратился Кассий к бледному Крассу, лежавшему на низком помосте.— Но я возражаю против них. Ничего хорошего из этого не выйдет. Встреча назначена на завтра. Сегодня ночью мы уйдем. Именно ночью! Ибо парфяне не сража-

ются ночью, это не в их обычае. Стрелки из лука беспомощны в темноте. Как слепые.

— И что же дальше? — спросил тихо Красс. Отрешенно, почти безучастно.

— Пока они встанут, мы будем уже на пути в Зенодотию. Возьмем ее, отдохнем, — и дальше с боями пробьемся к Зейгме.

— Нет! — Красс в страхе привстал на ложе. — Только не в Зенодотию. Проклятый город. Путь в Зенодотию опасен. Не нужно идти в Зенодотию. Я не могу больше видеть серый песок, белый щебень. Нет! Отступим в горы. В горах наше спасение. Как их название, ты говоришь? — обернулся он к Андромаху, почти невменяемый.

Разум его угасал. Все забылось: Цезарь, Помпей, великие замыслы. Все, кроме Форума, где народный трибун Атей гневно грозил ему: «Помни же, Красс, ты идешь на Восток! То есть против солнца. Каждое утро оно будет вставать тебе навстречу. А солнце в тех краях ужасное. Может выжечь тебе глаза...»

Атей, продолжая кричать, почему-то преобразался в богиню Деркетю, и она жгла «императора» неотступным зеленым, загадочным взглядом.

«Совершенное ничто, — подумал с презрением Кассий. — Он превратился в ничто».

— Как зовутся те горы?

— Синнаки. По дороге в Армению.

— Да! — вскричал неудавшийся завоеватель. — В Армению! Мы уйдем в Армению. Артавазд нам поможет.

— От Артавазда нет вестей, — осторожно заметил Кассий. — Как-то он встретит нас?

— Он встретит нас хорошо! Я заставлю его...

О боже!

— Пусть будет так, — сделал вид, что согласился, квестор Кассий.

Измученный вчерашним страшным днем и не менее страшной бессонной ночью, он поплелся готовить войско к отходу. И заодно расспросить местных жигелей о самой короткой дороге в Зейгму.

Андромах же, оставив при Крассе служанку, украдкой вышел к Натану. Они пошептались. Один из друзей Натана тайно покинул крепость.

...Всю ночь плутал Красс со своим утомленным войском в окрестностях Карр.

Проводники, которых дал ему Андромах, шли то по од-

ной, то по другой дороге. Солдаты не раз попадали в какие-то мокрые рвы и долго плюхались в них, не находя, где выбраться наверх. Несколько раз переходили одну и ту же, кажется, речку. Пробирался сквозь густой кустарник.

И очутились в непролазных болотных зарослях, где их всю ночь дожимал пронзительный вой шакалов.

— Темно,— говорили проводники в свое оправдание.— Здесь и днем легко заблудиться...

Все же кое-кто догадался, что не к добру их путают «арабы». Кассий с полутысячей всадников без шума отстал в темноте от Красса.

— Его светлость желает уехать?— осторожно спросил проводник, тот, чем-то ему знакомый.— Расположение звезд и планет неблагоприятно. Лучше вернуться в Карры и переждать, пока луна не пройдет через созвездие Скорпиона.

— А я еще более того опасаюсь Стрельца!— И будущий убийца Юлия Цезаря, взяв пятьсот верных всадников, благополучно отбыл в Сирию.

Легату Октавию повезло. Он сумел еще до рассвета увести пять тысяч солдат в горную местность Синнаки и оказался с ними в безопасности.

Красса же день застал среди болот, в колючих зарослях в пойме Белиссы. С ним было четыре когорты, совсем немного всадников и всего пять ликторов-телохранителей.

С большим трудом, с шумом и треском рыская в чаще, они отыскали какое-то подобие дороги и взобрались на голый пологий холм, соединенный с горами искривленной длинной грядой. Синнаки громоздились перед ними, но до них пришлось бы пройти еще десять-двенадцать стадиев. А враги между тем уже наседали. Опять запели стрелы, опять зазвенели они о римские доспехи...

Октавий увидел все это сверху. И первый устремился на выручку. За ним, укоряя себя за медлительность, бросились и остальные.

Железной лавиной обрушились римляне сверху на вражеских всадников. Оттеснили их от холма, окружили Красса и оградили его большими щитами.

— Нет такой парфянской стрелы,— кричал Октавий,— которая коснется императора прежде, чем все мы умрем, сражаясь за него!

Настоящий римлянин, честный солдат.

— Что ж, похвально,— проворчал Сурхан.— Если римские войско продержится здесь до ночи, оно уйдет в тем-

поте еще выше, и его уже ничем не возьмешь. Конница не может развернуться в скалистых горах...

Он изогнул круто свой лук, отцепив тетиву. Сгрельба прекратилась по всему войску.

Предводитель саков подбегал к холму, протянул вперед пустую раскрытую руку:

— Довольно — крикнул он. — Чего мы бродим и топчемся в зарослях, как дикие люди? Всех зверей распугали. Слезай, Красс. Напрасно ты избегаешь переговоров. Две такие державы, как Рим и Парфия, должны, даже обязаны, — обязаны, слышишь? — жить в мире между собой. Иначе от их бесконечных свар и столкновений никому на земле не будет покоя. Когда дерутся два слона, весь лес приходит в запустение. Спустись же с холма! Обсудим спокойно условия перемирия. Мы не хотели с вами непримиримой вражды! И сейчас не хотим...

По римскому войску, как прохладный ветер в знойный час, прошел глубокий, до самого дна обожженных легких, вздох облегчения.

Солдаты ждут, что скажет Красс. Но «император» молчит.

— Спустись же, Красс! — крикнул кто-то из рядовых. — Говори с ними.

— Я не хочу! — взвизгнул Красс. — Продержимся здесь до ночи, ночью они ничего не смогут с нами сделать. Не теряйте надежды! Спасение уже близко.

Солдаты пришли в неистовство:

— Трус! Ты опять хочешь бросить нас в бой против тех, с кем боишься говорить?

Они угрожающе застучали копьями о щиты.

Красс обеими руками схватился за голову. Будто по темени бьют.

— Октавий, Петроний! — Красс испугался. — И вы все, сколько вас есть, римские военачальники. Вы сами видите, что меня принуждают идти, и хорошо понимаете, какой позор и насмешка мне приходится терпеть. Но если вы остаетесь в живых... скажите всем, что Красс погиб из-за того, что был предан своими согражданами, а оттого, что был обманут врагами...

Тут возмущился даже кто-то из военачальников, проворчал презрительно:

— Нехорошо. Недостойно великого человека...

Крассу пришлось покориться. С ним спустились с холма, сняв оружие и сбросив доспехи, Октавий, Петроний и группа начальников уцелевших когорт. Пятерых своих лж-

торов-телохранителей, что двинулись было за ним, он демонстративно отослал назад:

— Живите! Поведайте в Риме...

И прочитал, глотая слезы, — ему казалось: к месту, — стихи Симоныда, что высечены на могильной плите при Фермопилах:

Путник!

Пойди возвести

нашим гражданам в Лакедемопе,

Что,

их заветы блюдя,

здесь мы костями полегли...

«Старый враль. — зло подумал Петроний. Даже его взбесило это тупое притворство. — Те погибли в бою на пороге дома родного, защищаясь от свирепых пришельцев. А ты? Эх! Связался я с тобой... на свою голову. «Заветы...» Напомнить бы тебе сейчас заветы Атея».

Но не папомнил. Слишком прочно въелась угодливость в душу. И просто нет сейчас времени вдаваться в злорадные воспоминания.

Первыми встретили Красса два эллина. Они соскочили с коней, поклонились.

— Пусть император пошлет людей убедиться, что Су-реп и его окружение сняли доспехи и безоружны.

Красс воскликнул заносчиво:

— Если бы я хоть сколько-нибудь дорожил своей жизнью, то не снизошел бы с холма для беседы с коварным саком.

Он никак не мог отделаться от бывшего ораторства! Но в прямь, теперь, когда он решился, страх оставил его. Вернее, перешел — через отчаяние — в запальчивость. Как и бывает при таких обстоятельствах.

С опаской, с глубокой враждой и недоверием они сошлись под холмом — парфяне и римляне.

Между ними, на истоптанной поляне, тревожно качался на горячем ветру колючий маленький кустик. Тонкий маленький кустик, который не мог никого остановить, удержат от резких, необдуманных поступков.

— Что это? — молвил Сурхан. — Римский император идет пешком, а мы едем верхами! — И приказал подвести Крассу копя.

Никто из нас не погрешит, поступая каждый по обы-

чаю своей страны,— заметил Красс наставительно, как привык.

— Верно!— согласно кивнул Сурхан.— Но все же мы спешимся. Чтобы нам с тобой удобнее было говорить. Мы крепко сидим на конях, но и на земле тоже стоим твердо.

Он слез, протянул огромную руку. Римлянин сунул ему свою — опухшую, черную, в синяках, кровоподтеках и ссадинах.

— Император ранен?— заметил Сурхан. В глазах сака искрой мелькнула усмешка. — Итак, Красс, война окончена. Вражда сменилась миром.

— Мы всегда стремились к миру,— проскрипел недовольный Красс.— Но, как видишь...

Он брызгливо махнул рукой на остатки своих легионов, окруженные парфянской копницей.

«Хе! Нагло залез в чужой дом и еще ворчит, что ему перебили ноги». Но Сурхан сдержался. Он сказал с грустью:

— Вы, римляне, почему-то боитесь дневного света. Все надежды свои возлагаете на ночь. Дозволь же напомнить — в старых римских Законах XII таблиц говорится: «Если совершавший кражу в ночное время убит на месте, смерть его считать правомерной». Верно? Так же четко, как в этих таблицах, нам надлежит записать условия перемирия. Черным по белому. Ясно и внятно. Ибо вы, римляне, забываете о договорах.

— А есть среди вас тот, кто умеет писать? — высокомерно спросил «император».

Это было уже оскорбление.

— Я немного умею,— скромно выступил из толпы приближенных Сурхана человек с черной повязкой на лбу.— Я даже брался описать один великий поход... но заказчику не понравился мой слог.

— Эксатр!— ахнул Красс.

— Какой Эксатр? Вы не только душу и тело калечите человеку, вы искажаете даже имя его. Яксарт мое имя! По реке, за которой я родился и вырос. Страна Шаш. Слышал? Ты хотел до нее пойти.

— Взять его!— приказал Красс, забывшись, Сурхану.— Это мой беглый раб. Я заплатил за него пятнадцать тысяч драм.

Патриций — до конца патриций.

— Эй! — сурово одернул его рыжий Сурхан.— Потше. Здесь распоряжаемся мы.

— Вы!— Красс с презрением плюнул в него, но не достал.— Таких, как вы, я шесть тысяч повесил на Аппиевой дороге.

Переговоры утратили всякий смысл...

— Хватит болтать!— вспыхнул Яксарт.— Здесь не Форум. Все, Красс, ты отговорил свое. Дай мне сказать. Ты достоин трижды умереть. От моей руки. Но я человек гордый и честный. Над пленными не издеваюсь, безоружных не убиваю. Защищайся! Дайте ему римский меч. Я буду биться акинаком, нашим длинным сакским кинжалом. Что? Или ты думал, у поэтов в жилах тушь и они умеют обращаться лишь с тростниковым пером?

Красс неловко держал обезображенной правой рукой тяжелый, широкий, чуть не с лопату, острый римский меч. Солнце слепило ему глаза. Такого оборота дела он не ожидал...

— Смелей!— подзадорил его веселый Яксарт.— Или рукой не владеешь? А-а, понимаю, болит рука. Так знай, что кольцо отравлено. Когда ты, не подумав, с бешеной силой насовывал его на грубый свой палец, ты сдвинул камень. Он повернулся в гнезде,— из него в твой мизинец незаметно вонзилось тончайшее жало, сквозь которое в кровь стал сочиться из крохотной полости внутри камня опасный яд. Он действует медленно и постепенно сводит человека с ума. Как сама жизнь, — улыбнулся Яксарт благодушно.— Повернешь ее не так, как падо,— и стапет она для тебя не удовольствием, а бедствием.

Одолела все же поэзия деловую холодную прозу! Одолела!..

— Знаешь, сколько пало наших? Триста пять человек. А ваших?..

Красс изогнулся, стараясь как можно крепче стиснуть рукоять меча искалеченной рукой.

Яксарт сделал резкий выпад, одним сильным ударом выбил меч у него из черной руки и воткнул акинак по рукоять ему в бычью толстую шею...

Затем парфяне убили Октавия и Петропия и всех других, кто спустился с Крассом с холма. Остальные сложили оружие.

20 000 убитых.

10 000 попавших в плен.

Так завершился знаменитый поход на Восток римского консула Марка Лициния Красса.

Всего 12—13 тысяч солдат сумели уйти назад, за Евфрат...

— Ты обещал,— угрюмо сказал Яксарт.

Вишнево-красный турмалин уже сверкал у него на правой руке.

Освободившись от Красса, от гнета его дряблой оплывшей кожи, кольцо богини Деркетто сияло необычайно лучезарно на золотисто-смуглом среднем пальце Яксарта.

— Она твоя!— щелкнул Сурхан по кожаному мешку с чем-то круглым внутри.— Но как же мне быть с Хурудом? Он тоже ждет ес...

Они сидели в палатке, на толстом войлоке. В большой чаше с маслом колебалось яркое пламя.

— Ты обещал,— упрямо сказал Яксарт.

В палатку заглянул Фарнук:

— Дозволь?

— Говори.

— Тут один негодяй... фромэн из пленных... напал на нашего мальчишку, который сторожил их с кошем. Оглушил.

— Этого еще не хватало. Волоки его сюда. Посмотрим на «героя»...

Фарнук втокнул в палатку... живого Марка Лициния Красса.

Нет, показалось. Пленный моложе. В рост — гораздо выше. Но очень похож...

— Хм? — изумился Сурхан. И переглянулся с Яксартом.— Как тебя зовут?

— Гай Пакциан,— ответил пленный, пошевелив руками, связанными за спиной.

— Знаешь ли ты, что очень похож на Красса? Как брат-близнец.

— Все так говорят,— произнес Пакциан самодовольно. Как будто природное сходство с большим человеком было его личной заслугой.

— Ты что, после боя еще не остыл? Но в бою-то, конечно, был позади. Потому и остался живой.

По отвислым губам Пакциана расплзлась виновато-наглая усмешка.

— Тыфу! Противно смотреть. Отрубить ему голову!— велел Сурхан.

Фарнук потащил Пакциана наружу.

— Бери,— подвинул Сурхан к Яксарту мешок.— Хуруд, конечно, пирует сейчас. Он якобы одержал великую побе-

ду. Вот пусть и забавляется головой якобы Красса. Здорово, а? Ха-ха!

Да, Хуруд пировал...

Он праздновал свадьбу сына Шагора с армянской царевной, сестрой Артавазда.

Со столов уже было убрано. Актер Ясон из Тралл декламировал из «Вакханок» Эврипида стихи, где говорится, как вакханки разорвали на части фиванского царя Паифея и с торжеством несут его голову, словно охотничий трофей.

Как раз в это время в зал вошел Спллак, отправленный Сурханом с добычей к царю. Он пал ниц перед Хурудом и затем бросил на середину зала отрубленную голову...

Парфяне и армяне рукоплескали с веселыми криками, и слуги, по приказанию царя, пригласили Силлака к столу.

Силлаку казалось, что он сравнялся с Сурханом ростом и силой, ибо все смотрели на него. Помимо этой головы, он привез Хуруду еще кое-что поважнее. Крохотный камешек может сломать самую сложную, хитро придуманную Архимедову машину...

Ясон схватил отрубленную голову, и впад в состояние вакхической одержимости, прокричал восторженно **стихи!**

Только что срезанный плещ —
Нашей охоты добычу счастливую —
С гор несем мы в чертог...

«Всем, — пишет Плутарх, — это доставило наслаждение».

Гай Пакциан изумленно таращил мертвые глаза на пышный чертог. На яркость одежд и завес. На мрамор колонн, под которыми, на помостах, в мягких коврах, нежились знатные парфяне и армяне...

Тогда как Сурхан где-то в пустыне спит сейчас на воючей конской попоне.

Пакциану, может быть, казалось, что все эти важные вельможи собрались здесь ради него. Из-за того, что его не отличить от Красса.

Но что ему от этого теперь? Его лицо после смерти приняло осмысленное, даже грустное выражение. Как будто он почувствовал всю фальшь происходящего. Да, опасно

человеку походить на великих. Куда лучше быть похожим на себя самого.

Хотя это — еще опаснее...

— Смотри, завезут, — хмуро сказал Фарнук.

Он с опаской косился на скуластых хунну, которые собирались домой.

Яксарт хотел уехать с ними.

Хунну пабили двойные сумки богатой добычей, получили от Сурхана обещанную награду, и теперь их здесь ничто не держало. Утром сядут на косматых своих лошадей — и прощайте...

Угрюмо сидели они у почтового костра, и кто-то из них играл на поломом стебле полевого растения степную долгую мелодию. Истосковались хунну по родным просторным ночевкам, по женам и детям.

Они впервые попали сюда, в гиблую эту Дездему, и было им здесь, после привольных речных долин, после горных лугов с высокой и сочной травой, не по себе.

А может, и не впервые? Может, их отдаленные предки уже бывали когда-то в раскаленных этих краях?

Кто знает...

И кто знает, что именно их, хунну, не столь отдаленным потомкам предстоит добить разложившийся Рим...

— Не завезут, а довезут, — уточнил Яксарт. — Мы с ними в Шаше живем по-соседству. Встречались. Эх! Как давно я не видел свой дом... — И Яксарт заговорил с хунну на их языке.

Они рассмеялись — приветливо, доброжелательно. Свиристель сопла с их уплощенных физиономий. Кто-то из них протянул Фарнуку чашу вина. Пришлось взять и выпить. Ну что ж! Ладно. Светлого пути.

— Едем со мной, — сказал Яксарт печальному Натану. — Увидишь новые края.

— У нас и в наших краях немало забот, — вздохнул Натан. — Я останусь в Эдессе. Вместе с ними, — указал он на молчаливых друзей. — Абгар зовет нас к себе...

Свадебный пир у простых людей длится три дня.

У царей он может растянуться надолго. Хурруд, передав через гонца в Ктесифон весть, что везет живого Красса, решил для потехи устроить на подходе к своей западной столице издевательский «триумф».

Старую толстую армянку, безобразную и седую, с жест-

кни седыми волосами на верхней губе и на отвесном подбородке, обрядили в пурпурный римский военный плащ, украсили венком из чертополоха и научили, пообещав дать золотую монету, откликаться на имя «Красс» и звание «император». Сунули в руку ослиную кость и посадили на белую лошадь с золотой уздой.

Впереди нее качались на верблюдах несколько трубачей, а также ликторов-телохранителей с расстрепанными венками вместо грозных фасций.

Позади воин вез на высокой пике под видом Крассовой голову Гая Пакциана.

Далее следовали в открытых повозках арташатские актрисы-гетеры: в шутовских своих песнях на все лады они измывались над памятью Красса:

Я вся в тревоге:
Опухла нога,
Не слышит ухо,—
Совсем старуха...

И все такое...

И еще похлеще...

За ними гордой размеренной поступью двигалось войско «неранмых»: в чешуйчатых панцирях, на крепких конях, раздобревших на армянских хлебах, отдохнувших в армянских долинах.

На каждой стоянке, в белых высоких шатрах, видные парфяне и армяне вновь и вновь упивались крепким вином, объедались жареным мясом с острыми приправами. Немало яств и питья перепало на радостях войску. Было очень весело.

Под грохот бубнов, под вой медных труб вошло победоносное царское войско в глинобитный Ктесифон, расположенный на восточном берегу Тигра.

И народ смотрел на это.

А на западном берегу, напротив Ктесифона, в греческую строгую Селевкию, в ту же пору, час в час, тихо, устало входило войско Сурхана.

Кони, измученные голодом, зноем и жаждой, с копытами, стертыми и разбитыми в каменной пустыне, хромали и спотыкались на прямых ровных улицах.

Хромали и спотыкались, припадая кто на правую, кто на левую ногу — босую, в крови, изрезанную острым щебнем, у иных — до костей, — пленные римляне. Правда, на

прямых, ровных улицах им стало легче идти. Кончилась проклятая солитуда!

— Хвала Юпитеру, вот и Селевкия, — вздохнул печальный Тит. — Дошли! Скажи, а, Фуртуат? Не так мечтали мы войти в нее...

— Да, не так.

Знамена, значки и штандарты павших когорт и легионов саки небрежно свалили в повозку; они, всю дорогу, уныло тарахтевшие грудой пыльных жердей, тоже теперь умпротворенно стихли. Как бы тоже задумавшись, что с ними было и что стало.

Победители — не веселее побежденных. Стрелки сидели на тощих конях, угрюмо сгорбившись, сбросив доспехи и хитоны, и рапы на их обнаженных телах подсыхали под солнцем.

Солнце сверкало у них в мозгу даже тогда, когда они, закрыв глаза, дремали в седлах. Ратный труд — тяжкий труд, всех охватило смертельное утомление. Хотелось скорее попасть в прохладу садов, омыться в чистых бассейнах и забыться...

Но им не дали отдохнуть.

Царь Хуруд потребовал саков к себе в Ктесифон. Переправились на барках. Между Хурудом и Сурханом состоялся страшный разговор.

— Я женил Пакора на армянской царевне, младшей сестре Артавазда.

— Поздравляю! Дай бог...

— Пришлось вернуть Артавазду кое-какие спорные области в Северной Месопотамии.

— Не страшно.

— Зато теперь он мой родственник, он мой вассал, и вся Армения, по сути, наша...

— И то дело. Но хватит об этом. Мы и так из-за свадьбы потеряли немало времени. Мне донесли, что Кассий успел собрать остатки разбитых войск и сколотил из них два новых легиона. Эти два легиона впускают мне тревогу. Народ битый, отборный, знает наши повадки в бою.

— А сестра у Артавазда... Ох! Я бы сам не прочь жениться...

— У тебя отдохнувшее, свежее войско. Нужно сейчас, пока не поздно, перейти Фурат, выкинуть римлян из Сирии и больше их туда не пускать.

— Ты пил армянское вино? Виноград у них мелкий, невзрачный, по вино из него — отменное. Потому что с во-

дой у них скудно. У нас же в Марге виноград хоть и крупный, но водянистый. Слишком часто его поливают...

— Говорят, Кялыкя, особенно горы Амана, с нетерпением ждут нас. И в Иудее смута началась. А мы бездействуем. Тем временем Кассий наберет крупное войско, из Гамы придут подкрепления. И сладить с ним будет трудней, чем теперь.

— Э, пусть! Доберемся и до Кассия. И барашки у армян хороши. Мы жарили их на вертелах и ели с чесночной приправой и разной острой травой. Но не на всяких углях мясо приобретает должный вкус и аромат. Дрова разжигают особые...

— Так нельзя, — тяжело вздохнул Сурхан.

— Нельзя держать у границы столько пленных фромепов! — резко сказал Хуруд. — Местные греки — непонятный народ. То они наши, то бегут с раскрытыми объятиями навстречу Риму. Могут тайно снабдить пленных оружием. И сотворится нелепость. Сейчас же отправь под охраной своих доблестных саков пленных подальше в глубь страны, в Маргяну. Пусть стерегут там наши рубежи. От любезных сердцу твоему узкоглазых хунну. Не сердись! Я понимаю: ты человек великий. Но не царь. И никогда им не будешь. Кстати, куда ты девал голову настоящего Красса?..

Сурхан вернулся в расположение небольших своих войск подавленный. Нет, не смогут они устоять перед громадой «неравных» Хуруда. Ибо все изранены, измотаны, обессилены. Всего-то одна тысяча латников. Остальные не в счет.

Легкая конница. «Неравные» перебыют их, как джейранов...

Кто-то подслушал, пропюхал, допес. Должно быть, Силлак. Вошь! Тоже копошится среди людей. Дело худо. Он озадаченно взъерошил светлые кудри. Худо дело.

Сурхан позвал к себе Феризат. Пока его еще не схватили...

— Переоденься мальчишкой-арабом. Чтобы платком закрывало лицо.

— Зачем? — удивилась Феризат. — Что еще за причуда?

Случалось, он одевал ее по-разному. Но то — ночью. Сейчас же утро.

— А ну, живее, — рявкнул Сурхан.

Пестрый платок со жгутом на макушке и хламида до пят преобразили ее.

— Фарнук! — крикнул Сурхан. И показал на жену: — Знаешь этого мальчишку? Пройдись.

Феризат прошла, вскинув плечи.

— Не имею чести, — пробормотал вконец озадаченный Фарнук.

— И хорошо. Значит, и другие не узнают. Это Феризат. Сядь и слушай внимательно. Как будто речь идет о твоей судьбе. Впрочем, так и есть. И ты слушай, Феризат.

Он заложил руки за спину, прошелся, низко свесив голову, по длинной комнате в коврах, с белыми решетками на окнах.

— Она беременна, Фарнук. — Сурхан вскинул голову. — У нее будет сын, я знаю! Род Сурхана не должен прекратиться. Ты увезешь ее в свое родовое кочевье, спрячешь среди женщин своих. Никто не должен знать, кто она и кто ее сын. Даже он сам до поры пусть не знает, чей, а то может проболтаться по детскому неразумию. Скажешь, когда увидишь, что время настало. Передашь ему это. — Сурхан снял с шеи золотую цепочку с амулетом в виде обнаженной Анахиты, протянул соплеменнику. — Дашь ему свое имя, пусть он будет Счастливым. Свое имя, Фарнук! За мной, наверно, сейчас придут. И отпустили только затем, чтобы я приказал войску оставить столицу. Побоялись схватить при вас. Опасались, что вы взбунтуетесь. Чтобы не было лишнего шума. Поднимай войско, Фарнук, бери Феризат и пленных — и ступайте с богом в Мехридаткерт и далее в Марг. Римские знамена и значки сдай в храм в Запретном городе. Тех, в гареме... пусть Хуруд возьмет себе. Им тоже не ко двору такой бродячий господин, как я. Идите. Уцелею — догоню.

— Я викауда не поеду, — сказала мрачно Феризат. — Я до конца останусь с тобой.

— Со мной до конца тебе оставаться не нужно. Я не повивальная бабка. Ступай с легким сердцем! — Он прижал ее к груди. Будто прижал к ней будущего сына. — Тебе нужно жить. Чтобы дать ему жизнь. Долг! Разумеешь?

— Долг! — зашлась она в слезах. — Будь он проклят. Когда умираешь с голоду, никто о тебе не вспомнит. Не умер, по счастью, — и ты же кому-то чего-то должен. Не забываю!

— Родись — поймешь, Феризат. Поднимай войско, Фарнук.

— Я его подниму, — заскрипел зубами преданный Фарнук. — Но мы никуда не уйдем! Мы пойдем громить подлнца Хуруда...

— И погибнете все ни за что! В том числе и мой сын. Это глупо.

— А почему бы тебе не уехать вместе с мам! — разъярился Фарнук. — Беги из проклятого Ктесифона, из этого гнусного гнезда.

— Я не сделал ничего такого, из-за чего бы стоило бежать из родной страны. Моя совесть чиста. И я еще не все сказал Хуруду. Суд разберется.

— Какой суд, какой?! — крикнул Фарнук злобно и бессильно...

...Его казнили наутро.

г

На обширной площади внутри гигантского царского дворца, состоящего из многих строений, засыли в строю у стен и ворот «драгоны» — полки «неранимых».

Которые за всю эту войну вынимали кинжалы из ножен только затем, чтобы резать армянских барашков.

Бог весть, что они думают об этом деле.

Глашатай объявил, что Сурхан допустил на войне излишне самостоятельные действия, не ставя о них в известность царя и выступая на переговорах с Крассом не от имени Хуруда, а от своего, что свидетельствует о том, что он задумал свергнуть династию Аршакидов и, воспользовавшись своей «случайной победой», захватить их престол.

...Что он злобно осудил долгожданный мир между Парфией и Арменией, сказав, будто свадьба царевича с царевной отняла время, которое следовало употребить на преследование и разгром уцелевших римских войск.

...Что он с нечистой целью утаил голову Красса, законную добычу государя, подсунув вместо нее глупую башку какого-то рядового солдата, что является глумлением над царским достоинством.

Наверное, так и есть! Раз уж так говорят. Царю виднее. А то только и слышишь: «Сурхан, Сурхан». Надоело...

Сурхан, с руками, связанными за спиной, не спеша взлез на помост, где на плахе лежал наготове большой топор.

Он сегодня не был подавлен. Феризат уже далеко. Не

был угрюм. Не был, конечно, и весел. А был он как-то странно рассеян, недоволен, будто его чепухой отвлекли от серьезных занятий.

— Ладно,— сказал он громко, с досадой.— Такова благодарность царей. Все равно я сделал свое. Но знай, Хуруд: Красс — не последний в мире Красс. Их много. Найдешь ли ты еще одного Сурхана? А вы, почтенные парфяне, запомните сами и передайте детям и внукам своим: не будет на земле покоя и тишины, пока существует Рим!

Хуруд, под балдахинном, среди приближенных, криво усмехнулся.

Сурхан опустил на колени, положил рыжую голову на плаху:

— Руби, собачий сын! Погоди, попадешься ты мне на том свете....

Шалач взмахнул топором. Голова отлетела, тяжело ударилась о помост, перевернулась несколько раз. И легла правой щекой, как, бывало, ложилась на одну подушку с головой Феризат.

Кровь широкой дугой залила помост.

Очень красной, яркой и чистой, была эта кровь. Недаром при жизни носил он имя Сурхан, что значит «красный»...

НА КРАЮ СВЕТА

...Через пятнадцать лет после этих событий в жестоком бою с римским войском в Гиндаре пал царевич Пакор. Ни в одну войну парфяне не терпели более страшного поражения.

Еще через год царь Хуруд заболел водянкой, и младший сын Фраат, чтобы сократить его мучения, дал отцу акониту.

Но яд подействовал как лекарство и вышел вместе с водой, Хуруду стало даже легче.

Тогда добрый сын, поразмыслив, взял и просто, без хитростей, задушил родителя. Он перебил заодно всех своих сводных братьев и объявил себя царем Фраатом Четвертым.

И еще через семнадцать лет, зимой, в парфянскую крепость на далекой окраине Маргианы, где оазис граничит с песчаной пустыней, приехал сакский военачальник Фарнук.

Не тот Фарнук, тот уже умер, — другой, молодой.

Летом здесь адское пекло, но зимой все же дует резкий холодный ветер. Однако грудь у Фарнука распахнута, и на ней, на золотой цепочке, сверкает амулет в виде нагой Авахиты. Лет тридцати двух или трех, он рыжеват и огромен. Но, несмотря на большую силу, человек осторожный и хитрый.

В карауле в тот день находились римляне Тит и Фортунат.

Оба — в широких безрукавках мехом наружу, в ст-погах, в широченных парфянских штанах. Но Фортунат — с бородой, а Тит отпустил на местный лад большие усы.

Много чего произошло с ними за эти годы.

Притерпелись к жаре, привыкли к острой местной пище, к мутноватой воде. Иные женились на местных девушках. И даже уверовали в Митру.

Крепость охраняла караванный путь из Марга к большой реке Ранхе (Оксу) и далее — в Согдиану, Шаш, Фергану и Китай. Тот самый путь, который называют Великим шелковым.

Стена в бойницах. Четыре башни. Внутри, вдоль стен, под земляными, с соломой, плоскими крышами — жилье для воинов, их семей, конюшни, склады; снаружи к западной стене, где ворота, лепились хижины местных жителей. В случае вражеского налета селяне успевали укрыться внутри крепости.

Римским солдатам па парфянской службе не раз приходилось ввязу, перед стеной, строиться в боевой порядок и против лихих хорезмийцев, и против хунну, среди которых, как однажды показалось Фортунату, он заметил «дурья Макка» — Эксатра, или Яксарты, которого знал еще по Риму.

А недавно появилось новое название — «кушаны», и этот народ тоже начинал наведываться к стенам пограничной крепости...

— Ну, фромемы,— сказал с усмешкой Фарпук,— пойте, танцуйте! С вас по золотой монете за радостную весть. У нашего царя Фраата,— он чуть потемнел,— с вашим Августом договор. Рим возвращает Фраату сына, попавшего в плен, мы возвращаем Риму значки легионов Красса, а также вас, друзья любезные.

Новость не сразу дошла до их сознания.

— Ишь, как Фраат ценит сына,— усмехнулся с горечью Тит.— Дороже нас всех! Видно, чтобы кому было помочь, если он сам на старости лет заболает водяжкой.

— Ты что? — нахмурился Фарпук.— Разве можно говорить о государе таком? Это есть глумление над царским достоинством,— повторил он, вспомнив чьи-то слова.— Но я не стану на тебя доносить. Все ваши дела здесь кончились. Так что собирайтесь. Но кто желает, может остаться.

Наконец-то! О боже... Они встрепонулись! У них загорелись глаза.

Но Тит сразу же потускнел:

— Я остаюсь! Что мне Рим? У меня здесь жена, дети, дом и земля. Никуда не поеду...

— А ты, Фортунат?

Фортунат настолько опешил, что даже сел при пачальнице. Ноги его не держали. И голос дрожал:

— Отец, я помню, сказал мне однажды (при слове «отец» Фарнук стиснул зубы, тронул свой амулет): «К старости, сын, начинают ныть и болеть все ушибы и рапы, которые ты получил в ранние годы. Не только телесные, знай, но и душевные. И душевные — острее».

Вот и у меня, — вздохнул Фортунат, — они начинают ныть и болеть. Особенно душевные. Об отце до сих пор горю. О его несбывшейся мечте о пяти югерах земли.

И все думаю: как получилось, что человек, который сражался за могущество Рима, кровь проливал за него, так и не смог приобрести участок земли, способный прокормить его семью? И умер не среди своих домочадцев, окруженный их заботой и уважением, а как вор, под чужой стеной неизвестного города?

Фортунат резко встал, взглянул сверху туманно на серо-зеленые, еще не вспаханные поля с желтоватыми проплешинами старых, застывших песчаных гребней, горько усмехнулся...

За той чередой голых деревьев, у пустой оросительной канавы, его участок земли. Как раз пять югеров. Но земля не своя, она царская. Пока служишь, владей. И бог с нею! Нет у него здесь ничего своего. Тит хоть детей наплодил, а Фортунат так и не собрался жениться. Все мечтал вернуться в Рим. Вроде мечта наконец-то сбывается. На тридцать четвертый год...

Матери, конечно, давно уже нет в живых. У братьев дорога одна — в солдаты. Но что стало с бедной сестрой? Страшно подумать.

Он сплюнул горькую слюну:

— Я хочу разобраться в этом.

* * *

...В Ташкенте, на поэтической улице Есенина, в самом ее конце, есть холм Ак-Тепе, что значит Белый.

Белый он днем, вернее — цвета бледной охры, на фоне темной зелени окрестных садов, полей и дикорастущих кустов.

При восходе солнца он кирпично-красный и розовый.

После захода — сиреневый и голубой.

Ночью — синий и черный.

Слева и справа от него сохранились прогалнины — следы древних рвов, позади — глубокий овраг, на дне которого журчит мутный ручей.

Здесь было когда-то поселение свободной земледельческой общины...

Две тысячи лет назад, весной, на рассвете, старейшина рода, седой человек с черной повязкой на лбу, умылся в ручье и, опираясь на палку, взобрал по внутренней лестнице в громоздкую башню, где наверху приютилось домашнее святилище.

Молодые мужчины, дети, женщины спали. Он ступал осторожно, чтобы не потревожить их.

О черной его повязке в шести окрестных крупных укреплениях, от которых местность и получила название Шаш (шесть), по созвучию измененное более поздними насельниками-тюрьками в Ташкент — Каменный город, хотя все здесь было из глины, — ходило немало разных диковинных слухов.

Как и о нем самом.

Говорили: на лбу у него выжжены письмена, увидев которые, посторонний может ослепнуть. И все боялись старца. Хотя человеком он был приветливым, добрым и даже веселым.

...Красоватый мрак закопченной кумьри. В глубокой черной нише, как бы стыдливо отступая и зовя за собой куда-то в темноту, маячит большое, в человеческий рост, из обожженной звонкой глины, изображение богини. Она в островерхой шапочке, до плеч — тяжелые пышные локоны. Легкий просторный хитон небрежно запахнут налево. На груди треугольный низкий вырез.

Вид у богини чуткий, нетерпеливый. Будто она кого-то ждет.

По обе стороны от нее, на высоких витых подставках, в медных плосках горит неугасимый огонь. У самых пог лежит белая чаша странной продолговато-округлой формы с золотым ободком.

Из чаши, густо-красное слизу и постепенно рассеивающееся кверху, струится алое зарево.

— Здравствуй, Мать, Сестра и Дочь, — отвесил старик богине низкий поклон.

— Здравствуй, Жена.

— Здравствуй, Жизнь.

— Здравствуй, Анахита!..

И забормотал тихо и благостно:

— И говорит ему Земля:

«О ты, человек, обрабатывающий меня левой рукой и правой, правой рукой и левой, поистине, буду я для тебя рожать без усталости, давая обильное пропитание».

Тому же, кто не возделывает ее левой рукой и правой, правой рукой и левой, Земля говорит:

«О ты, который не обрабатывает меня! Поистине, вечно ты будешь стоять, прислонившись у чужих дверей...»

Он взял из соседней ниши небольшой кувшин, долил в лампы кунжутного масла.

Затем вынул из странной белой чаши у ног Анахиты золотое кольцо с вишнево-красным камнем, осторожно падел на средний палец правой руки.

По черному камню, полыхнув, разлился густой красный свет.

— Доброе утро, Красс! — Старец достал костяную белую чашу из-под ног Анахиты. Взял с кирпичного пола бурдюк, наполнил череп, опривленный в золото, шипящим белым пенным кумысом. — Встретим солнце, Митру слепащего!

Он широко распахнул ставни в темной восточной стене, и в кумирню хлынул яркий утренний свет. Анахита встрепенулась в золотых лучах.

— Взгляни, это и есть страна Шаш, до которой тебе так не терпелось дойти. — На крутых и пологих холмах, в садах и полях между ними струился голубой утренний дым. — Ты и дошел до нее! Правда, не весь. Хе-хе. Это для вас, гордых римлян, Шаш — край света. Для нас — середина земли. Да-а, — вздохнул старик сочувственно. — Мир велик. Велик мир... Его не напаялишь на палец, как чужое краденое кольцо...

Старик говорил это каждое утро.

За много лет беседы с духом Красса превратились для него в особый ритуал.

Он выпил кумыс, опустил на колени перед Солнцем.

— Зря ты не послушался Атея! Все-таки выжгло оно тебе глаза. Твоих солдат, попавших в плен, говорят, отпустил домой. А ты останешься здесь. Навсегда.

Человек с черной повязкой на лбу вновь поставил череп в высокий погач улыбающейся Анахиты, опустил в него золотое кольцо. Снял с полки в соседней нише старый расстрепанный свиток. Сейчас поднимутся дети. Он обучает их греческой грамоте.

Развернул, отыскал нужное место.

Есть Анахита! Есть жизнь.

Да, она загадочна. Но загадка проста и доступна всякому, кто хочет впикнуть в нее:

Праведен будь!

Сквозь тьму столетий рвется ясный старческий голос:

Под конец посрамят гордеца непременно

Праведный.

Поздно, уже пострадав,

Узнает это глупый...

На зеленом весеннем лугу, за оврагом, насторожившись, бьют копытами в землю, залиvisto ржут жеребята,

Вороны протяжно кричат на деревьях:

— Карры, Карры! Красс...

СОДЕРЖАНИЕ

6

Страшный корабль

11

Первая часть
Марк Лициппий Красс

53

Вторая часть
Пир перед смертью

107

Третья часть
Ночь в храме любви

151

Четвертая часть
Худые знамения

199

Пятая часть
Этот страшный гром

232

На краю света

**Явдат Хасанович
Цильясов**

МЕСТЬ АНАХИТЫ

Повесть

Редактор **Л. Қазақова**
Художник **В. Немировский**
Художественный редактор **А. Бобров**
Технический редактор **Е. Поганова**
Корректор **Л. Бейгул**
ИБ № 2150

Сдано в набор 04.05.83. Подписано в печать 23.11.83. Р 21409. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 3. Обыкновенная новая гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 12,6 + 0,21 форзац. Усл. кр.-отт. — 13,23. Уч.-изд. л. 14,69 + 0,17 форзац. Тираж 120 000 экз. Заказ № 100. Цена в пер. № 4, 1 р. 80 к. на мелованной бумаге. Усл. кр.-отт. — 17,53. Цена в пер. № 5, 1 р. 10 к.

Издательство литературы и искусства
имени Гафура Гуляма.
700129, Ташкент, ул. Навои, 30.

Набрано и отматрицировано в типографии
издательства «Таврида» Крымского обкома
Компартии Украины, г. Симферополь,
ул. Генерала Васильева, 41.

Отпечатано ГП. ТППО «Матбуот» Государственного комитета УзССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли,
700129, Ташкент, ул. Навои, 30.

P2
И49

Ильясов, Явдат.
Месть Анахиты: Повесть. — Т.: Изд-во лит. и искус-
ства, 1984. — 240 с.

Явдат Ильясов (1929—1982) — автор таких исторических произведений, как «Черная вдова», «Согдиана», «Стрела и солнце», «Золотой истукан», «Заклинатель змей».

Действие его последней повести «Месть Анахиты» происходит в ту же эпоху, что и события, описанные в предыдущих книгах, — это период борьбы народов Средней Азии против римской экспансии на Востоке.

Сюжетом повести послужили последние годы жизни римского полководца Марка Лициния Красса, его поход в Парфию (52 г до н. э.), окончившийся полным поражением и смертью многих римских легионеров и самого их предводителя.

И 4702010200—210 76—84
М352(04)—84

P2